

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Л.Г. Сухотина

**РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2008

ББК 66.3
УДК 323.329(47+57)
С 91

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ
«ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»:

проф. **Г.Е. Дунаевский** – председатель коллегии, проректор ТГУ; с.н.с. **М.Н. Баландин** – ответственный редактор издания, зам. председателя коллегии; с.н.с. **В.З. Башкатов** – член коллегии

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ, РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ РЕДАКЦИЙ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

проф. **И.Б. Богоряд** – научная редакция «Механика, математика»; доц. **Э.Р. Шрагер** – научная редакция «Механика, математика»; проф. **А.М. Горцев** – научная редакция «Информатика и кибернетика»; проф. **В.Г. Багров** – научная редакция «Физика»; проф. **А.Г. Колесник** – научная редакция «Физика»; проф. **Н.А. Криво-ва** – научная редакция «Биология»; проф. **В.П. Парначев** – научная редакция «Науки о Земле, химия»; доц. **Ю.Г. Слизов** – научная редакция «Науки о Земле, химия»; проф. **Э.И. Черняк** – научная редакция «История, филология»; проф. **В.И. Канов** – научная редакция «Юридические и экономические науки»; проф. **Ю.В. Петров** – научная редакция «Философия, социология, психология, педагогика, искусствоведение»

Сухотина Л.Г.

С 91 Российская интеллигенция и общественная мысль: Труды Томского государственного университета. – Т. 271. Сер. историческая. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. – 166 с.

ISBN 978–5–7511–1890–7

В настоящем томе представлены исследования разных лет одного из ведущих ученых исторического факультета ТГУ, доктора исторических наук, профессора Сухотиной Людмилы Григорьевны. Все вошедшие в сборник тексты (в том числе и ранее публиковавшиеся) пересмотрены и подготовлены автором к изданию.

Для специалистов в области истории и теории культуры, для всех интересующихся историей интеллигенции и общественной мысли в России.

ББК 66.3
УДК 323.329(47+57)

ISBN 978–5–7511–1890–7

© Томский государственный университет, 2008

СОЦИАЛИЗМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА *

Начавшиеся с перестройкой острые дискуссии о том, какое общество мы построили – было ли оно социалистическим и соответствовал ли наш социализм научному, то есть созданной Марксом и Энгельсом теории, – будут продолжаться ещё долго. И это понятно. Трудно расставаться с заманчивой мечтой о жизни в недалёком будущем в светлом коммунистическом раю. Не так давно наши вожди обещали к 1980 г. каждой семье отдельную благоустроенную квартиру, бесплатный проезд на общественном транспорте и каждому желающему машину – почти по бросовым ценам. В острых спорах многие доказывают, что построенный социализм оказался без человеческого лица и задача всего-то и состоит в придании ему человеческого облика. Другие по сей день утверждают, что социализма у нас вовсе не было, не успели построить и лишь выдавали желаемое за действительное.

Сторонники обеих позиций аргументировали свою точку зрения тем, что советский строй существенно отличался от картины социалистического общества, которая в общих чертах была означена в трудах основоположников марксизма. Споры объяснимы, если приходится расставаться с целью, пусть иллюзорной, воплощению которой в жизнь или теоретическому обоснованию которой были отданы даже не годы, а десятилетия труда.

Так храм оставленный всё храм.
Кумир поверженный всё бог.

То, что «реальный социализм» был воплощением идей Маркса и Энгельса, трудно опровергнуть. Однако можно ли без сомнений утверждать о наличии в их трудах цельного, действительно научного учения о социалистическом обществе («научного социализма»)? Сошлюсь на утверждение известного философа Т.И. Ойзермана, убедительно обосновывающего вывод, что некоторые из основополагающих идей отцов-основателей «были в принципе неосуществимы вследствие своей утопичности». Более того, они сами считали невозможным в те годы создать научно обоснованную социалистическую теорию, полагая, в отличие от социалистов-утопистов, что только реальный опыт строительства может стать достаточной эмпирической основой для создания научной теории посткапиталистического общества¹. Отдельные наблюдения и выводы, именуемые в нашем обществоведении без достаточного основания «научным социализмом», представляли лишь результаты исследования генезиса капитализма, функционирования и развития капиталистического способа производства, анализа его противоречий и перехода к новой, неокapиталистической, стадии социально-экономических отношений.

Это заключение философа подтверждается и выводами Э. Бернштейна, утверждавшего, что, поскольку марксистская социалистическая теория не опирается на эмпирические данные, а лишь эскизно представляет контуры будущего, её трудно считать научной, вышедшей из утопической фазы. В противном случае это были бы чисто умозрительные фантазийные проекты, что хорошо понимали и сами ос-

* Ранее опубликовано: *Сухотина Л.Г.* Социализм: теория и практика // *Идея социализма в России: Материалы заседания Томского дискуссионного гуманитарного клуба «История и современность»*. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 14–18.

¹ *Вопросы философии*. 2002. № 2. С. 3; № 3. С. 17.

новоположники марксизма, решительно отмежёвываясь от разных форм утопических социалистических учений.

Доказательством того, что у К. Маркса не сложилось целостной научной теории социалистического общества, является его собственный ответ на вопрос В. Засулич о том, может ли Россия, минуя капиталистическую стадию развития, перейти от крестьянской общины к социализму. Маркс ответил на вопрос положительно, но с оговоркой: если революцию в России поддержат страны Запада. Здесь и речи не было об уровне зрелости капиталистических отношений в стране. Этот пример доказывает, что представления Маркса (как, впрочем, и Энгельса, убеждённого, что Россия «первой пустится в пляс») о посткапиталистическом обществе были фрагментарны и не складывались в целостную научную теорию. Их социалистические воззрения являлись, прежде всего, следствием критики порождённых капитализмом XVIII–XIX вв. социальных бедствий и возраставшей нищеты массы трудящегося населения. Уместно вспомнить о народнических пропагандистских сказках, написанных для крестьян. Их будущее в новом обществе авторы рисовали в гротескно ярких тонах: лежит крестьянин на печи, а пироги сами прыгают ему в рот.

Основоположники марксизма-ленинизма в отличие от коммунистов-утопистов вовсе не считали частную собственность абсолютным злом, но рассматривали её исторически как необходимую форму развития производительных сил, способствующую прогрессивному развитию общества в целом¹. Так же оценивали частную собственность идеологи русского либерализма К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин, особо подчёркивая при этом, что она является основой свободы личности, без которой нет и не может быть созидательной творческой работы. О том же, по сути, писали Маркс и Энгельс, подчёркивая, что капитализм создаёт те условия производства, которые только и могут обеспечить полное и свободное развитие каждого индивида. Это означает, что посткапиталистическое общество, как бы оно ни называлось, возможно лишь в результате развития, которое реализует имманентно присущие капитализму потенции. Соответственно превращение средств производства в общественную собственность является необходимым условием. Однако эта общественная собственность должна иметь такую форму, в которой каждый индивид получает право на свою долю, как это имеет место в трудовой кооперации и в акционерных компаниях. Эта мысль содержится в рассуждениях Маркса об «экспроприации экспроприаторов». Он приходит к заключению о восстановлении индивидуальной собственности на основе кооперации и общего владения землей и средствами производства в сфере промышленности.

Другими словами, у Маркса речь идёт о реальном частичном владении индивидуумом долей общественной собственности. Благодаря этому становится возможной ликвидация наемного труда, являющегося важнейшим условием капиталистического общества. Надо ли говорить, что в этом случае Октябрьская революция в России произошла решительно не «по Марксу». Есть и другое важное положение Маркса, полностью проигнорированное большевиками, а именно: Маркс принципиально отличал социалистическое обобществление средств производства от их превращения в собственность государства, когда наличие наемного рабочего не упраздняется, а распространяется на всех – социализм². Большевики в своей социалистической практике отвергли этот тезис Маркса и связанный с ним вывод о диктатуре пролетариата как государстве переходного периода, превратив эту форму власти в диктатуру партии, они, к тому же, отбросили мысль о её временном переходном характере.

Следует, однако, оговориться, что вопрос о форме власти, как и вопрос о структуре общественной собственности, оставался у Маркса до конца не решен-

¹ *Вопросы философии*. 2002. № 2. С. 5.

² Там же. С. 9.

ным, не проясненным. Это обстоятельство являлось причиной острых споров в I Интернационале между К. Марксом и М. Бакуниным, требовавшим немедленной ликвидации государства как крупного собственника, а значит, и эксплуататора. В противном случае, утверждал русский революционер, общество не может быть свободным. Опыт сотрудничества с Марксом в Интернационале привел Бакунина к выводу, что его теория неизбежно приведет к установлению «государственного коммунизма», который будет ничем иным, как диктатурой правящей бюрократии. Бакунин акцентировал внимание на том, о чем, несомненно, думал, да и писал сам Маркс: новый строй должен быть плодом творчества самих масс, а не теоретиков науки. К перечню неясных, не разъясненных Марксом и Энгельсом вопросов, что позволило большевикам трактовать их весьма вольно, в зависимости от задач и обстоятельств их решения, можно присовокупить в частности проблему разделения труда. Как и П.А. Кропоткин, писавший в своей программе революционных преобразований, что профессор, занимающийся «ассенизационными» работами, будет обычным явлением социалистического общества, Маркс считал разделение труда пройденным этапом общественных отношений, калечившим человека, порождавшим «профессиональный идиотизм», не разъясняя при этом, как быстрое развитие производительных сил соотносится с отрицанием разделения труда. Всё это убеждает, что Маркс и Энгельс не имели детально разработанной научной программы построения социалистического общества. Отдельные фрагментарные наброски могли быть интерпретированы произвольно, а некоторые их идеи были неосуществимы вследствие их утопичности.

Единственное, что они считали реально осуществимым, так это замену частной капиталистической собственности на средства производства собственностью общественной. Можно согласиться с Т.И. Ойзерманом, утверждающим, что различия между образом социализма, созданным в трудах Маркса и Энгельса, и «реальным социализмом», построенным в СССР, не дает оснований для отрицания «действительного существования социалистического общества в СССР и ряде других стран». Ибо, подчеркивает он, цитируя Г.Х. Шахназарова, «о том, что есть социализм, следует судить не по идеалу, выношенному утопистами, и не по определению классиков марксизма-ленинизма... Правомерно лишь определение, исходящее из самого сущностного смысла этого понятия, а именно: преобладание общего над частным, прежде всего и главным образом в формах собственности, производства и распределения»¹.

Осмысливая проблему с этих позиций, нельзя не прийти к выводу, что построенное у нас общество было обществом «реального социализма». Не случайно даже противники марксизма отмечали благородные усилия вождей русской революции направить страну на верный путь. Что же произошло с Россией? Почему начавшееся на светлой ноте строительство социализма вскоре после первых победных маршей начало утрачивать свой созидательный потенциал? Частично на этот вопрос ответил З. Фрейд в работе «Будущность одной иллюзии». Отмечая, что первые и в отдельных областях даже большие успехи социалистического строительства были обусловлены лозунгом борьбы с буржуазией (ее экспроприации), он задавался вопросом: что же станет мобилизующей целью, когда вся буржуазия будет уничтожена? История Советского государства ответила на этот вопрос: после ликвидации буржуазии началось уничтожение «кулаков» – многочисленного и работоспособного класса России, составлявшего её экономический остов, а затем и «врагов народа» – наиболее мыслящего слоя российской интеллигенции.

Защищая народ, радея о его благе, слишком упрощённо, даже примитивно понимали марксистскую теорию «хористы революции», как называл революционеров

¹ Вопросы философии. 2002. № 2. С. 17.

один из умнейших людей России – А.И. Герцен. «Непризнанные артисты, несчастные литераторы, студентки, неокончившие курса, но окончившие учение, адвокаты без процессов, художники без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными притязаниями, но без силы выдержки на труд... Жизнь в кофейнях и клубах увлекательна, полна движения, льстит самолюбию, и вовсе не стесняет. Опоздать нельзя, трудиться не нужно». Так характеризовал Герцен тип революционера, хорошо знакомый ему по жизни революционных деятелей стран Западной Европы.

В заключение напомним, что «Манифест Коммунистической партии», написанный Марксом в 1848 г., начинался словами: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Много лет спустя, уже в наше время, бывший премьер России В. Черномырдин, находясь в Германии, с присущим ему юмором прокомментировал эти строки следующим образом: «Призрак коммунизма родился здесь, в Германии. Но только русские умники додумались целых семьдесят лет гоняться за этим призраком и гонять наш народ».

Вспомним, наконец, слова из стихов С. Есенина, принявшего вначале, как и многие, идею революции:

Но что я видел? Видел только бой,
Да вместо песен слушал канонаду.
Не оттого ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду?

НАЦИЗМ И БОЛЬШЕВИЗМ В ИССЛЕДОВАНИИ СОВРЕМЕННОК*

Проблема истоков и природы тоталитаризма по-прежнему остается в центре внимания мирового обществоведения. Особенно часто и с особой остротой дискуссии на эту тему происходят среди историков Германии, теперь уже новой, объединенной. Хотя нацистский порядок длился здесь несравненно меньше, чем большевизм в Советской России, только двенадцать лет. При этом дискуссии последнего времени отличаются в Германии выраженным стремлением их участников найти общие точки зрения, которые позволили бы достичь общественного согласия¹. В этой связи нельзя не напомнить, что среди отечественных историков в период уже начавшейся перестройки не было единства мнений относительно природы большевизма. Далеко не все с уверенностью могли квалифицировать Советское государство как государство тоталитарное. Обстоятельство, лишний раз доказывающее не только идеологическую ангажированность нашей исторической науки, но и особую жестокость большевистского режима, приведшего как к огромным человеческим жертвам, так и трудновосполнимым нравственным утратам. Это значительно затрудняет осмысление и преодоление оставленного нам тоталитарного наследия.

Ситуация значительно осложнилась тем, что отечественным исследователям долгое время оставались неизвестны труды западных авторов, среди которых были жертвы тоталитарных режимов. Неизвестны были и работы жертв большевизма. Классический труд немецкой исследовательницы Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма», заверченный ею в 1949 году и вышедший в 1966 году уже третьим изданием, в русском переводе появился лишь тридцать лет спустя². Так же недавно у нас был издан в переводе фундаментальный труд немецкого философа и психолога Карла Ясперса, где в ряду других важных проблем дано философско-теоретическое обоснование природы тоталитарных движений и режимов³. Названные исследования интересны и значимы, поскольку главная тема научного творчества их авторов – «человек в истории» – тесно переплетается с их личными судьбами, судьбами интеллектуалов в изгнании. Сама Арендт считала, в частности, что к философским раздумьям о природе тоталитаризма ее побудили собственные переживания еврейской беженки (за участие в антифашистском движении она была арестована и затем вынуждена покинуть Германию, а позднее испытала ужасы сталинизма).

Сходной оказалась и судьба Карла Ясперса, ее учителя и друга. Убежденный антифашист, к тому же женатый на еврейке, он был отстранен в 1937 году от преподавания философии в Гейдельбергском университете и лишен права издавать в Германии свои работы. Лишь восемь лет спустя, после разгрома фашизма, Ясперс возвращается к преподавательской деятельности сначала в Гейдельбергском, а затем в Базельском университете.

* Ранее опубликовано: *Сухотина Л.Г.* Нацизм и большевизм в исследовании современников // *Тоталитаризм и тоталитарное сознание*. Томск, 2001. Вып. 4. С. 125–133.

¹ Подробнее об этом см.: *Ким С.Г.* Опыт исторической науки. Германия в преодолении авторитарного сознания // *Тоталитаризм и тоталитарное сознание*. Томск, 1998, Вып. 2. С. 50–58.

² *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма. М., 1966.

³ *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М., 1994.

Названный труд Х. Арендт и все последующие ее работы были следствием осмысления личного драматического опыта и основаны на обширных философских познаниях. В юношеском возрасте, живя с родителями в Кенигсберге, она увлеклась философией Канта, затем уехала в Марбург для занятий у Хайдеггера, во Фрейбург – к Гуссерлю и, наконец, в Гейдельберг – к «тайному королю мысли» – Ясперсу. В философских построениях последнего ее особенно привлек один из важнейших тезисов, гласивший, что человек как целое не объективируем. Иначе он выступает предметом исследования, но в качестве такового уже не может быть самим собой. Другими словами, экзистенция человека может быть понята лишь с позиций конкретных исторических обстоятельств¹. Этот вывод философа становится основополагающим в понимании им исторического процесса вообще и в трактовке природы тоталитаризма, в частности.

Осмысливая генезис тоталитарных режимов, он приходит к заключению, что теперь, более чем когда-либо, путь истории «неминуемо» связан с деятельностью масс. Обездоленные, обнищавшие народы послевоенной Европы становятся безучастными к ходу событий, все более обретающих трагический смысл. Создается лишь впечатление, пишет он, что подлинную историю творит «духовная деятельность». В действительности же происходит то, что принимают массы, хотя они вовсе не обладают свойствами мыслящей личности – «ничего не знают и ничего не хотят». В своих действиях массы следуют лишь собственным примитивным психологическим влечениям и страстям, служа орудием того, кто льстит им, подогревая эти их устремления². Поэтому, заключает Ясперс, могут сложиться такие условия, в которых «безрассудные массы» будут взаимодействовать с манипулирующими ими тиранами, следуя призывам и указаниям последних.

Эти выводы являлись итогом философско-теоретического анализа наблюдаемой мыслителем изнутри жизни нацистской Германии и звучали как предостережение другим странам Европы.

Сходные наблюдения и выводы мы находим и в работах Арендт, прежде всего в исследовании «Истоки тоталитаризма», также выполненным ею вскоре после краха фашизма и вышедшим годом позже названного труда ее учителя. Обратим внимание на то, что исследовательница расширяет географические рамки своего анализа. В итоге она приходит к мысли о возможном появлении тоталитарных режимов везде и прежде всего в многонаселенных странах. Развивая тезис Ясперса о роли масс в истории, Арендт заключает, что в рождении тоталитарных режимов и тоталитарных вождей именно массы являются питательной средой и фундаментальной основой. Состоя из людей равнодушных, политически индифферентных, никогда не состоявших ни в какой партии и поэтому «не развращенных партийной системой», они активно пополняли ряды нацистского и коммунистического движений. Массы были удобны новым тоталитарным режимам, поскольку не испытывали потребности в опровержении аргументов, выдвигаемых вождями и идеологами движений, следуя их призывам и указаниям и предпочитая методы насилия методам убеждения³.

Таким образом, как и Ясперс, Арендт рассматривает массы в качестве всегда индифферентной социальной страты, которую можно легко увлечь, зажечь какой-то увлекательной общей идеей, подтолкнуть ее тем самым к нужной вождям политической деятельности. Однако, оговаривает она, выполнить эту задачу не по силам одному человеку, даже такому харизматичному лидеру, каким был Гитлер, магическое влияние которого на окружающих людей отмечали многие современ-

¹ Гайденок П.П. Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса // Ясперс К. Указ. соч. С. 11.

² Ясперс К. Указ. соч. С. 144.

³ Арендт Х. Указ. соч. С. 414, 415.

ники. Решая эту проблему, Арендт приходит к выводу, что другим важным источником и составляющей нацистского движения являлась интеллигенция. В этой связи исследовательница осмысливает удивившую многих «волну коллаборационизма» немецких интеллектуалов. Их добровольное, или, по крайней мере, вынужденное террором, пособничество Гитлеру. Особенно ее поражало то, что сотрудничество с нацистами являлось для интеллигенции почти правилом, объективно обусловленным долгом. Позже она отмечает, что немецкие интеллектуалы отыскивали возможность рационализации своей неспособности сопротивляться гитлеровскому режиму на основе философии Канта. При этом они не заметили или не хотели замечать внутреннюю противоречивость последней, заключающуюся в требовании повиноваться диктату разума, следуя в то же время велению нравственного долга¹. Осуществленный Арендт анализ феномена тоталитаризма показал, как полагает исследователь ее научного творчества Е.Г. Трубина, что разрушение стабильных мировых структур режимами Гитлера и Сталина означает совершенную невозможность прилагать традиционные стандарты рационального объяснения к опыту мировой истории XX века². И все же сама Арендт предприняла попытку дать рациональное объяснение истоков и природы тоталитаризма. Глубокие, многоплановые наблюдения привели ее к выводу, что тоталитарное сознание и тоталитарные режимы, представляющие самую страшную опасность для человека, независимо от формы их проявления – будь то нацизм или коммунизм – являлись проявлением политического кризиса модернизма. Обе идеологии были страшны не только своей жестокостью, но и безграничной гордыней, заключавшейся в убеждении, что человеку всё возможно, что он рожден, «чтоб сказку сделать былью»³.

Опасность эпохи Арендт – в возрастающей по мере технического прогресса способности человека предаваться утопическим мечтам. Опираясь на абстрактные законы объективной необходимости, человеческий разум конструирует в мечтах новые миры, и в попытках реализовать свои увлекательные планы люди приводят в движение могучие псевдоестественные силы, способные смести с земли самого человека. Такая подвластность человека созданному им миру проявляется со временем все острее. В сложившейся ситуации политические лидеры получают широкую возможность обрести неограниченную власть над массами, увлекая их обещаниями создать новое процветающее общество и нового совершенного человека. Такие планы становятся заманчивыми не только для масс, но еще в большей степени для приверженной абстрактному мышлению интеллигенции.

Таким образом, тоталитарное сознание проявляется в безграничной свободе убеждения, что человеку всё доступно, и он всё может. Это убеждение, в котором проявляется торжество рационализма, становится основой складывания нового порядка. В этом случае, подчеркивает Арендт, власть свободно манипулирует людьми, проявляя, как и само общество, почти полное безразличие к факту такого манипулирования и даже вообще к человеческому уничтожению.

Заключение относительно сути политического кризиса эпохи модерности служит исследовательнице основанием для выводов об объективной неизбежности использования методов и механизмов действия тоталитарной власти – обширная, многообразная идеологическая пропаганда и жесточайший террор. При этом ею обосновывается один важный вывод, а именно: тоталитаризм поражает прежде всего крупные страны. После Первой мировой войны, отмечает она, антидемократическая волна полутоталитарных или тоталитарных движений захлестнула Европу. Фашизм распространился из Италии почти во все страны Центральной и Восточ-

¹ Арендт Х. Указ. соч. С. 414, 415.

² См.: Трубина Е.Г. Идентичность в мире множественности: Прозрения Ханны Арендт // Вопросы философии. 1998. № 11. С. 119.

³ Там же. С. 117.

ной Европы. Однако при этом даже Муссолини, увлеченный термином «тоталитарное государство», не пытался установить в Италии «полноценный» тоталитарный режим, ограничиваясь диктатурой и однопартийным правлением, ибо было ясно, что тоталитаризм преследовал слишком амбициозные цели, чтобы достичь их в небольших государствах¹. И хотя дуче был вполне способен хорошо организовать массы для овладения движением, истина заключалась в том, что маленькие страны просто не располагали в достаточной мере «человеческим материалом», чтобы позволить себе опыт тоталитарного правления. Такое правление означало огромные потери населения. Именно это, по мнению Арендт, объясняет, почему нацизм вплоть до войны и своего распространения по Европе сильно отставал от большевизма и почему Гитлер так восхищался Сталиным, последовательностью и безжалостностью его действий². Сталин мог позволить себе не стесняться в расходовании людских ресурсов.

В рассуждениях исследовательницы относительно особой последовательности действий тоталитарных правлений в крупных странах кроется, как представляется, один из ответов на вопрос о том, почему Россия соблазнилась большевистской идеей.

Одно из убедительных подтверждений заключения об особой жестокости большевистского режима Арендт нашла, обратившись к исследованию его практики. Ею был основательно изучен сохранившийся Смоленский архив, содержащий документацию партийных органов области с 1917 по 1938 год. Захваченный немецкой разведкой во время войны архив затем попал к оккупационным властям Западного сектора Германии и в 1958 году был опубликован в США известным американским русистом М. Фейнсом. Изучая документы архива, Арендт была «поражена» не столько тем объемом информации, которая содержалась в них, сколько тем, что они скрывали. В частности, в делах не было указаний на число жертв, а имеющиеся на этот счет цифры были «безнадежно» противоречивы. Отсутствовала какая-либо информация об отношениях между различными сферами власти: ЦК – военными – НКВД; между партией и правительством. Архив хранил молчание о средствах коммуникаций и управления. Иными словами, в нем не было сведений об организационной структуре режима, о чем можно было составить вполне ясное представление в нацистской Германии.

Документы Смоленского архива убедили исследовательницу, что сталинский режим был «безжалостно последовательным» в своей жестокости. Все факты, отмечает она, которые «не согласовывались с официальными фикциями», судя по архивным делам, просто не существовали для партийных и государственных властей. Всё это давало основание считать, что большевизм в большей мере, нежели фашизм, держался на насилии и терроре, особенно широко развернувшемся во «второй революции». Так Арендт охарактеризовала цели и практику «великого перелома» 1929 года, подчеркнув тем самым его насильственный характер³.

Анализ документов Смоленского архива существенно дополнил аргументацию основных выводов Арендт относительно природы и сущности режимов. Это подтверждается и выводами М. Фейнса, также основательно изучившего материалы архива. Анализируя документы, публикатор архива пришел к выводу, что в Советской России было широко распространено недовольство народа, его неприятие существовавшего строя. Но при этом совершенно отсутствовала сколько-нибудь организованная оппозиция правящей власти. Это подтверждало, что русская интеллигенция в своем подавляющем большинстве не оказывала сопротивления большевизму. Как и интеллигенция Германии, она верила в возможность рационального

¹ Арендт Х. Указ. соч. С. 414, 411.

² Там же. С. 412–413.

³ Там же. С. 10.

переустройства мира или просто не могла оказать должное сопротивление всё набравшему обороты террору¹.

Наблюдения и основные, наиболее существенные заключения, принадлежавшие Арендт, получили столь же убедительное подтверждение и развитие в работах другого современника и жертвы тоталитарного правления, нашего соотечественника Федора Августовича Степуна. Сын крупного фабриканта, несколько лет (1902–1908 годы) изучавший философию в Гейдельберге, Степун был изгнан из России в 1922 году в числе других известных ученых, писателей, организаторов науки и обосновался в Германии. Однако в 1937 году он вновь оказался в положении изгнанника, лишившись на этот раз права преподавать философию в Гейдельбергском университете. Только в 1946 году Степун вернулся к научной деятельности, возглавив кафедру истории русской духовности в университете Мюнхена. Живя в Германии вплоть до своей кончины в 1965 году, Степун, несомненно, был знаком с работами Ясперса и Арендт. Сходство их судеб не могло не обусловить близость их раздумий и общность исследовательских сюжетов. Как и Арендт, он не мог забыть изгнания из своей родины и лишения права преподавания в обретенном им новом отечестве, культуре которого он был обязан своим образованием едва ли не в большей мере, нежели культуре России. Именно поэтому его особенно занимал вопрос о сходстве и различиях нацизма и большевизма, условия их появления, причины особой жестокости и длительности существования большевистского режима.

Его раздумья о природе большевизма развиваются в русле рассуждений Арендт о тоталитаризме как следствии и выражении политического кризиса эпохи модернизма. Так, отвечая на вопросы «Пореволюционного клуба»², он писал, что в мире нет страны, где до такой степени «Попраны и преданы все первичные идеи», где уничтожена самая возможность «самозарождения личности», где в результате «дикого идеологического запоя страна вот уже 15 лет бьется в бреду рационалистического утопизма»³. Как и Арендт, он подчеркивал, что коммунистическая идеология фабрикует реальность, рассматривая устанавливаемый ею порядок в качестве неизбежной объективной необходимости. Естественно, философ не мог не искать ответа на вопрос о том, почему большевистский режим в России оказался столь жестоким, кровавым и длительным в сравнении с нацистским в Германии. Объяснение этому он находит в существенных различиях уровня и специфики культурного развития обеих стран, обусловивших, по его мнению, различия между происшедшими в них революциями, ставшими прологом тоталитарных режимов. При всем сходстве революций в Германии и России (обе начались в условиях войны и вызванной ею экономической разрухи, обе подготавливались идеями революционного марксизма, обе организовали советы рабочих и солдатских депутатов) они привели к заметно различным результатам. Нацистский порядок продержался лишь двенадцать лет, не успев за этот срок развернуться в полную силу для реализации своих первоначальных замыслов. Причина заключалась в том, по мнению Степуна, что немецкие социалисты, привыкшие бороться за свои идеалы не только на путях их торжественного провозглашения, но и на путях тактического отступления от них, скоро поняли невозможность реализовать грандиозный план мировой революции и принялись за осуществление своей национал-социалистической революции⁴. Нельзя не добавить, что здесь крылась причина так поразившего Арендт добровольного сотрудничества интеллигенции с гитлеровским режимом. Что же касается России, то в ней не нашлось таких деловых «гасителей» разгоревшегося революционного пламени. И хотя, как подчеркивает

¹ Fainsod M. *Smolensk under Soviet Rule*. Cambridge, 1958. P. 38.

² Клуб основан в мае 1932 г. по инициативе Парижского отделения Союза российских национал-коммунистов (Подробнее см.: Степун Ф.А. *Чаемая Россия*. СПб., 1999. С. 210).

³ Там же. С. 212–213.

⁴ Степун Ф.А. *Мысли о России* // *Чаемая Россия*. С. 6–7.

Степун, вожди русской революции не имели «ни одной подлинно своей и подлинно большой идеи», редкостная энергия ее главного вождя Ульянова-Ленина, питавшаяся «атавистическим примитивизмом его мирочувствия и мирозерцания», способствовала тому, что общая обеим революциям идея «пролетария-сверхчеловека» разгорелась в России с необычайной, фантастической силой¹.

Главным же фактором, вызвавшим размах русской революции и последовавшее затем настойчивое стремление ее идеологов и вождей реализовать поставленные ею задачи, являлся, по его мнению, исторически сложившийся низкий уровень культуры русского человека, обусловленный огромной территорией страны и непрекращавшимся приливом хлеботородных земель, лишивший его необходимости заботливого и тщательного труда на земле. Столетиями создавался стиль «малокультурного, варварского хозяйствования», «нелюбовного отношения к земле». Тяжелое наследие этой традиции не гарантировало ожидаемых результатов, не спасало от погодных и всякого рода других случайностей. Борьба против неблагоприятного случая оборачивалась утратой веры в Бога, которая сменялась постепенно верой в сверхчеловека. Такой человек всё знает и всё может². Эта мечта простого человека и питала грандиозные революционные замыслы, служила основой попыток их реализации.

Другой важный фактор, обусловивший победу революции и страшное многолетнее зло большевистского режима, Степун видел в интеллигенции, в сыгранной ею роли. Оторванная от народа и власти, она была неспособна ограничиться защитой реальных хозяйственных и правовых нужд народа и в итоге оказалась обреченной на роль разрушительницы практических достижений в сфере социальных перемен, ставя в революции недостижимые утопические задачи³. Эта своеобразная «неделовитость» русской интеллигенции, являвшаяся оборотной стороной ее высокой идейности, полностью соотносилась с необразованностью русского человека, его варварским хозяйствованием. В результате, пишет Степун, она защищала не столько ближайшие насущные интересы народа, сколько свои представления о них. Ее устремленность к далеким идеологическим горизонтам и погруженность в глубины «покаянной совести» обусловили направленность воли не к позитивному устройству сегоднешнего времени, но к реализации отдаленной утопической социальной мечты. В конечном счете ее идеологическая нацеленность привела к практической несостоятельности, стоившей народу неизмеримых страданий и неисчислимых жертв.

Рассмотренные воззрения крупнейших мыслителей первой половины прошедшего столетия раскрывают сложные причины и истоки тоталитарных движений и режимов, коренящиеся в природе человека, ситуативной обусловленности его поведения. Эти выводы не утрачивают своей значимости, но, напротив, становятся еще более актуальными в переживаемое нами сложное непредсказуемое время. Желание крепкой и сильной власти, стремление подчиниться создавшему ее режиму как гаранту относительного спокойствия и материального достатка, даже ценой утраты своей свободы, остается неизменной чертой человеческого поведения, способной вызвать рецидивы тоталитарных движений.

¹ Степун Ф.А. Мысли о России // Чаемая Россия. С. 11.

² Там же. С. 12–14.

³ Там же. С. 26.

РУССКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ XIX ВЕКА: ИСТОКИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА*

Анализируя русскую радикальную интеллигенцию, ее природу, идейно-теоретические искания и практические действия, исследователи в своем большинстве до сего времени исходят из ленинских оценок и характеристик. Хотя их непоследовательность и откровенная противоречивость, обусловленные спекулятивными политическими целями, очевидны. Так, в частности, данная В.И. Лениным характеристика интеллигенции как «мелкобуржуазной» группы не соотносится с ее ролью в борьбе против феодализма, ибо согласно марксистской теории, мелкая буржуазия не может стоять в авангарде этой борьбы. Эпитет «буржуазная» в приложении к интеллигенции также не согласуется с отводимым ей местом представителя интересов пролетариата. Совершенно очевидно, что сейчас приверженность ленинским оценкам есть не более чем проявление инерции мышления, в равной мере присущей исторической науке, как и любой другой. Желание спасти привычные утвердившиеся истины всегда было прочной традицией, получившей в науковедении шутовское название «закона сохранения невежества». Его устойчивости в исторической науке способствует не только ее идеологизированность, обусловленная природой нашего отживающего общественного строя, но и быстро растущая специализация знания, появление новых субисторических дисциплин. Историк погружается в анализ частных, сосредоточивается на деталях, разывая изучаемые явления на части, что отнюдь не способствует адекватному их освещению.

Наглядным тому подтверждением служит исследование общественной мысли и интеллигенции – одной из самых многострадальных тем российской истории. Мыслители по-прежнему идентифицируются по принципу дуальной позиции. Их относят только либо к революционному, либо к реакционному, охранительному лагерю, соответственно двум главным социальным слоям в стране – дворянству и крестьянству. Либералов же трактуют как представителей исторически обреченного, преходящего класса буржуазии и потому якобы не имеющих значения самостоятельной общественной силы.

Анализ общественно-политической мысли лишь с позиции теории классовой борьбы в качестве определяющего фактора ее развития, как и развития исторического процесса в целом, теоретически бесплоден (что отмечал, в частности, еще П. Струве), поскольку такой подход нацелен не на интеграцию общества, а на его разъединение. Тем более этот подход представляется несостоятельным с учетом динамики современных социальных процессов, подтверждающих движение к обществу либеральной демократии в качестве главного направления общественного развития.

Очевидно, понять природу русской интеллигенции, ее действительное место и роль можно лишь с позиции иной научной парадигмы. Таковая уже сформулирована исследователями, объясняющими исторический процесс не с точки зрения смены социально-экономических формаций и классовой борьбы, а с позиций культу-

* Ранее опубл.: Сухотина Л.Г. Русская радикальная интеллигенция XIX века: истоки и политическая культура // Россия в Новое время: выбор пути исторического развития: Материалы межвузовской научной конференции 22–23 апреля 1994 г. М.: РГГУ, 1994. С. 102–105.

рологического подхода. Конкретизацией такого подхода является концепция, изложенная в работах А.С. Ахиезера, уже получившая широкое признание в нашей общественной науке.

По мнению Ахиезера, главной детерминантой исторического процесса является противоречие между социальной структурой, всегда более консервативной, отстающей в развитии, и культурой, являющейся более динамичным, подвижным фактором. Государство при этом действует не только как сила, выражающая интересы какого-либо одного, экономически господствующего класса, но, прежде всего, как интегратор общественного организма, гарант его единения и прочности. Отсюда следует, что то, как правящая элита справлялась со своей ролью медиатора во взаимоотношениях разных социальных групп, определяло отношение к ней наиболее мыслящих и деятельных их представителей. Не случайно со времени Платона и Аристотеля проблема взаимоотношения общества и государства являлась одной из главных тем философии.

В силу исторических причин (в их ряду далеко не последнее место занимали природно-климатические условия и геополитический фактор) в России сложилось авторитарное государство с крепкой центральной властью. Это определило упрощенную социальную структуру, где все слои общества были в одинаковой степени зависимы от нее и где не оставалось места для представительных учреждений, способных осуществлять посредническую функцию как между государством и социумом, так и между отдельными группами внутри него. Общество оказалось расколотым. В этих условиях авторитарный принцип властвования обрел характер традиции, ставшей самым прочным элементом в социальной и культурной конструкции реальности. Он обуславливал особую преемственность в историческом развитии страны, в том числе и в изменении общественной мысли, определяв ее характер и своеобразие.

Авторитарная власть с ее презрением к закону и правопорядку оказалась неспособной преодолеть раскол общества, создав тем самым ситуацию роста сил антиправительственной оппозиции. Откат правительства (вторая половина царствования Александра I) от начатой политики реформ и торжество абсолютистских принципов при Николае II обусловили отход от него духовной элиты и ее раскол, выразившийся в появлении радикальной оппозиции. Расправа с декабристами (в большинстве своем офицерами победоносной армии, в состоянии победной эйфории возлелеявшими мечту о возможном содействии власти в продолжении начатого курса реформ) стимулировала рост революционных сил в лице формировавшейся интеллигенции. Будучи разночинной по социальному составу, не связанной материальными и политическими интересами с каким-либо классом, интеллигенция не испытывала потребности в поддержке со стороны властей. Более того, присущие ей профессиональные свойства – скептицизм, критичность, стремление к познанию внутренней сущности традиционных обычаев и порядков все более отдаляли ее не только от правящей, но и духовной элиты в лице наиболее образованных и либерально настроенных представителей дворянства. Другое обстоятельство, а именно: пассивность и покорность народа, его приверженность царской власти – усугубляли изолированность интеллигенции, стимулируя тем самым ее радикальные устремления. Психология социальной отчужденности толкала интеллигенцию на путь создания лишенных реальной почвы отвлеченных теоретических построений и экстремистских методов действий.

Не приемля существующую форму власти и основываясь на абстрактных, утопических представлениях, она создает идеальный образ будущего государства.

Отталкиваясь от тезиса Гегеля, что государство есть полное осуществление нравственной идеи, воплощение сознающего себя нравственного духа, носителем которого является дух народа, радикальные мыслители приходят к заключению,

что государство в идеале должно создать общество, которое не только провозгласит свободы и гарантирует их осуществление, но которое обеспечит полную солидарность и общность развития всех индивидов. То есть общество, в котором личность была бы полностью поглощена. Отсюда с логической неизбежностью должен был последовать вывод о том, что общественные отношения могут быть построены на основе строгих простых формул, усвоение которых на уровне общественного сознания приведет к ненужности самого государства как носителя верховной власти.

В пореформенной России, в условиях расцвета науки и подъема творческих сил личности, рождающих уверенность в эффективности волевых действий человека, усиливавшееся противостояние власти и общества от опеки государства трансформировалось в тезис о необходимости его полного уничтожения (М.А. Бакунин). Соответственно, в революционной идеологии менялись и представления о силах, способных решить поставленную задачу. Нигилистов, возлагавших надежду в переустройстве общества на науку (Д.И. Писарев), сменили народники, делавшие ставку вначале на критически мыслящую личность (П.Л. Лавров), затем – на стихийную крестьянскую революцию как проявление антигосударственного инстинкта народных масс (П.Н. Ткачев, М.А. Бакунин).

Таким образом, факторами, определяющими политическую культуру интеллигенции, а, следовательно, содержание ее теоретической мысли и образ практических действий, являлись самодержавная власть, медленно, отступлениями и зигзагами, осуществлявшая политику модернизации страны, а также покорство и инертность народа.

Социальная отчужденность радикальной интеллигенции, погружение ее в сферу абстрактного теоретизирования, усиливавшегося под влиянием общественной мысли Запада, обусловили особую преемственность в теории и методах действий ее на протяжении последующих поколений.

НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ И РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Во второй четверти XIX в. в России с особой остротой встает проблема взаимоотношений с Западом. В исследовательской литературе тема взаимодействия инациональных культур традиционно рассматривается как влияние развитых стран на другие, более отсталые. Так, в частности, до сего времени трактуются культурные контакты Запада и России, которая оценивается как страна «догоняющего» типа развития. Опыт философско-исторической науки свидетельствует, однако, что такого рода кросскультурные исследования в области истории общественной мысли вовсе не являются беспроblemными и отнюдь не всегда подтверждают подобные выводы. О. Шпенглер в свое время справедливо отмечал, что каждая культура смотрит на мир сквозь призму собственного восприятия и потому оказывается не в состоянии адекватно осмыслить общество с другим миропониманием. Философ считал: заимствование инациональных идей и культурных традиций могло привести лишь к подавлению собственных творческих способностей и всегда рождало чахлые, бесплодные культурные явления, которые он назвал «псевдоморфозой». Именно так Шпенглер оценивал плоды культурного влияния Запада на Россию, которую он относил, согласно своей квалификации к «магическому» («мистическому») типу общества, в отличие от «фаустовского» (прагматического) Запада. Уместно напомнить, что так же оценивал влияние западных стран на Россию П.Я. Чаадаев, утверждавший: отсталое российское общество не только не приобщило ни одной новой идеи к массе идей человечества, но и все заимствованное «мы исказили и извратили». В действительности же рассмотрение конкретного опыта русской философско-исторической традиции времени ее становления и первых творческих шагов (вторая четверть XIX в.) раскрывает совсем иную, более сложную картину ее взаимодействия с общественной мыслью Германии, занявшей после победоносных войн с наполеоновской Францией утраченное последней место интеллектуального центра Европы.

Наступившая после 1815 г. эпоха Реставрации обусловила смену светлой настроенности романтизма эпохи Просвещения трагическим мироощущением. Тревожила мысль о несвободе человека. Он представлялся теперь узником, обреченным на вечное заключение в темном склепе («Шильонский узник» Байрона – 1816 г.) или страдальцем, пребывающим всю жизнь под властью темных сатанинских сил («эликсиры дьявола» Гофмана – 1816 г.). Русская интеллектуальная элита, так же потрясенная разгулом насилия и террора Французской революции («...век Просвещения, в крови и гневe не узнаю тебя ...» – писал Н.М. Карамзин), но ощутившая было с воцарением Александра I веру в человеческий разум, испытала столь же острое разочарование начавшейся реставрацией. «Поэт мысли», «Гамлет Баратынский» напишет в 1820-м:

Исчезли радости
Как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной.
И я, певец утех, пою утрату их.

Хорошо сказал Н.А. Бердяев: русская литература «вся в муках и в страдании, боли о мировом спасении, в ней точно совершается искупление какой-то вины. Скорбный образ Чаадаева стоит у самого исхода движения созревшей русской мысли XIX в. Лермонтов, Гоголь, Тютчев не в творческой избыточности ренессансного духа творят, они творят в муках боли, в них нет шипучей игры сил»¹.

Новой этапной вехой на пути мрачных раздумий и прогнозов стал для русского общества 1825 г. «Впуганная в раздумье» (А. Герцен) Россия почувствовала особую потребность в размышлении – «любомудрии». Ощущение неустроенности, бездуховности мирового порядка заставляло русских мыслителей обратиться к осмыслению своих национальных проблем как проблем общечеловеческих. В этом стремлении они все более тяготели к Германии, с которой Россию связывали давние культурные и научные контакты и в которой они увидели теперь воплощение «духа времени». В романтических творениях Шиллера, Гете, Новалиса, Гофмана, в философии Гегеля и Шеллинга их привлекали стремление к обновлению и совершенству, вера в конечное торжество разума, сочетавшаяся с мотивами мировой скорби, «мирового зла».

Дух немецкого романтизма увлек разбужденную русскую мысль. Ей импонировала поставленная романтиками проблема кризиса европейского сознания, в частности вывод Фридриха Шлегеля и его единомышленников о разобщении и обособлении человеческих сил, которые могут быть здоровыми лишь во всеобщем единении. Залог такого единения виделся в возвращении Бога. Религия, в представлении романтиков, становится изначальным и высшим принципом жизни общества. Она призвана возродить целостное сознание и создать нового человека.

В России острое осознание роли религии и Церкви впервые проявилось во взглядах П.Я. Чаадаева. В 1830 г. во время своего пребывания в Германии он слушал лекции Гегеля в Берлине и Шеллинга в Мюнхене и даже познакомился с ними лично, встречаясь с Гегелем у него на обедах. Тесное общение с Шеллингом, вернувшимся от натурфилософии к Богу, внушило Чаадаеву надежду на осознание европейским обществом такого возврата. В сложившейся ситуации естественными и закономерными являются размышления Чаадаева о месте и роли православной церкви в решении задачи мирового единения. От резкой критики православной Церкви в «философических письмах» (1828–1829 гг.) он переходит к мысли о ее предназначении возродить изначально заложенную в христианстве идею мирового единения («Почему бы я не мог сказать, что Россия слишком величественна, чтобы решать только свои национальные проблемы»). Обоснование и развитие этого еще неясно сформулированного и с большим сомнением высказанного им тезиса («Химеры ... химеры все это»²) становится целью раннего («классического») славянофильства. Есть основание полагать, что немецкий романтизм с его надеждами на объединение разума и веры и размышления Чаадаева относительно роли православной церкви явились тем предпосылочным знанием, которое способствовало оформлению славянофильства в целостное общественно-политическое течение. Оно вызревало и развивалось в полемике с тем и другим.

Эмоциональным центром и основой философской активности славянофилов становится их утверждение о святом средоточии бытия и сознания, скрепленном неизвращенной, истинно христианской православной верой. Обвиняя культуру Европы в подчиненности рационализму, они противопоставляют ей Россию в качестве мира, изначально скрепленного религиозно-целостным сознанием. Для более последовательного и убедительного обоснования этого вывода славянофилам надо было доказать несостоятельность чаадаевской критики православной церкви. Обоснование тезиса об истинности православного христианства в отличие от като-

¹ Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. Умса-Press, 1968. С. 25–26.

² Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1987. С. 243.

лического, якобы извращенного рационализмом, становится ядром всех теоретических построений славянофилов.

Примечательно, что, критикуя европейскую культуру как рационалистически-атомистскую, они тем не менее не переставали верить в непреходящее культурное значение земли «святых чудес» (А. Хомяков) и высказывали опасение, что Россия, оторвавшись от Запада, может утратить предназначенное ей свыше огромное значение в судьбах человечества (И. Киреевский).

Таким образом, вторая четверть XIX в. ставила перед всем европейским миром общую задачу – задачу единения. В решении ее с одинаковой активностью участвовали интеллектуальные силы Запада и России – обстоятельство, являющееся убедительным доказательством их принадлежности к общему культурно-историческому пространству. В этом притяжении-отталкивании русской мысли от европейского романтизма заключался своего рода «германский комплекс», проявившийся в ревновании России к передовому Западу, его более развитой культуре.

Сходная ситуация складывается также в рубежное время (конец XIX – начало XX в.). Пережитая человечеством великая самоубийственная война, три русских революции и абсолютная всемирная тирания (большевизм, нацизм и фашизм), создавали условия, когда вновь возникла острая потребность в интегрирующем процессе, который бы восстановил органическую цельность бытия. По словам известного русского философа В. Эрна, время снова «славянофильствовало».

Европа пугала все более усиливающимися темпами экономического роста, обострением социальных противоречий, быстрым развитием науки, права, государственных институтов, между которыми терялся общий объединяющий смысл. В русской общественной мысли иногда ярче, чем прежде, выступает убежденность в том, что именно православие может и должно стать основой нового мирового гуманистического порядка.

Этой убежденностью пронизана в частности «пушкинская» речь Ф. Достоевского, произнесенная 6 июня 1880 г. по случаю открытия памятника поэту. Речь явилась для писателя заключительным аккордом долгих и напряженных раздумий о почвенничестве как органической основе не только социального порядка в России, но и мессианского ее предназначения. И хотя, оговаривался писатель, народ России вовсе еще не успел просветиться христианством, это лишь предстоит ему и, возможно, лишь в отдаленном будущем. «Пока же следует лишь постепенно готовить для этого почву, ибо «не сошел же Христос с креста, чтобы насильно уверить внешним чудом, а хотел именно свободы совести»¹. Эти оговорки не помешали Достоевскому прийти в своей речи к заключительному выводу о том, что стать «настоящим русским» и будет значить внести примирение в европейские противоречия и окончательно указать исход «европейской тоске»².

Современный американский исследователь А.Л. Янов оценивает этот, казалось бы, неожиданный для самого писателя вывод о духовной мощи и превосходстве русского характера как проявление затянувшегося славянофильского обмана, ставшего одним из эпизодов «исторической драмы русского национал-патриотизма»³.

Речь Достоевского вызвала восторг отнюдь не у всех его современников. Так, известный либеральный мыслитель К.Д. Кавелин увидел в ней не более, чем всю ту же «старую аргументацию славянофильства». Взгляд на наш народ как на хранителя христианской правды, по его мнению, является не более, чем «поэтически выраженный парадокс»⁴.

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. СПб., 1889. Т. I. С. 361–364.

² Там же. С. 360.

³ Янов А.Л. Россия против России. Новосибирск, 1999. С. 269.

⁴ Кавелин К.Д. Наш умственный строй. М., 1989. С. 36.

Позже, в пореволюционное время, мысль о православии как об основе мирового единения и порядка заметно крепла в среде русской эмиграции. Многие добровольно уехавшие или изгнанные из России известные философы, публицисты, общественные деятели видели в нем главную, если не единственную, национальную традицию, являющуюся духовной скрепой общества. Очевидно, именно эта убежденность объясняет, к примеру, участие (пусть временное) одного из крупнейших философов русского зарубежья Л.П. Карсавина в движение «евразийцев», идеологи которого считали Россию замкнутым, самодостаточным миром, соответствующим высоким нравственным и эстетическим требованиям, требованиям, способным стать основой «государства правды». Н.А. Бердяев был готов даже найти в этом оправдание Октябрьской революции, увидев в ней «правду истории», обосновывающую возможность синтеза православия и социализма.

В этой связи представляется интересным и важным поставить вопрос: почему названные философы, как и ряд других глубоких и оригинальных исследователей, оказались неспособными увидеть в православной теологической традиции черты националистического консерватизма – черты, исключающие его способность к эволюции, возможность дать ответы на поставленные жизнью с возрастающей остротой вопросы. Почему, в частности, в религии вообще и в православии особенно всегда присутствовал идеологический, государственный компонент. И почему ряд других, не менее известных мыслителей рассматриваемого времени (Л.А. Тихомиров, В.В. Розанов и другие) увидели в нем черты, родственные тоталитаризму.

Другими словами, почему даже во времена острого социально-политического кризиса рубежного времени русская философская и в целом общественная мысль оставалась приверженной консервативной ветви христианства, сохраняя тем самым выраженный националистический характер. Ответ на этот вопрос и даже саму его постановку до сих пор трудно отыскать в новейших исследованиях, тем более исследованиях православных авторов. Хотя призыв обратиться к Богу как основе высшего и необходимого единства отнюдь не исключает знакомство с известным замечанием И. Канта: «Религия на основе своей святости и законодательство на основе своего величия хотят поставить себя вне критики. Однако, в таком случае, они справедливо вызывают подозрение и теряют право на искреннее уважение, оказываемое разумом только тому, что может устоять перед свободным и открытым испытанием».

В этой связи представляется уместным обратиться к размышлениям необычайно яркой личности – поэту и мыслителю Даниилу Андрееву. Утверждая, что другой важной инстанцией, кроме государства, претендующей на роль объединительницы людей с целью предотвращения социальных конфликтов, грозящих хаосом гражданской войны, служит «иерократия», он подчеркивал, что церковь всегда стремилась не только поддержать, но и совершенствовать социальную гармонию путем укрепления нравственных, гуманистических начал и ослабления «цементирующего насилия» государственной власти. При этом в своей конструктивной программе нароудстройства она стихийно стремилась к вселенскому объединению¹. Знаменательно, однако, оговаривал он, что именно религиозные конфессии, раньше всех провозгласившие интернациональные идеалы братства, теперь оказываются в арьергарде всеобщего устремления ко всемирному единению. Причину этого Андреев усматривает, прежде всего, в сосредоточении внимания церкви на «внутреннем человеке» и пренебрежении всем «внешним», относя к этому «внешнему» социальное устройство общества. Но существует, по его мнению, и другая причина – возникающий со временем «мистический ужас» перед грядущим объединением мира, неизбежная тревога за человечество, ибо в едином общечеловеческом го-

¹ Андреев Д. Роза мира. М., 1992. С. 8.

сударстве предчувствуется «западня», из которой единственным выходом будет выход к абсолютному единовластию, к последним катаклизмам истории и к катастрофическому перерыву¹.

Выводы Даниила Андреева интересны. На наш взгляд, они многое объясняют в противоречиях, пронизывающих собою весь ход современных межгосударственных и межэтнических отношений, истоки которых уходят вглубь межконфессиональных исторических традиций.

¹ *Андреев Д.* Роза мира. М., 1992. С. 9.

ДОСТОЕВСКИЙ В ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

В ряду великих писателей России, привлекающих обостренное внимание не только русской, но и мировой общественной мысли, первое место принадлежит Ф.М. Достоевскому. Крупные мыслители Западной Европы считали его своим учителем. В России о нем писали, на него ссылались, к нему обращались Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев, Вл. Соловьев, В.В. Розанов, Н.Н. Страхов, Л. Шпет и многие другие мыслители. Анализ его творчества посвятили специальные исследования писатели, публицисты, философы, оказавшиеся за пределами своего отечества. Для них, вольных и невольных изгнанников, понять творчество великого художника означало понять что-то существенное в строе русской души ... приблизиться к разгадке тайны России¹. Они, писал итальянский исследователь русской литературы Луиджи Магаротто, подобно изгнанным из Испании евреям, не терявшим надежду вернуться на родину и потому бережно хранившим ключи от своих домов, также тщательно берегли «ключи» от своей родины, каковыми была для них память об отечественной литературе ее «золотого» века².

Что же привлекало в творчестве Достоевского интеллектуальную Россию? В.В. Розанов, называвший себя его «учеником», писал: «Воображение Достоевского было безмерным, а его идеи (...) переливаются за край и литературы и (...) за края национального существования»³. Развивая далее мысль о мировом значении творчества великого художника, Розанов отмечает, что его анализ словно «пробуровил самое дно сложения человеческого», а воображение «построет совершенно новые миры» и новые схемы отношения между людьми, еще никогда не испытанные и не почувствованные. Оттого-то его герои явлены нам в образах, то «зовущих и соблазняющих», то «мучающих и отталкивающих»⁴.

Первым произведением, принесшим Достоевскому известность, был роман «Бедные люди» (1846). Прочитавший его за одну ночь Белинский сказал писателю: «Вам правда открыта и возведена как художнику, досталась как дар»⁵. Эту «открытую» или «возвещанную» ему правду Достоевский старался понять и осмыслить всю свою последующую жизнь. Тут были мучительные раздумья о путях ее улучшения, тяжело пережитая инсценировка казни на Семеновском плацу Петербурга, четыре года каторжных работ в Сибири и пять лет службы в Семипалатинском гарнизоне, сначала рядовым, затем унтер-офицером и офицером.

Каторга «перевернула» душу писателя. Реальные обитатели «Мертвого дома» не подтвердили его прежних представлений о каторжниках. Он понял, как много здесь было «погребено напрасно» молодых великих сил. «Что делается с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем, – писал он из Сибири брату, –

¹ Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001. С. 9–10.

² Магаротто Л. Предисловие к кн. К.В. Мочульского «Великие русские писатели XIX в.». СПб., 2001. С. 7.

³ Розанов В.В. Около церковных стен. М., 1995. С. 13.

⁴ Там же. С. 131–132.

⁵ Мочульский К.В. Великие русские писатели XIX в. СПб., 2001. С. 115.

не скажу тебе. Долго рассказывать»¹. Во всей неприглядной обнаженности перед ним встает главная проблема жизни: как помочь человеку, который несвободен в выборе условий своего существования, это определяет все его мысли и устремления. Были ли поступки человека всегда рациональны в условиях несвободы, всегда направлены на улучшение жизни – вопрос, разрешению которого Достоевский подчинил все свои замыслы и цели.

Выросший в тесноте и темноте городской чиновничьей квартиры, ставший студентом военно-инженерного училища по воле своего отца, он с самого начала по строю своих чувств и стилю мышления оказался в стане людей, критически воспринимавших реальность. Этому способствовало и время, питавшее надежды на возможность скорых социальных перемен. Позор Крымской войны, крестьянская реформа 1861 года, положившая начало быстрой и ощутимой ломки социальных устоев, создавали необычайное интеллектуальное напряжение в обществе, когда, по словам современника, «все вопросы поднимались с самого корня, поднимались, решались, перевершались и опять поднимались»². Мысль, терявшая по мере быстрых перемен связь с реальностью, лихорадочно металась, пытаясь обрести под ногами твердую почву, и не находила.

Мечется и ищет опору Достоевский. В издаваемых им с братом журналах «Время», затем «Эпоха» излагалось достаточно туманное, неясное учение о почвенничестве. Проблема желанной свободы и почвы, которая помогла бы человеку утвердиться в этой свободе, постепенно трансформировалась в творчестве писателя в яростное стремление ее философского осмысления. Сам он говорил о себе: «Шваховат я в философии, – добавляя при этом, – но не в любви к ней, в любви к ней силен». Н.А. Бердяев, посвятивший анализу творчества Достоевского одну из самых интересных и глубоких своих работ, писал: «Он был настоящим философом, величайшим русским философом ... знавшим собственные пути философствования и потому давшим для ищущей мысли бесконечно много»³.

Основанные на острой интуиции и столь же острой наблюдательности, эти пути заключались в том, что в центр мироздания писатель ставил человека. Человека, который не есть просто явление природы или одно из явлений истории, но представляет собою микрокосм, центр бытия, вокруг которого все вращается и в котором заключается загадка истории. Такой подход (Бердяев назвал его «вихревой антропологией») оказывается возможным, когда писатель исследует человека с его мыслями и поступками в состоянии «отпущенности», поставившего себя или поставленного обстоятельствами вне закона и потому лишенного твердой почвы под ногами. Человека «подпольного», неподвластного подневольному, принудительно рационализированному сознанию. В такой ситуации, как полагал Достоевский, явственнее обозначалась тайна его природы. «Лаборатория» исследовательской мысли писателя казалась, по словам Мережковского, «дьявольской кухней» средневекового алхимика. Иногда читателю становилось даже «страшно за него», ибо он входил в глубины, в которые до него никто никогда не спускался⁴.

Именно эта проблема (проблема природы, сути человека и обстоятельств, обусловливавших ее обнаженность) и была той стержневой проблемой, которая не могла не привлекать в прошлом, и продолжает привлекать сейчас общественную мысль, помогая ей решать мучающие ее вопросы. Не случайно все новые идеали-

¹ Мочульский К.В. Великие русские писатели XIX в. СПб., 2001. С. 115.

² Страхов Н.Н. Рец. на кн. В.В. Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» СПб., 1894 // Розанов В.В. Pro et contra: Антология. СПб., 1995. Кн. 1. С. 263.

³ Бердяев Н.А. Мирозерцание Достоевского. М., 2001. С. 23–24.

⁴ Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество // Мережковский Д.С. Полн. собр. соч. М., 1914. Т. 10. С. 107.

стические и религиозные учения рубежного времени встали, как писал Н.А. Бердяев, «под знак Достоевского», все оказались «зачаты в его духе»¹.

Обостренное антропологическое чутье писателя, подобно мощному магниту, притягивало к себе и «неохристиан» и «неоидеалистов» тем, прежде всего, что оно раскрывало ограниченность гуманизма, обнаруживая скрытую внешне противоречивость присущего ему рационализма и тем самым показывая его неспособность разрешить трагедию человеческой судьбы. Достоевский подводит читателя к выводу, что неистребимая, неизбывная мечта человека о свободе иллюзорна. Свобода не может стать источником счастья человека, ибо она не изменит его природу, не устраним имманентно присущую ей двойственность, загадочную антиномичность. Более того, она представляет собою страшную силу. Приводя человека к отпадению от истины, она тем самым может породить в обществе хаос и вражду.

В философской среде русской интеллигенции XIX века, где понимание Гегеля считалось показателем образованности и где сталкивались между собою лишь левое гегельянство Белинского и шестидесятников и правое Н.Н. Страхова, голос Достоевского, провозгласившего, что все действительное неразумно, разумное же отнюдь не всегда становится действительным, был новым звуком, привлечшим широкое внимание мыслящего общества². В нем звучала ранее неизвестная диалектика. Ученик Достоевского, и в то же время его самый глубокий и проницательный критик В.В. Розанов отмечал это в качестве новой привлекательной черты, пронизывающей все творчество писателя. Новизна его диалектики состояла не только в том, что она была выражена в художественной форме и потому проявлялась особенно отчетливо, ярко и убедительно, но и в том, прежде всего, что она покончила с прямолинейностью мысли и сердца: русское сознание он невероятно углубил и распатал³. «Достоевский, – развивает свою мысль Розанов, – совершил свою диалектику не логически, не в схеме, как Платон и Гегель, а художественно, и через это он смешал безобразия и красоту». В качестве своего рода «gesumme» всей мысли писателя Розанов приводит слова Мити Карамазова: «Идеал содомский переходит в идеал Мадонны: и обратно, среди Содомы-то и начинает мелькать идеал Мадонны». «Снилась ли тебе, мальчику, – обращается он к Алеше, – эта истина?». В словах Мити, считает Розанов, звучит «глубочайшая и душевная мысль» самого Достоевского, его «новое благовестие».

Подводя итог своим рассуждениям, Розанов пишет: «Позитивное бревно, лежавшее поверх нашей русской, да и европейской улицы, он так потряхнул, что оно никогда не придет в прежнее спокойное и счастливое положение уравновешенности». И действительно: «праведный» убийца и «святая» проститутка – вот суть, остальное – аксессуар. Это правда жизни, подтвержденная тем, что происходит и «на дне евангельских глубин» – «разбойник, распятый направо от Спасителя и блудница, помазавшая миром Его ноги»⁴.

Таким образом, подчеркивает Розанов, тонкая, почти филигранная диалектика позволила Достоевскому показать в художественных образах всю сложность, противоречивость и многослойность человеческой природы. Она позволила также определить и доминирующую черту человека, рельефно выступающую в его мыслях, намерениях и поступках. Черту, открывшуюся писателю еще в детские годы (патологические черты характера отца – ревность, подозрительность, взрывчатость, жестокость, угрюмость, склонность выпивать), затем на каторге и выразившуюся в безграничном, часто в преступном своеволии человека. «Стою я за свой каприз, –

¹ Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001. С. 152.

² Фришман А. Достоевский и Кьеркегор. Диалог и молчание // Достоевский и мировая культура. Альманах №1. СПб., 1993. Ч. 2. С. 177.

³ Розанов В.В. Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М., 1996. С. 540.

⁴ Там же. С. 540–542.

говорит его человек из подполья, – и чтобы он мне был гарантирован. ...Да я за то, чтобы меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам». Или еще одна, не менее выразительная тирада «подпольного» человека: «Свету ли провалиться или вот мне чаю не пить. Я скажу, чтоб свету провалиться, а чтобы мне всегда чай пить».

В приведенных словах кроется открытие Достоевским человека, его темной, таинственной натуры, постоянно бунтующей против господства неких анонимных сил принуждения и подчинения столь же анонимным объективным законам и обстоятельствам.

Проблемой, которая диктовала писателю необходимость разгадки тайны природы человека, и которая так занимала общественную мысль, была проблема свободы. В пореформенной самодержавной России с ее еще не изжитыми остатками крепостничества и общинной формой крестьянского бытия, мысль о свободе имела прочные корни и основания.

Известный философ, представитель русского зарубежья Ф.А. Степун обозначил две главные темы, пронизывающие творчество Достоевского в решении проблемы свободы: тема «соблазна отвлеченного человеческого ума духом революционной утопии» и тема «соблазна влюбленного человеческого сердца»¹. Обе темы были близки писателю в связи с его детскими мучительными переживаниями, участием в тайном обществе петрашевцев, где он примыкал к наиболее радикальному крылу и, наконец, затянувшимся тяжелым романом сорокалетнего писателя со своей двадцатилетней сотрудницей Аполлинарией Суловой при тяжело больной жене.

Тема свободы особенно волновала в плане ее отношения к истине и, соответственно, отношения личного бунта к бытовавшим в обществе нравственным нормам. Могут ли люди раздвоенные (и потому находящиеся во власти надуманных утопических идей или во власти незаконной страсти) выбиться из колеи предназначенной им жизни и при этом быть в ладу со своей совестью? Пойдут ли они по правительственному пути? Вот вопросы, которые не могли не волновать писателя. Вспомним еще, что сам он был страстным игроком, которому не раз случалось пребывать в долгах, закладывая свою одежду, платья и украшения жены².

История убеждала, что бунт всегда обретает иррациональный характер и потому завершается трагически. Как отмечает Ф.А. Степун, Достоевский осознал, что свобода требует послушания истине, и в то же время твердо уверовал в то, что истина обретается лишь на путях свободы³.

Создавался заколдованный круг, выход из которого ищут все его герои – страдает и мучается Родион Раскольников, Иван и Митя Карамазовы, почти святой князь Мышкин, целая толпа «бесов» революции и даже монастырский послушник Алеша, казалось, уже нашедший свою истину на путях веры. Этот образ «людей идеи» представлен во всех произведениях писателя. Идея овладевает ими, они не просто верят в нее, но ею живут, она становится их истиной. Личность уже не что иное, как воплощенная идея. Примером такого рода воплощенной идеи является Родион Раскольников. Когда-то он написал статью, в которой теоретически обосновал возможность для отдельной личности проявить своеволие, обойдя закон. Все человечество делится у него на две категории. Для одних – вождей, героев, законодателей – все позволено, они могут «переступить», для них нет добра и зла, нет законов. Остальная масса должна повиноваться им. Раскольников хочет доказать себе, что он тоже может проявить своеволие.

Долго мучившая его идея об убийстве осуществлена, против него нет улик, но он добровольно признается в своем преступлении. Этим последним актом драмы Достоевский снова показывает, что разум отнюдь не всегда направлен на осуществ-

¹ Степун Ф.А. Миросозерцание Достоевского // Степун Ф.А. Встречи. М., 1998. С. 51.

² Андреев И.М. Русские писатели XIX века. М., 1999. С. 306–307.

³ Степун Ф.А. Миросозерцание Достоевского // Степун Ф.А. Встречи. М., 1998. С. 51.

вление доброго дела, а значит, не может полностью подчинить себе волю человека. В данном же случае сильнее разума оказывается голос совести.

Трагедия раздвоения личности, проявляющаяся в борьбе человека с собственным рассудком, показана писателем и в бредовом сне Раскольникова, где в тела людей впиваются микроскопические существа, одаренные умом и волей. Люди, пораженные ими, становятся больными, но «никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине», никогда не сомневались в истинности своих «научных выводов, своих нравственных убеждений», как они¹. Горячий сон Раскольникова был продолжением его прежних рассуждений о границах дозволенности волеизъявления человека, действующим под влиянием только одного рассудка.

Раскольников в образе персонажей своего бредового сна, как позже Иван Карамазов, мучительно пытается отыскать спасительную идею, которая бы избавила человека от страданий. Иван никак не может понять, почему в жизни все так плохо устроено – страдание есть, а виноватых нет. Это какая-то «Евклидова дичь», по которой он жить не согласен. Особенно его волнуют дети: «Если все должны страдать, чтобы страданиями купить вечную гармонию, то причем тут детки? ...Чем можно купить слезы детей? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем же мне их отмщение, зачем ад для мучителей? Что тут ад может исправить, когда те уже замучены?».

Иван завершает свой страстный монолог решительным заявлением: Слишком дорого оценили будущую гармонию, «не по карману нашему вовсе столько платить за вход». А потому, свой билет за вход он спешит возвратить обратно. «Не Бога я не принимаю, – поясняет он брату свою позицию, – но только порядок, им созданный, и потому билет ему почтительно возвращаю»².

Аргументы Ивана так убедительны, что даже Алеша не может их оспорить, соглашаясь, что «высшая гармония», действительно не стоит слезинки замученного ребенка.

Рассуждения братьев Карамазовых, как и Родиона Раскольникова, есть конкретное воплощение мысли Достоевского о том, что в обществе, где человек не свободен и потому не может обустроить свою жизнь по собственному желанию, он всегда будет искать причины этого неустройства и пути выхода из него. Поэтому идеи, им овладевающие, становятся в творениях писателя, как отмечает Степун, «трансцендентными реальностями», «прообразами бытия» и «силовыми центрами» истории. Их сущность открывается лишь «целостному всеобъемлющему переживанию». То есть решение поставленных ими вопросов отнюдь не является простым, ибо сама проблема – метафизического плана³.

Представляется, что вывод, к которому приходит Степун, помог ему решить для себя проблему Октябрьской революции. Ее победу он считает отнюдь не просто результатом заговорщических действий большевиков, но тем, прежде всего, что они уловили крепнувшую в народе подсознательную силу отрицания существовавших форм устройства жизни.

Не ясен вопрос о путях достижения свободы и самому Достоевскому.

Не случайно Иван Карамазов запутался в своих рассуждениях. Не принимая наличествующего в обществе порядка, он не отвергает и Бога, ответственного, казалось бы, за этот порядок. Противоречие, которое он оказывается не в силах разрешить, приводит его к трагическому концу.

Мучает Достоевского и другой вопрос – всегда ли идея, всецело завладевшая человеком и направленная на улучшение его жизни, действительно может изменить ее к лучшему?

¹ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. М., 1988–1993. Т. 5. С. 516.

² Там же. Т. 9. С. 276.

³ Степун Ф.А. Миросозерцание Достоевского // Степун Ф.А. Встречи. М., 1998. С. 57.

Вопрос этот для писателя, постигающего тайну души человека, оказался столь же труден, как и сама идея свободы. Не существует ли объективно нечто такое, что идет вразрез с интересами человека и что он осмыслить не в состоянии, но что «дороже самых лучших его выгод?» И какая из них может стать его главной выгодой, рассуждает его человек из подполья, которая «главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти?»¹.

Эта выгода замечательна тем, что разрушает все «классификации» и все «системы», составленные «любителями рода человеческого», доказывая тем самым, что они есть не что иное, как одна ученая «логистика», не учитывающая личностную индивидуальность человека. И все же человек так тяготеет к системе, так бывает пристрастен к «отвлеченному выводу», что готов даже умышленно исказить правду, чтобы только оправдать свою логику и пожить опять по своей «глупой воле»².

Конечно, продолжает «подпольный» человек, наука может найти когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов – «от чего они зависят, по каким именно законам происходят ... куда стремятся». Тогда человек, пожалуй, и перестанет хотеть, ибо тот час же обратится в «органный штифтик» или фортепианную клавишу». Рассудок, говорит «подпольный» герой Достоевского, бесспорно, вещь хорошая, но он знает лишь то, что успел узнать, а натура человеческая действует вся целиком, всем «что в ней есть сознательно и бессознательно»³.

Трудно не увидеть в рассуждениях «подпольного человека» выраженную боязнь писателя перед социалистическими идеями, его сомнений в том, что они могут действительно подвинуть общество к попыткам достичь обещанной ими свободы. Его опасения объясняются глубоким пониманием того, что идея свободы и идея справедливости, которыми движутся и воодушевляются все народные движения и революции, вовсе не дополняют одна другую, а, напротив, друг друга исключают. И все-таки, говорит «подпольный» герой, социальные науки уже так изучили, «разанатомировали» человека, что он «по глупости своей» может и впрямь поверить в какую-нибудь очередную соблазнительную идею. К примеру, в идею о том, что есть один общий закон для всего человечества, который сделает его навсегда счастливым. Будут люди жить в «нерушимом хрустальном здании». Конечно, признается он, это лишь придуманная им сказка, ложь. Но чего только не нафантазирует человек⁴.

Пространные рассуждения подпольного героя являются по сути своеобразным предисловием ко всем последующим творениям Достоевского. Раскрывая внутреннюю природу человеческой личности, тайники и закоулки ее души, эти рассуждения предвосхищают появление ряда его романов, определяя их сюжетную и проблемную канву.

В ряду романов, вызвавших интерес российской элиты, особо выделяются «Бесы» и «Братья Карамазовы». Оба романа были написаны в ситуации активизировавшегося революционно-народнического движения и отразили явную взволнованность общества растущей популярностью социалистических идей. В конце 60-х годов, живя за границей, Достоевский узнает о существовании в России организации «Народная расправа», в уставе которой ложь, шантаж и убийство были записаны как допустимые, а в определенной ситуации даже необходимые, методы действий. Узнает и о гибели от рук организатора общества Сергея Нечаева одного из членов общества, проявившего недоверие к нему. Пораженный этими событиями, как сбывшимися предположениями, Достоевский решает написать роман-памфлет. Однако под пером художника-реалиста произведение стало перерастать в роман-трагедию.

¹ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. М., 1988–1993. Т. 4. С. 467.

² Там же. С. 469–470.

³ Там же. С. 471.

⁴ Там же. С. 475–479.

Из письма Достоевского Каткову от 8 октября 1876 года видно, что задуманный им вначале образ мелкого беса Верховенского стал вытесняться сложной фигурой Николая Всеволодовича Ставрогина. Благодаря этой перемене героев роман переместился из политической плоскости в плоскость философскую, «как бы доказывая тем самым, – замечает Степун, – правоту мысли Кьеркегора, что коммунизм будет выдавать себя за движение политическое, а окажется, в конце концов, движением религиозным»¹.

В этом, как представляется, заключалась одна из главных причин необычайной популярности романа. К нему обращались все, кто пытался объяснить или предсказать ход российских событий. И те, кто рассчитывал на осуществление социальных реформ, и те, кто, обсуждая вопрос о важности формирования нового религиозного сознания, надеялся повлиять на изменение места и роли церкви в политической системе России. Роман, наконец, стал активно обсуждаться, о нем много писали представители русского пореволюционного зарубежья.

У многих роман вызвал острую негативную реакцию. Писателя обвиняли в злобной клевете на молодое поколение, в намеренном извращении действительных фактов, в нереальности созданных им образов, а также в приписывании своим героям мыслей, вовсе им не свойственных². Действительно, современникам, как и более поздним читателям романа, трудно было поверить в искренность Верховенского, убеждавшего Ставрогина возглавить революцию и в то же время признававшегося ему, что сам-то он не социалист вовсе, а ни во что не верующий нигилист, собирающийся разрушить существующее общество пьянством, развратом, доносами и шпионством и пролитием «свежей кровушки». Или оценить Шигалева с его замыслами, находящимися вообще за пределами возможного, в качестве реально существующей личности. Если Верховенский называл себя «мошенником», то Шигалев – откровенным путаником. «Я запутался в собственных данных» – признается он, но тут же добавляет, что кроме предложенного им «разрешения общественной формулы» нет и не может быть никакого другого³. Верховенский считает Шигалева гениальным человеком, поскольку он «выдумал равенство», но тут же называет его глупым, поскольку он верит, что равенство может осчастливить людей. Понимая противоречивость своего замысла, Шигалев создает достаточно простую систему: «Одна десятая получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми, которые превращаются в стадо безличных, послушных, но сытых и по-своему счастливых животных» (мысль эта была развита великим инквизитором в «легенде» Ивана Карамазова). Один из участников излагаемой Достоевским беседы предлагает еще более простой и действенный план – не перевоспитывать, а просто уничтожить девять десятых, оставив лишь небольшую кучку людей, которые бы начали жить по-ученому⁴.

При всей, казалось бы, комедийности созданных Достоевским образов революционных «бесов», утопичности их планов, эти «русские мальчики» оказались гениальным предвидением писателя, лишний раз продемонстрировавшим его мощный пророческий дар. Их идейные устремления и образ действий во всей полноте были явлены уже в народовольческом движении, а позже – в большевистской революции. Не случайно творчество Достоевского вызвало особенно напряженный и живой интерес позже – у философов рубежного времени, как бы «наново» открывших для себя Достоевского⁵. Адресованный ему ранее упрек в надуманности соз-

¹ Степун Ф.А. «Бесы» и большевистская революция // Степун Ф.А. Встречи. М., 1998. С. 66.

² Известно, в частности, что позже многие общественные деятели и партийные функционеры яростно поддержали Горького, возражавшего против постановки «Бесов» в Художественном театре.

³ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. М., 1988–1993. Т. 7. С. 326.

⁴ Там же. С. 568.

⁵ Маковский С. На Парнасе «Серебряного» века // Русская идея. М., 1994. Т. 2. С. 547.

данных им образов революционеров все более терял свою силу. Примером нового понимания романа является оценка его, данная Ф.А. Степуном. Глубокий и наблюдательный философ, активный участник Февральской и свидетель Октябрьской революций, изгнанный из России в 1922 году, Степун считал известный роман в большей степени пророческим, чем сатирическим произведением, раскрывающим метафизический смысл революции. «Здесь становится ясно, – писал он, – что безумие может самому себе противоречить, не уменьшая при этом своего значения, в то же время как разум противоречить себе не может, не снижая и даже не отменяя самого себя»¹.

И все же, для многих казался неразрешенным вопрос, как мог Достоевский, называвший себя «высшим реалистом», вывести «целую толпу» нигилистов, представив их людьми фантазийных, полностью лишенных реального смысла и реальной опоры замыслов и планов их осуществления. Как он мог вообразить и представить их выше предсказанных самой жизнью образов. И почему его «бесы», задается вопросом Н.Н. Страхов, «сознательнее, логичнее, тверже держаться своих идей», «чем это можно было бы предположить у действительных нигилистов? Почему, – продолжает он, – всякие умственные и нравственные увлечения» их показываются в слишком «ярких и сильных формах»². Ответ на поставленный Страховым вопрос мы находим у В.В. Розанова. Он считает, что писатель хотел обнажить этим страшные глубины человеческого подсознания, являвшиеся следствием и отражением трагического неустройства самой жизни. Показывая кощунство многих желаний и устремлений человека, он всматривается в них как «холодный аналитик», стремясь понять, почему так мучительно тяжело живет человеку, почему так «искажен и неправилен» весь образ Божьего мира³. У Достоевского возникает и другой вопрос: будет ли хорошо жить человеку в новом обществе, о котором мечтают и который хотят построить некоторые современные теоретики, или в этом «хрустальном» здании человек будет полностью стерт, лишен своей воли, так что «ни язык высунуть, ни кукиш в кармане показать».

Анализируя творчество писателя, Розанов отмечает в качестве «нового и всеобусловливаемого» его вывода мысль о том, что коренное зло человеческой жизни кроется в неправильном соотношении цели и средств ее достижения. Человеческая личность является только средством, ее бросают «к подножию цивилизации» и никто не может определить, в каких размерах и до каких пор это может продолжаться. Поэтому писатель так пристально всматривается в «русских мальчиков», желая понять их замыслы и планы. В воздухе носится идея, пишет Розанов, что живущее поколение людей может быть пожертвовано для блага будущего, для непосредственного числа поколений грядущих. И уже не единицы, но массы и даже целые народы приносятся в жертву во имя какой-то неведомой, непонятной цели, о которой мы можем лишь гадать. «Что-то чудовищное совершается в истории, какой-то призрак охватил и извратил ее». Заслугу Достоевского философ видит в том, что он первый, кто показал в метаниях человека, его мучительных поисках справедливости и правды желание устранить эту чудовищную дисгармонию жизни. Это не только придает всем творениям особую ценность, их «вековечный смысл и неумиряющее значение», но и объясняет, почему падение человеческой души становится основной для писателя темой, главнее, чем «мир красоты»⁴.

Еще больший интерес, не только русской, но и мировой общественной мысли, вызвал роман «Братья Карамазовы». В нем наиболее рельефно выступает свойст-

¹ Степун Ф.А. «Бесы» и большевистская революция // Степун Ф.А. Встречи. М., 1998. С. 75.

² Страхов Н.Н. Рец. на кн. В.В. Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» СПб., 1894 // Розанов В.В. Pro et contra. Антология. СПб., 1995. Кн. 1. С. 264.

³ Розанов В.В. Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М., 1996. С. 27.

⁴ Там же. С. 35.

венная творчеству Достоевского диалектика жизни, прослеживаемая в образах героев, стремящихся к внутренней свободе, к отпадению от мира, в котором им предназначено жить. В этой связи здесь ставится важнейшая проблема, всегда привлекавшая особое внимание русских мыслителей, проблема места и роли религии и церкви в человеческом обществе, судьбе отдельного человека.

В романе, который должен был составлять, по замыслу автора, лишь одну пятую часть большого произведения «Житие великого грешника» и который стал последним в творчестве писателя, он, в надежде разрешить все, так долго мучившие его вопросы, «разжигал, – по словам Мережковского, – до невыносимого страдания ... религиозную жажду»¹. Здесь кроется мысль, что Достоевский предсказывал и даже предварял те напряженные поиски нового религиозного сознания, которыми жила русская мысль рубежного времени. Роман усиливает высказанную в «Бесах» тревожную мысль об имманентном стремлении человека к свободе и о том, что это стремление может привести его к своеволию и даже к откровенному бунту. Один из «бесов» – Кириллов – решает проявить свободную волю в акте самоубийства, прямого неповиновения власти и закону, грубого нарушения нравственных устоев человеческого общежития. Что же может остановить в противоправных действиях человека свободного, подчиняющегося только своей воле? Наконец, возможно ли с помощью разума создать общество настолько совершенное, чтобы оно принесло успокоение человеку, избавив его от страданий, и стало бы завершающим этапом истории. Этот вопрос с новой силой звучит в «Братьях Карамазовых».

Розанов полагает, что Достоевский постоянно пытался решить именно этот вопрос. Этим заключением Розанов, по словам Страхова, «обобщает» Достоевского, определив главный, несущий конструкт всей его многообразной динамичной мысли².

В романе, ставшем, по сути, духовным завещанием автора, проблема разума решается в славянофильской традиции – в рамках соотношения разума и веры и определения места и роли церкви в их диалоге. Наиболее остро эта тема звучит в главе «Великий инквизитор» – сочинении Ивана Карамазова, двадцатитрехлетнего философа, пишущего статьи о церкви и ломающего голову над теми вопросами, которые мучили самого Достоевского.

Вывод о том, что герои Достоевского есть в той или иной степени его прототипы, не является спорным. Его разделяют все философы и критики писателя. Ф.А. Степун писал, в частности: «Они зарождаются в его голове и вынашиваются в его душе и сознании»³. Более конкретен в своем рассуждении Мочульский, утверждающий, что «двоящийся образ Алеши-Ивана Карамазовых» отразил в себе «колеблющееся ... постоянно раздваивающееся миросозерцание» самого писателя⁴. Как видим, автор объединяет Ивана и Алешу в один общий образ, стараясь показать тем самым чрезвычайную сложность обсуждаемой ими проблемы.

В сочинении Ивана сталкиваются два мировых начала – свободы и принуждения, Божья любовь и безбожие, сострадание к людям, стремление обустроить их жизнь. Эти начала персонифицированы в образах Христа, пришедшего на землю, чтобы помочь страдающим, хотя и свободным людям, и великого инквизитора, также горящего желанием облегчить жизнь человека, исправляя учение Христа. Уставший, но преисполненный сознания выполненного долга, – накануне было предано аутодафе сто человек, – инквизитор говорит, обращаясь к Христу, что, сделав человека свободным, но не накормив его, он тем самым не только лишил

¹ Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество // Мережковский Д.С. Полн. собр. соч., М., 1914. Т. 10. С. 161.

² Страхов Н.Н. Рец. на кн. В.В. Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» СПб., 1894 // Розанов В.В. Pro et contra. Антология. СПб., 1995. Кн. 1. С. 265.

³ Степун Ф.А. Миросозерцание Достоевского // Степун Ф.А. Встречи. М., 1998. С. 5.

⁴ Мочульский К.В. Гоголь, Соловьев, Достоевский. М., 1995. С. 545.

человека счастья, но и подвинул его на преступление, ибо не устранил «вековую тоску человечества, перед кем преклониться и преклониться всем вместе»¹.

Инквизитор соглашается с Христом лишь в одном – человек может бросить хлеба и пойти за тем, кто «обольстит его совесть», ибо «тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить»².

Иван называет свое произведение «поэмой», показывая этим не только остроту и важность поставленной им проблемы, но и ее обращение к будущему, призыв к разуму. Розанов же именуется творение Ивана «легендой», желая подчеркнуть этим, что спор между инквизитором и Христом – дело уже далекого прошлого (описываемые события относятся к XVI в.), новое же время должно внести в него свои коррективы.

Согласуется ли разум с истиной? Вопрос этот не проясняет и поведение собравшихся на площади людей: видевшие чудеса, сотворенные Христом и благоговейно целующие землю, по которой только что прошел Спаситель, они молчаливо расступаются и безропотно принимают обращенный к страже приказ инквизитора об аресте и заточении Сына человеческого в темницу.

«Поэма» Ивана, полная мучительных вопросов и тяжелых раздумий, адресована верующему Алеше, в надежде утвердиться в вере или окончательно порвать с нею. Перед изложением Иван уверяет брата, что принимает Бога, и принимает с охотой, принимает учение и цель его, хотя «они нам совершенно уже неизвестны», верует в смысл жизни и вечную гармонию, «в которой мы будто бы все сольемся». Его лишь удивляет, однако, не то, что Бог «в самом деле существует», а то, что мысль о его существовании «могла залезть в голову такому дикому и злему животному, как человек». И, хотя, признается Иван, он уже давно решил не думать о том, «Бог ли создал человека, или человек придумал Бога», и, все-таки, он принимает Бога «прямо и просто». Смушает Ивана лишь одно обстоятельство, что Бог создал землю «по евклидовой геометрии» и ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Но жизнь постоянно меняется, потому-то уже и теперь находятся «геометры и философы», которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная и все бытие было создано «лишь по евклидовой геометрии». И хотя, продолжает Иван, уже много слов «наделано» о премудрости божьей, он со своим «евклидовским, земным» умом неспособен разрешить эти вопросы и потому верит в Бога, но мира, им созданного, не принимает и не может согласиться принять³. Близок к Ивану в своих раздумьях и Федор: «Страшно много тайн, слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды».

Сила вопросов братьев Карамазовых, утративших веру и отпущенных автором на свободу так велика, что она может «взорвать мир»⁴.

В поэме Иван старается доказать, что созданный Христом порядок тоже абсурден, в нем нет места человеку, ибо учение Христа людям непосильно. Люди слабы, их природа требует счастья, сытости и покоя. Христос же приносит им свободу, тревогу и борьбу. Значит, нельзя провозглашать истины, для которых человек не годится, ибо они не согласуются с его природой. Это поняли они, говорит великий инквизитор о себе и о своих сторонниках, и отняли у человека свободу, дав ему взамен хлеб и сделав его этим счастливым. Они обусловили авторитетом его совесть, чтобы ему самому не пришлось принимать решений и, наконец, провозгласили веру тайной, чтобы человек не мучился, желая понять ее. И все это делали, говорит инквизитор, во имя Христа. В реальности же все эти исправления оказались лишь сущностным отрицанием возведенного им порядка. Пятнадцать веков

¹ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. М., 1988–1993. Т. 9. С. 283.

² Там же. С. 286–287.

³ Там же. С. 264–265.

⁴ Мочульский К.В. Великие русские писатели XIX в. СПб., 2001. С. 129.

оказалось достаточно, чтобы достичь этого. Провозглашенный Христом идеал был слишком высок и потому разрушился его же именем.

Христос молча выслушивает его речь и целует инквизитора. Ему, видимо, нечего сказать в ответ.

На чьей же стороне Достоевский? Кто ему более симпатичен – Христос или инквизитор? Вопрос этот активно обсуждался в русской философской мысли. Для одних вера писателя не вызывала сомнений, другие обосновывали тезис о его неверии. Проповедью Бога, утверждал в частности Розанов, Достоевский лишь «заглушал» свою тревогу – «тревогу неверия»¹. По мнению философа и критика Ю.И. Говорухи-Отрока, вера в Бога была для писателя завершением его долгих и трудных блужданий около истины. Хотя, признает автор, истина иногда «застыла» для Достоевского сомнениями, и потому он так и не мог стать «на строго церковную почву, а только приближался к ней»².

Бердяев, посвятивший одну из наиболее интересных своих работ исследованию мировоззрения Достоевского, считает, что вопрос о Боге вовсе не был для него главным. Его более мучила тема человека, его судьбы, мучила загадка человеческого духа, Бог же раскрывается ему лишь в судьбе человека; в столкновениях и взаимоотношениях людей состояла тайна человека, его пути, выражалась тем самым мировая идея³. Не реальность жизненного уклада, внешнего быта занимала писателя, но реальность духовной глубины человека, реальность идей, которыми он живет. Подсознание было у него константой, определяющей связи и отношения между людьми, их поступки, невидимые при дневном свете сознания. В христианстве же, полагает Бердяев, Достоевского привлекали явленные в образе Христа свобода и аристократизм духа, доступные лишь немногим. Христос отказывается от всякой власти, ибо воля к власти лишает свободы и того, кто властвует, и тех, над кем властвуют. Он проповедует лишь одну власть – власть любви, единственную совместимую со свободой. В этом, считает Бердяев, и заключаются главные и последние выводы из «христианского антропоцентризма». Христианство как учение и Христос как его символ «переходят в духовную глубину человека». В этом и кроется суть христианской метафизики⁴.

Конечный смысл всех рассуждений Бердяева сводится к тому, что идейная диалектика творений Достоевского означает поворот человека к своему духовному опыту. Она показывает несостоятельность начатого в религиозно-церковной сфере процесса отчуждения от человека, его духовного мира и отдаление его исключительно в мир трансцендентный, – процесса, завершившегося агностицизмом и материализмом. Достоевский же, раскрыв метафизику человека, показал возможность для него «поворотного пути»: через замкнутую «материалистическую» и «психологическую действительность прорыв к глубинам собственного духовного опыта»⁵.

Согласно трактовке Бердяева, в мировоззренческой позиции Достоевского кроется причина необычайной популярности писателя в философской мысли рубежного, а затем пореволюционного времени. К его творчеству обращались все, кто хотел понять своеобразие исторического пути России, завершившегося трагедией 1917 года. Объяснить, почему народ, исповедуя православие, охотно громил при случае не только помещичьи усадьбы – центры российской культуры, но и церкви, где, прося у Бога милости, соборно славил Христа.

¹ Розанов В.В. Pro et contra: Антология. СПб., 1995. Кн. 1. С. 273.

² Говоруха-Отрок Ю.И. Во что веровал Достоевский // Розанов В.В. Pro et contra. СПб., 1995. Кн. 1. С. 275–279.

³ Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001. С. 15–17.

⁴ Там же. С. 157–158.

⁵ Там же. С. 24–25.

И все же отношение Достоевского к христианству, привлечение внимания философской мысли России, остается проблемой, таившей в себе много загадок. Вероятно, достаточная часть их была бы снята, если бы писателю достало времени воплотить в реальность свой грандиозный замысел – написать в пяти частях роман «Житие великого грешника». Герой романа, по признанию самого писателя, должен был пережить длительную и сложную эволюцию: от атеизма прийти к славянофильству, западничеству, затем к католицизму и, наконец, православию, обретя «русского Христа» и «русского Бога»¹. По мнению известного американского русиста Джеймса Биллингтона, в «Братьях Карамазовых» Достоевский ближе, чем в других своих произведениях, подошел к обоснованию мысли о том, что атеизм неизбежно приводит человека к вере².

Едва ли можно сомневаться, что это был путь идейных поисков самого писателя, путь тяжелый и мучительный. Об этом убедительно свидетельствует, в частности, его письмо к жене декабриста, Н. Фонвизиной, датированное февралем 1854 года. «Я дитя века, – пишет он, – дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая теперь тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных»³.

Комментируя это письмо, наш современник Г. Померанц замечает, что писатель описывает здесь по сути те же чувства, какие испытал в свое время известный немецкий философ прошлого века М. Бубер, который писал: «Я не уверен в Боге; скорее человек, чувствующий себя в опасности перед Богом, человек вновь и вновь борющийся за Божий свет; вновь и вновь проваливающийся в Божьи бездны»⁴. Приведенные слова дали Померанцу основание утверждать, что испытываемая Достоевским «жажда верить» проявлялась в желании верить в Христа, но не устраняла сомнений в Боге. В подтверждение своего вывода Померанц ссылается на еще одно высказывание Бубера, уже непосредственно относящееся к Достоевскому и заключающееся в том, что философ видел «основное расположение духа» Ивана Карамазова – «припасть к сыну, отвернувшись от отца». Бубер обращает внимание на сцену в романе «Бесы», где один из героев «смущенно лепечет», что хотя он и «верует во Христа, но в Бога только еще будет веровать»⁵. Наконец, в уже процитированном письме Достоевского к Н. Фонвизиной содержится такое признание: «Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной»⁶. Именно эта мысль отчетливо явлена, как представляется, в поэме об инквизиторе. Может быть, для Достоевского истина кроется в словах инквизитора и вовсе не со Христом, но Христос оставляет выбор за самим человеком. Идея свободы была той соблазнительной мечтой, которая особенно привлекала пережившего каторгу писателя. Лучше, чем многие другие, он понимал, что только в условиях свободы могут раскрыться позитивные свойства человеческой природы. Он мог бы повторить слова известного поэта:

Свобода, пусть в тебе отчаются иные,
Я никогда в тебе не усомнюсь.

Как и Ивану Карамазову, ему самому, говоря словами Алеши, «не миллион надобен, а надобно мысль разрешить». Эта задача действительно диктовалась трудным и сложным временем. Писатель хорошо знает, что человек обладает самостоятель-

¹ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 30 т. 1872–1888. Т. 29, кн. 1. С. 185.

² Billington J.H. The Icon and the Axe. N.Y., 1966. P. 418.

³ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 30 т. 1872–1888. Т. 29, кн. 1. С. 176.

⁴ Померанц Г. Встречи с Бубером // Бубер М. Два образа веры. М., 1999. С. 12.

⁵ Бубер М. Два образа веры. М., 1999. С. 406.

⁶ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 30 т. 1872–1888. Т. 29, кн. 1. С. 176.

ной, независимой самостью, характеризуемой безграничным эгоизмом, тщеславием и властолюбием, погруженностью в самого себя. Все эти свойства человеческой природы, сохраняющиеся при любом общественном устройстве, исключают братское отношение друг к другу, могут привести человека, и приводят, к преступным действиям. Нейтрализовать их проявление, считает писатель, способно лишь нравственное воздействие христианства. Однако оно возможно только при наличии свободной воли, отрицание же ее делает ненужным и невозможным нравственное совершенствование человека, сохраняя в его душе внутренний хаос, вражду и бессилие.

Все эти мысли Достоевского содержатся уже в рассуждениях «подпольного человека» и объясняют настойчивое обличение писателем социалистической идеи, основанной на предпосылке возможного пересоздания человеческой природы.

Существовала и другая, внешняя причина его устремленности к христианству, а именно: переживаемый буржуазной Европой кризис веры, все сильнее дававший себя знать в проявлении позитивизма, неопределенности, других философских течений. Отвергая Христа, западная цивилизация, по мнению писателя, обнажала и усиливала хаос, тащившийся в природе человека, оставляя его один на один со ставшей в этом случае бессильной и бесплодной свободой. Достоевский по сути предсказал ситуацию, которую позже Ницше охарактеризовал лаконичной фразой – «Бог умер». Как и Достоевский, он был озабочен поисками создания новой культуры, способной облагородить внутренний мир человека, чтобы предотвратить социальный взрыв, все настойчивее угрожавший миру¹.

По Достоевскому, причина страшного катаклизма двуклика – социализм и католичество. Они стремятся создать новый мир, мир вне Христа, угрожая самому существованию человечества. Только православная Россия может служить и служит Христу, живя согласно провозглашенным им законам, а значит, именно она должна озарить своим светом заблудшую и грешную часть человечества.

Этот тезис был изложен писателем в его знаменитой Пушкинской речи, прочитанной 8 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности по случаю открытия памятника поэту. Поэзия Пушкина прозвучала здесь как убедительное доказательство духовной мощи русского человека, его всемирной отзывчивости, трактуемых Достоевским как пророческое явление.

Патриотическая речь писателя была восторженно встречена обществом. На мгновение показалось, что вчерашние враги, западники и славянофилы, примирились. Однако это ощущение скоро прошло, и снова началась «злая критика, возобновились партийные распри и журнальная перепалка»². Россия оказалась не готовой к всечеловеческому братству.

Для самого писателя речь явилась заключительным аккордом долгих и напряженных раздумий о почвенничестве как основе не только социального порядка в России, но и ее мессианского предназначения. В качестве определяющей «формулы» они отражены в записной книжке писателя как подготовительные тезисы к Пушкинской речи и наброски ответов на развернувшуюся в печати ее критику. «Русский народ, – читаем мы здесь, – весь в православии. Более в нем и у него ничего нет». Далее, по логике писателя, следует, что в православной стране не нужно одностороннее развитие личностного начала. Все социальные противоречия будут разрешены здесь не насильственным навязыванием социализма, а путем согласия с монархической властью и соборного примирения в церкви. Заметим, в церкви, которую он считал «лежащей в параличе» со времен Петра I»³.

¹ Мысль о том, что Достоевский и Ницше стремились каждый по-своему решить эту трагическую задачу, убедительно обоснована В.В. Канторов (см.: *Кантор В.В.* Достоевский, Ницше и кризис христианства в Европе конца XIX – начала XX века // *Вопросы философии.* 2002. № 9. С. 54–67).

² *Мочульский К.В.* Гоголь, Соловьев, Достоевский. М., 1995. С. 544.

³ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. I. С. 360.

Вывод о духовном превосходстве русского народа неожиданным и странным образом сочетается с признанием у народа таких качеств, как цинизм, пьянство, отчаяние и полное отсутствие правды. Не случайно Митя Карамазов говорит: «Широк русский человек, слишком широк, надо бы сузить». А наша интеллигенция, вышедшая «из чухонских болот», сетует писатель, не знает народа. Помещики, к примеру, потому не могут «сойтись с народом», что они «не русские, а оторванные от почвы европейцы». И они-то надеются научить народ правам и обязанностям. «Да он бы удавился!» – патетически завершает писатель свои рассуждения о православном народе¹.

Оказывается, таким образом, что народ России вовсе еще не просветился христианством. Это лишь предстоит ему, и, возможно, только в отдаленном будущем. Пока же следует постепенно приготовить для этого почву, ибо «не сошел Господь со креста, чтобы насильно уверить внешним чудом, а хотел именно свободы совести»².

Эти оговорки не помешали, однако, Достоевскому прийти к заключительному выводу в своей ставшей знаменитой речи о том, что стать настоящим русским и будет значить внести примирение в европейские противоречия и окончательно указать исход «европейской тоске».

А.Л. Янов оценивает этот, казалось бы, неожиданный для самого писателя вывод о духовной мощи и превосходстве русского характера проявлением затянувшегося славянофильского обмана, ставшего одним из эпизодов «исторической драмы» русского национал-патриотизма³. Это понимали многие современники писателя. Так, профессор А.Д. Градовский, полемизируя с Достоевским, писал, что в русском народе еще слишком много неправды и проявлений крепостной несвободы, чтобы рассчитывать на признание Европы и, тем более, претендовать на обращение ее к истинному пути⁴.

К.Д. Кавелин, разделявший взгляды Градовского, писал Достоевскому, что не нашел в его и речи и намека на новое слово: «Все та же старая аргументация славянофилов, которая едва ли кого удовлетворит теперь. Взгляд же на «наш простой народ – как хранителя христианской правды ... есть не более, чем поэтически выраженный парадокс»⁵.

Была и другого рода критика – справа, содержащаяся в работах К.Н. Леонтьева. Признавая заслугу писателя в том, что он не утратил веры в возможность духовного совершенствования человека в ситуации общего разочарования в пользу христианства и воспитующей роли церкви, Леонтьев считает, однако, что Достоевский в излишне «розовом» свете представляет роль христианства, необоснованно поверив в мессианское предназначение православной России. В такого рода позиции, полагает он, нет ничего нового в сравнении с европейскими гуманистическими теориями XVIII–XIX вв. К тому же, добавляет он, «церковь этого мира вовсе не обещает».

Философ решительно отвергает явную и совершенно неоправданную идеализацию не только Запада, но, прежде всего, России, лишенной, по его убеждению, каких-либо оснований для мессианского предназначения. «Возможно ли, – пишет он, – сводить целое культурное историческое призвание великого народа на одно доброе чувство к людям без особых определенных ... вещественных и мистических, так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих»⁶. По его мнению, задача церкви состоит вовсе не в установлении все-

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. I. С. 360–363.

² Там же. С. 361–364.

³ Янов А.Л. Россия против России. Новосибирск, 1999. С. 269.

⁴ Кавелин К.Д. Наш умственный строй. М., 1989. С. 633.

⁵ Там же. С. 458–474.

⁶ Леонтьев К.Н. О всемирной любви. (Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике) // Ф.М. Достоевский и православие. М., 1997. С. 282–283.

общей гармонии, а в том, чтобы внушить страх и смирение «беспредельно ошибающимся человеческим умам».

Основа критики Леонтьева заключалась в боязни все возрастающего влияния буржуазной Европы и опасении того, что развивающиеся капиталистические отношения неотвратно приведут к социализму, который в реальности окажется невиданным ранее закрепощением личности. Препятствие этому эвдемоническому прогрессу он видел в сохранении сословного строя, опирающегося на сильную монархическую государственность и строгую церковь. Поэтому Леонтьев решительно отвергает идею сближения России с Европой, считая речь Достоевского «просто ошибкой, необдуманностью, промахом какой-то нервной торопливости»¹. Его пугает, что надежда писателя на всемирное единение может увлечь многие незрелые умы и будет способствовать тому, что мы, русские, бесследно растворимся «в безличном океане космополитизма». Он призывает Достоевского отказаться от полуберлиберального «национального самодовольства»². Следует признать, однако, что, несмотря на строгую критику Леонтьева, воззрения самого его отличались от взглядов Достоевского лишь более радикальным консерватизмом. По сути, оба оказались пленниками славянофильского соблазна, новая и более мощная волна которого охватила Россию в 1860–1880 годы.

Тяжелое и позорное поражение России в Крымской войне, освободительное движение 1863–1864 годов в Польше, Берлинский конгресс 1878 года, лишивший Россию плодов победы в войне с Турцией и усилившаяся ориентация Балканских стран на Европу – все это создавало ситуацию, которую можно было охарактеризовать лаконичной фразой В. Эрнэ «время славянофильствовало». Европа пугала все ускоряющимися темпами экономического роста, обострением социальных противоречий, быстрым развитием науки, права, государственных учреждений, между которыми, казалось, терялся общий объединяющий смысл. Это рождало стремление отгородиться от Европы (К.Н. Леонтьев), искать пути приобщения к ее успехам (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский) или, выжидая, растерянно наблюдать происходящее. Так, Г. Флоровский писал о Пушкинской речи Достоевского как о «роковом и двусмысленном даре», поскольку она «затрудняла творческое собирание русской души»³.

Критика Пушкинской речи Достоевского, однако, вовсе не означала переоценку его творчества в целом. В нем ценили независимого мыслителя, обращавшегося к индивидуальному миру человека, к его личной ответственности; и считавшего себя ответственным прежде всего за то, чтобы говорить правду.

Вопреки уж давно ставшему в православной литературе расхожим мнению, он отнюдь не был православным мыслителем в догматическом смысле. Все его творчество доказывало, что, признавая значение христианства в истории европейской культуры, он, как и Ницше, решительно отвергал христианские традиции и догмы, пришедшие в противоречие с требованиями динамично меняющегося времени⁴.

Именно это, как представляется, придало его творчеству смысл и значение «духовного переворота» (Н. Бердяев) в истории России XIX века. Оно предвосхищало появление катастрофического мироощущения в обществе, обусловив тем самым начавшиеся на рубеже веков активные поиски русской общественной мыслью «нового христианского сознания».

¹ Леонтьев К.Н. О всемирной любви. (Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике) // Ф.М. Достоевский и православие. М., 1997. С. 295.

² Там же. С. 282.

³ Флоровский Г.В. Пути русского богословия // Русская идея в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. М., 1994. Т. 2. С. 159.

⁴ См.: Селиванов И.И. Достоевский и Ницше: на пути к новой метафизике человека // Вопросы философии. 2002. №2.

Спустя двадцать лет после кончины великого художника В. Розанов писал: «В исторический великий час, когда идеи его станут окончательно ясными и даже только общеизвестными ... начнется идейная революция в Европе. Самые столбы ее, подпочвенные сваи, на которых зиждутся ее великолепные надпочвенные постройки, окажутся ... косо положенными, часто совсем неверными»¹.

К этому можно добавить: мы все еще пытаемся постичь Достоевского, постоянно путаемся и часто заблуждаемся в глубине мыслей, высказанных нашим великим соотечественником, – мыслей в подлинном и высшем понимании этого слова философских и имеющих вселенский масштаб.

¹ Розанов В.В. Около церковных стен. М., 1995. С. 131.

ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В АМЕРИКАНСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ*

ВВЕДЕНИЕ

В условиях идеологической борьбы все большее значение приобретает научная критика современной буржуазной историографии. Эта задача всегда оставалась актуальной вследствие нерасторжимой взаимообуславливающей связи между исторической наукой и идеологией¹. В настоящее время она обретает особую остроту и злободневность. Буржуазные идеологи, утрачивая почву для откровенной апологии капитализма, по мере углубления его кризиса вынуждены камуфлировать свои истинные цели, прибегая к более тонкой фальсификации прошлого.

Следует учитывать при этом, что буржуазная историография никогда не была пассивной, но всегда имела наступательный характер, пытаясь дискредитировать социализм и таким путем укрепить свои собственные идеологические позиции. Антисоветизм, как главное стратегическое направление антикоммунизма, становится сейчас особенно многоликим и изощренным, проникая во все сферы идеологии и политики буржуазии. Это обстоятельство оказывает непосредственное воздействие на историческую науку, социальная роль которой, по признанию самих западных идеологов, заключается в том, чтобы выработать «руководящие начала» политики².

Со времени Великой Октябрьской социалистической революции внимание буржуазных историков оказывается прикованным к истории России, ставшей первым в мире социалистическим государством. При этом с самого начала стремление очернить ее прошлое, чтобы скомпрометировать настоящее, остается одной из важнейших задач буржуазной историографии. Естественно, было бы упрощением объяснять внимание западных историков и политиков к истории нашей страны только этими целями. История России вызывает интерес также и как история страны, впервые воплотившей в практику марксистскую теорию и явившую собой, по их словам, «социальную модель» решения «ключевых дилемм» современного мира³. Как появилась эта «модель», в чем заключались ее идейно-теоретические основы и социальные силы, ее создавшие, наконец, главное, каковы реальные перспективы ее дальнейшего развития – вопросы, которые не утрачивают, но, напротив, обретают все большую остроту звучания для идеологов совращенного капитализма. Данное обстоятельство и определяет в настоящее время активные историогра-

* Ранее опубликовано как часть монографии: *Сухотина Л.Г.* Проблемы русской революционной демократии в современной английской и американской буржуазной историографии. Томск, 1983.

¹ Данная связь обусловлена самой природой исторической науки, призванной формировать историческое сознание общества. «Освободить» историю от идеологии, – пишет Б.Г. Могильницкий, – значит «освободить» ее от самой себя, «лишить ее самого смысла существования как науки, отвечающей определенным запросам общества» (см.: *Могильницкий Б.Г.* О природе исторического познания. Томск, 1978. С. 135).

² *Brzezinski Z.* Between two Ages. Americas Role in the technotronic Era. N.Y., 1970. P. XIV–XV.

³ *Ibid.* P. 123.

фические поиски буржуазных ученых с целью выработать реалистические начала политики в отношении нашей страны на основе более приближенного к действительности освещения ее прошлого. При этом интерес к истории России активизируется по мере развития мирового революционного процесса и роста достижений реального социализма, в котором идеологи буржуазии усматривают главную внешнюю угрозу «жизненным интересам» своих стран.

В кругу проблем современной буржуазной русистики особенно устойчивое внимание исследователей привлекают русская революционно-демократическая мысль и интеллигенция. В их истории западные авторы пытаются отыскать традиции революционной борьбы, приведшие к победе Октября и в конечном счете обусловившие, по их мнению, «появление современной России»¹. Как утверждает, в частности, влиятельный американский историк Роберт Дэниельс², «Россия и сегодня не может быть понята без выяснения тех сил, которые совершили революцию»³. В истоках, природе, национальном своеобразии передовой общественной мысли и радикальной интеллигенции России западные исследователи усматривают причины Октябрьской революции, интерес к которой не ослабевает, но, напротив, усиливается по мере того, как революционные изменения все настойчивее вторгаются во все сферы жизни современного общества, принося тем самым неопровержимые доказательства исторического значения Октября и непреходящего характера его влияния на судьбы всего мира. Это безоговорочно признают теперь и сами буржуазные авторы. Американский ученый Р. Уорт утверждает, например, что влияние Октября на XX век значительно более глубоко, чем влияние Великой французской революции на век XIX⁴. По мнению другого американского исследователя, П. Дьюкса, в настоящее время «в мире нет населенного региона, который не оказался бы под влиянием Октябрьской революции»⁵.

Теперь, когда история столь решительно опровергла старый тезис буржуазных обществоведов об исключительно национальном характере Октябрьской революции, усилия буржуазных ученых, как это хорошо показано советскими исследователями, сфокусированы на том, чтобы изыскать новые пути и средства дискредитации революции в качестве метода решения социальных проблем⁶. Стремление осветить революцию соответственно своим классовым позициям по-прежнему остается одной из первостепенных задач современной буржуазной историографии и обуславливает ее интерес к духовной истории нашей страны.

В пестром многообразии имеющихся в западной историографии теорий, гипотез и концепций относительно природы Октябрьской революции, среди которых

¹ Так назвал свое исследование, посвященное истории передовой русской общественной мысли XIX в., американский историк С. Пушкарев (см.: *Puskarev S. The Emergence of Modern Russia. 1801–1917*. N. Y.; Chicago; San Francisco; Toronto; London, 1963).

² Профессор Вермонтского университета, один из столпов современного антикоммунизма, автор целого ряда работ, посвященных Октябрьской революции и истории России в целом.

³ *Daniels R. Russia*. Englewood Cliffs. New Jersey, 1964. P. 60; *Wart R. On the Historiography of the Russian Revolution* // *Slavic Review*, 1967. Vol. XXVI. № 2. P. 247.

⁴ *Daniels R. Russia*. Englewood Cliffs. New Jersey, 1964. P. 60.

⁵ *Dukes P.L. October and the World. Perspectives on the Russian Revolution*. London and Basingstoke, 1979. P. 133.

⁶ В ряду недавно опубликованных прежде всего заслуживают быть отмеченными работы: *Игрицкий Ю.И.* Буржуазная советология в современной борьбе идей // *Вопросы истории*. 1979. № 11. С. 71–89; *Красин Ю.А.* Революцией устрешенные. М., 1975; *Марушкин Б.И., Иоффе Г.З., Романовский Н.В.* Три революции в России и буржуазная историография. М.? 1977; *Романовский Н.В.* Современная буржуазная историография Великой Октябрьской социалистической революции // *Вопросы истории*. 1977. № 10. С. 123–142; *Соболев Г.Л.* Октябрьская революция в американской историографии. 1917–1970-е годы. Л., 1979; *Критика основных концепций современной буржуазной историографии трех российских революций*. М., 1983.

бытуют крайне реакционные оценки, хотя и существенно модифицированные¹, в последние полтора-два десятилетия все более набирает силу направление, суть которого сводится к тому, чтобы изобразить всякую революцию вообще лишь одним из возможных этапов процесса «модернизации», независимо от уровня развития данной страны. При таком упрощенном подходе революции утрачивают свою качественную определенность и предстают лишь как насильственный метод решения тех проблем, которые могут быть с меньшими потерями решены в ходе постепенных реформ. С таких позиций оценивает Октябрьскую революцию, в частности, П. Дьюкс. По его мнению, между всеми революциями, включая и Октябрьскую, существует самое «тесное сходство», поскольку, считает он, «отсутствие насилия даже в условиях мирной модернизации всегда было лишь весьма относительным»².

Являясь существенно новыми в сравнении с прежними примитивными «лобовыми атаками» на историю русской революции, эти трактовки, однако, также не выходят за традиционные рамки буржуазного исторического мышления и идеологии. Они полностью согласуются с присущей буржуазной историографии интерпретацией исторического процесса в духе плоского эволюционизма и призваны, с одной стороны, на свой манер «объяснить» успехи социалистического строительства в нашей стране, а с другой – умалить историческое значение Октябрьской революции, представив ее неэффективным и дорогостоящим социальным «экспериментом». Эта вторая задача, как и прежде, преследует четко выраженную идеологическую цель: предостеречь политических деятелей от возможных последствий «революционной драмы». «Русский трагический эксперимент, – пишет американский исследователь А. Адамс, – свидетельствует, как важно, чтобы мудрость и государственный подход возобладали над насилием в сложном и деликатном процессе модернизации»³.

При всех попытках модифицировать свои концепции в духе времени буржуазные ученые не могут радикально пересмотреть собственные трактовки Октябрьской революции, поскольку в этом случае им пришлось бы признать, что она положила начало принципиально новой эпохе общественного развития, создав государство, в основе которого лежат в корне отличные от капиталистических отношения собственности. Очевидно, в этой своеобразной ситуации, ситуации замкнутого круга, в которой оказалась сейчас буржуазная историография Октября, заключаются причины острой неудовлетворенности ее состоянием, испытываемой некоторыми более вдумчивыми исследователями. В частности, в статье, посвященной анализу современной буржуазной историографии русской революции и опубликованной с весьма любопытным подзаголовком «Старое вино в новых бутылках», тот же А. Адамс уныло констатирует, что ни одна из рассмотренных им работ «не создает достаточно широкой основы для выводов, которые бы выходили за рамки небольшого участка сложной мозаики русской революции»⁴.

В поисках аргументов для доказательства тезиса о том, что Октябрьская революция была лишь малоэффективным экспериментом в процессе модернизации страны, буржуазные авторы обращаются, естественно, не к исследованию конкретных экономических процессов в России с точки зрения их действительного социального смысла и не к обусловленным ими классовым противоречиям и конфлик-

¹ Сошлемся на слова американского историка Э. Глисона, утверждающего, что с каждым годом «все труднее» оценивать последствия Октября даже в качестве «относительно прогрессивных» (*Gleason A. Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860-s. N. Y., 1980. P. XIII*).

² *Dukes P.* Op. cit. P. 50, 75.

³ *Adams A.* Introduction to: *Imperial Russia after 1861. Problems in European Civilization.* Boston, 1965. P. XIV.

⁴ *Adams A.* New Books on the Revolution. Old Wine in new Bottles // *Russian Review.* 1967. Vol. 26, № 4. P. 398.

там. Они пытаются отыскать «корни революции»¹ в своеобразии передовой русской общественно-политической мысли, утверждая, что путь к революции был вымощен в России «брожением интеллигенции». Поэтому, чтобы понять русскую революцию, считают они, надо изучить предшествовавший ей этап революционного движения: идеи, вдохновлявшие ее, и интеллигенцию, осуществившую-де саму революцию. Известный английский историк Э. Карр, например, полагает, что «основы» Октябрьской революции были созданы в передовой социально-политической мысли России XIX в.² По мнению другого английского ученого, не менее известного специалиста в области истории русского общественного движения XIX в., а также влиятельного методолога И. Берлина, именно представители «ранней левой» заложили «нравственный фон» для слов и действий, которые господствовали в общественном движении России не только в XIX, но и в начале XX в. вплоть до окончательного финала в 1917 г.³

Обращение историков Запада к исследованию «интеллектуальной почвы» периода, предшествовавшего Октябрьской революции, представляется вполне закономерным, так как во всех существующих трактовках исторического смысла революции она неизменно изображается в качестве примера недемократического, осуществленного лишь силами интеллигенции политического переворота. Этот вывод неизбежно приводит буржуазных исследователей к поискам «генетических корней» революции в идеологии русской революционной интеллигенции, ее мировоззрении, социально-политических взглядах и действиях.

В последнее время интерес к русской революционной демократической мысли и интеллигенции обретает ряд новых стимулов. Их история привлекает внимание буржуазных ученых и политиков в качестве «раннего примера» процессов и событий, происходящих сейчас в развивающихся странах⁴. Как отмечает английский исследователь Г. Сетон-Уотсон, Россия была в числе первых стран, поставивших одну из острейших в наше время проблем «неразвитых обществ» – проблему революционной интеллигенции⁵.

Столь же, если не более важным стимулом, возбуждающим острый интерес современных буржуазных ученых к истории русской передовой общественной мысли и ее носителям – деятелям революционно-демократического движения, является рост оппозиции прогрессивной интеллигенции к своим правительствам в странах развитого капитализма. Исследователи находят «поразительное сходство» между студенческими волнениями в США и борьбой «радикальных групп в России столет тому назад»⁶.

Политическая деятельность передовой интеллигенции в странах Запада в условиях научно-технической революции все настоятельнее ставит перед буржуазными идеологами вопрос о путях и средствах ее интеграции в господствующую социально-политическую структуру. Суть этих проблем лаконично, но достаточно емко выразил американский исследователь М. Малиа: «Современное общество не в состоянии обойтись без интеллигенции, но может ли оно жить вместе с нею?»⁷

В данной ситуации исследование передовой мысли России и деятельности революционной интеллигенции обретает особо важное значение. В их истории буржуазные авторы надеются получить ответ на острые вопросы сегодняшнего дня и

¹ Под таким заглавием была переиздана на английский язык работа итальянского историка Ф. Вентури «Русское народничество» (см.: *Venturi F. Roots of Revolution. A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth-century Russia.* N. Y., 1960).

² *Carr E. Studies in Revolution.* N. Y., 1964. P. 89.

³ *Berlin I. Russian Thinkers.* London, 1978. P. 115.

⁴ *Utechin S. Russian Political Thought. A concise History.* N. Y.; London, 1964. P. VII, XIV, 147.

⁵ *Seton-Watson H. The Russian Empire. 1807–1917.* Oxford, 1967. P. 9.

⁶ *Brower D. Training the Nihilists. Education and Radicalism in Tsarist Russia.* London; N. Y., 1975. P. 36.

⁷ *Malia M. The Intellectuals: Adversary or Clerisy? // Daedalus, 1972. Vol. 101, № 2. P. 204.*

прежде всего на вопрос о том, каким образом можно было бы «уменьшить или ограничить» рост численности и влияния «критически настроенной интеллигенции»¹.

Ярким доказательством выраженной политизации оценки передовой русской интеллигенции в буржуазной историографии является начатое в 1975 г. Институтом исследования международных изменений (Research Institute on International Change) при Колумбийском университете издание трехтомного сериала «Радикализм в современную эпоху».

Придя к выводу, что наблюдаемый сейчас в США и других странах «развитой промышленной демократии» «феномен интеллигенции» очень «напоминает» интеллигенцию России XIX – начала XX в.², и ставя своей целью создание новых «концептуальных схем» для объяснения современного радикализма (важность этой задачи особо подчеркивается во введении, написанном тогдашним директором института З. Бжезинским)³, авторы исследования обращаются к истории русского революционного демократизма в плане сравнительно-исторического анализа. Как считает руководитель программы и один из авторов исследования известный на Западе «эксперт» по коммунистическому и революционному движению профессор Колумбийского университета С. Байлер, для того чтобы сформулировать «всеобъемлющее рабочее определение» радикализма, «важно установить то общее, что имеется во всех движениях, которые могут быть названы радикальными»⁴. При этом в оценке русской революционной интеллигенции следует, по мнению Байлера, учитывать один «простой факт», а именно, что ее участие в политической жизни страны и существование как особой социальной группы было возможно лишь через ее радикализацию, ибо принятие ею существовавшей в России социально-политической структуры могло для нее означать лишь «принятие собственного бессилия и мертвяще удушающих ограничений на свободу самовыражения» и, следовательно, было равносильно самоуничтожению⁵.

Этот вывод обретает в настоящее время особую значимость в буржуазной историографии, что обусловлено двумя чрезвычайно важными обстоятельствами. Во-первых, он дает возможность признать историческую закономерность и даже неизбежность появления революционной интеллигенции в России и тем самым приблизиться к более объективному отражению ее истории. Во-вторых, дает надежду, хотя и весьма призрачную, на обоснование чрезвычайно важного для идеологов современной буржуазии политического вывода о возможности при определенных условиях интегрировать радикальную интеллигенцию в социально-политическую систему капиталистических стран, как якобы в корне отличную от существовавшей в России.

В результате тезис о том, что революционность русской интеллигенции была специфической формой ее социальной деятельности, обусловленной национальным своеобразием условий страны, формой, имеющей историческое оправдание только в России, получает сейчас методологическое значение. В его ракурсе освещается в последнее время вся история русской революционной интеллигенции: причины формирования, основные характеристики и своеобразие ее социально-политической мысли.

Этот подход представляет собой, безусловно, существенный шаг вперед в сравнении с прежними установками, особенно характерными для буржуазной историографии периода «холодной войны», когда все усилия авторов сводились к тому, чтобы доказать случайность, беспочвенность революционного движения в

¹ *Malia M. The Intellectuals: Adversary or Clerisy?* // *Daedalus*, 1972. Vol. 101, № 2. P. 206.

² *Radicalism in the Contemporary Age* / Ed. by S. Bialer and S.V.I. Slusar. Boulder, 1977. P. 23.

³ *Ibid.* P. XI.

⁴ *Ibid.* Introductory remarks by Bialer S. P. 12.

⁵ *Ibid.* P. 25.

России. Он позволяет признать универсальность феномена революционной интеллигенции вообще и закономерность появления ее в России в частности и в то же время дает возможность отстаивать тезис о национальном своеобразии русской интеллигенции, выразившемся в экстремизме ее политической мысли и борьбы.

Вывод о формировании революционной интеллигенции как закономерной универсальной категории поступательного развития мировой истории самым непосредственным образом связан с другим важнейшим для идеологов современной буржуазии фактором, значительно стимулирующим их интерес к интеллектуальной истории нашей страны. Это – стремление доказать возможность создания в противовес марксизму некоей генерализирующей теории социального развития в качестве идейно-теоретической предпосылки (и в то же время с целью «научного» обоснования), якобы предстоящей конвергенции двух социальных систем¹. В соответствующим образом интерпретированной истории русской революционной мысли они пытаются отыскать аргументы в пользу создания такой теории.

Отмеченные традиционные черты и новые тенденции, характеризующие общее состояние современной буржуазной русистики, в наиболее рельефной форме прослеживаются в историографии США и Англии, во многом определяющих сейчас развитие исторической науки на Западе. Общность языка, традиционные тесные и многообразные научные связи между этими странами способствуют взаимостимулирующему влиянию их историографии. При этом в силу ряда причин (отметим в качестве основных определяющее влияние политической стратегии США и возрастающую сциентизацию американской исторической науки) ведущая роль в современной историографии Запада принадлежит историкам США. Именно от них, как отмечает, в частности, ученый из ГДР Р. Эспенхайн, «исходят решающие идеологические и методологические импульсы»².

Наиболее выраженной тенденцией, определяющей современное состояние английской и американской буржуазной русистики, является усиление ее политической ориентированности и идеологизация, свойственная всей буржуазной историографии. В связи с этим для нее характерны особая противоречивость и непоследовательность, проявляющиеся в том, что откровенно политически нацеленные исследования сосуществуют в ней, иногда тесно переплетаясь, с попытками объективного анализа, дающими известные позитивные результаты в освещении отдельных частных вопросов исследуемых проблем. Что же касается русского революционного движения, то эта проблема, благодаря ее острой актуальности, привлекает внимание как действительно серьезных исследователей, стремящихся разобраться в сути исторических процессов и событий, так и авторов, откровенно преследующих цель дискредитировать советскую государственную систему путем обращения к фальсифицированному прошлому нашей страны. Это обстоятельство значительно осложняет анализ буржуазных исследований, посвященных истории революционно-демократического движения.

Отечественные историки выделяют в современной буржуазной историографии русского революционного движения три основных направления: реакционно-консервативное, либерально-консервативное и либерально-объективистское³. Однако такое деление не представляется достаточно обоснованным. Главные компоненты положенного в его основу критерия – «политические убеждения», «понимание сущности общественного процесса» и «профессиональный уровень» исследо-

¹ Подробнее см.: Баграмов Э. Социология и пути общественного развития // Коммунист. 1979. № 2. С. 110.

² Espenhayn R. Sozialismuskritik in der Defensive // Kritik der burgerlichen Ideologie und des Revisionismus. Berlin, 1978. S. 35.

³ См. напр.: Карпачев М.Д. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. М., 1979. С. 43–47. В.Г. Джангирян, также выделяющий три основных направления, квалифицирует их как антикоммунистическое, консервативное и умеренно-объективистское (см.: Джангирян В.Г. Критика англоамериканской буржуазной историографии М.А. Бакунина и бакунизма. М., 1978. С. 154).

вателя¹ — не однозначны. Они являются следствием смешения профессиональных качеств, политических и методологических позиций ученого. К тому же они отнюдь не всегда воплощаются в творчестве исследователя в раз и навсегда определенном соотношении. Конкретная историографическая практика сложна и противоречива. Достаточно высокий авторский профессионализм нередко сочетается в ней с откровенно реакционной политической нацеленностью, значительно снижающей научную ценность исследований. Убедительным примером тому могут служить, в частности, работы И. Берлина, а также ряда других авторов: Э. Актона, Н. Рязановского, А. Вусинича, Р. Мак-Нэлли. Не случайно статьи И. Берлина, написанные еще в 40–50-е гг., недавно переизданы². Причем эта книга оценивается западными авторами как «дуновение свежего ветра» в «удушающей атмосфере» современных буржуазных исследований³.

Следует принять во внимание к тому же, что такой признак, как «объективизм», не может быть положен в основу при выявлении различных течений внутри немарксистской историографии. Представляя собой чуждый научному классовому подходу метод исторического анализа, он в определенной степени свойствен также некоторым исследователям, относящимся ко всем течениям (согласно предложенной советскими авторами классификации) внутри буржуазной историографии.

Вследствие этого предпринятые в нашей исследовательской литературе попытки выявить конкретные различия между течениями в историографической практике западных ученых, на наш взгляд, не убедительны. Они не подтверждают правомерность предложенного трехчленного деления. И отнюдь не случайным оказывается, когда в одной и той же работе мы встречаем различное деление современной американской буржуазной историографии по направлениям. Автор одного из разделов посвященной Н.Г. Чернышевскому коллективной монографии, И.И. Черкасов, следует выделению трех направлений («реакционного», «буржуазно-либерального» и «дающего адекватную интерпретацию»⁴. Автор же следующего раздела работы, У.Д. Розенфельд, выделяет лишь два направления: «традиционное», характеризующееся «воинствующим антикоммунизмом», и другое, которое он определяет как «либерально-прогрессивную тенденцию», отличающуюся «сравнительно объективным, основанным на фактах» освещением русской истории⁵.

В данном случае имеет место не только различная классификация буржуазной историографии, но и явное смешение двух отнюдь не адекватных понятий «направление» и «течение», различающихся между собой степенью выраженности идейно-политических и методологических позиций. Это убедительно свидетельствует о необходимости разработки действительно обоснованной классификации современной немарксистской историографии⁶.

Наблюдаемые в последние годы активные поиски буржуазными учеными новых, более гибких и наукообразных концептуальных схем (нередко с учетом выводов и наблюдений советских исследователей) обуславливают появление в современной западной историографии большого многообразия идей и теорий при сохранении в неизменном виде ее общей мировоззренческой основы⁷. Поэтому вовсе не легко классифицировать современную буржуазную историографию

¹ См.: Карпачев М.Д. Указ. соч. С. 43.

² Berlin I. Russian Thinkers. London, 1978.

³ The Russian Review. 1979. Vol. 38, № 3. P. 365.

⁴ Н.Г. Чернышевский в общественной мысли народов зарубежных стран. М., 1981. С. 235–236.

⁵ Н.Г. Чернышевский в общественной мысли... С. 237.

⁶ Научную и политическую значимость такой классификации особо подчеркнул И.Д. Ковальченко (см.: Критика буржуазной историографии по проблемам исторического процесса: Реф. сб. М., 1981. С. 10).

⁷ На наш взгляд, именно в сохранении главных мировоззренческих и методологических позиций, а отнюдь не в «монотонности» и «одноцветности», как считает М.А. Маслин, проявляется «консерватизм» буржуазных ученых в исследовании русской передовой общественной мысли (см.: Маслин М.А. Просчеты и предубеждения американского чернышевсковедения // Философия Н.Г. Чернышевского и современность: К 150-летию со дня рождения. М., 1978. С. 168).

легко классифицировать современную буржуазную историографию русского революционного движения, как не просто, да и не всегда возможно выявить принадлежность конкретного исследователя к какому-либо из выделенных течений. Слишком уж тесно буржуазные исследователи соприкасаются в этой области с насущными политическими задачами, стоящими перед правящими кругами империалистического лагеря.

Представляется, на наш взгляд, более правомерным выделять в современной буржуазной историографии русской революционной демократии, как, впрочем, и во всей русистике, два основных течения: откровенно политизированное, реакционное и более научное, отличающееся относительно объективным освещением исторического прошлого нашей страны. Особенно отчетливо эти течения проявляются в определении места и роли русской революционной демократии.

В последние десять-пятнадцать лет в оценке буржуазными авторами истории России явно доминирует второе из отмеченных течений. Решающую роль в этом играет несомненный рост авторского профессионализма, обусловленный прежде всего возросшими требованиями к уровню исторических исследований, а также бесспорным усилением влияния работ советских авторов. Нельзя не учитывать здесь и начавшегося в 60-е гг. заметного потепления политического климата. Однако по ряду причин этот фактор не может иметь определяющего значения в смене историографических течений, поскольку главной стратегической целью идеологической борьбы сил империалистического лагеря был и останется антисоветизм.

В общественно-политической и идейной жизни капиталистических стран (прежде всего США) в последние годы наблюдается усиление консервативных тенденций и охранительных реакций на появление разного рода «контркультур». В связи с этим происходит очевидная эволюция идеологической стратегии современного империализма в сторону неоконсерватизма, выдвинувшегося сейчас на положение ведущего течения буржуазной идеологии¹.

Это последнее обстоятельство в немалой степени объясняет то, что различия между двумя выделенными нами течениями в современной английской и американской буржуазной историографии русской революционной демократии не носят принципиального характера. Они обусловлены лишь различием в оттенках политической ориентации авторов и их принадлежностью к разным поколениям историков², а также традициями научных школ и национальных историографий. В целом же современная буржуазная русистика выступает единой как по своей методологической оснащенности, так и по политической направленности. Это обуславливает не только ее концептуальную общность в исследовании отдельных проблем истории России, но и в конечном счете ненаучность их решения.

Следует также учитывать, что историографические концепции и схемы буржуазных ученых не являются чем-то застывшим, раз и навсегда определившимся. Они постоянно видоизменяются. Возникает множество новых трактовок, теорий, гипотез. Однако, как правило, новизна их весьма относительна; на проверку они оказываются лишь слегка подновленными, модифицированными версиями старых традиционных штампов и моделей, поскольку буржуазные историки не способны выйти за традиционные рамки своей ненаучной методологии, обусловленной классовым мировоззрением. Их историческая мысль остается замкнутой в кругу своих собственных общих ненаучных представлений и установок.

¹ Подробнее см.: Мельвил А.Ю. Социальная философия современного американского консерватизма. М., 1980.

² Целесообразность учета принадлежности авторов к разным поколениям историков при выделении основных направлений в современной буржуазной русистике убедительно обоснована Б.Н. Мироновым (см.: Миронов Б.Н. Некоторые схемы истории СССР в современной англо-американской буржуазной историографии // Критика новейшей буржуазной историографии. Л., 1976. С. 57–58).

Доминирующей чертой английской и американской русистики и советологии последних лет, как и всей современной буржуазной историографии в целом, являются напряженные поиски новых концептуальных схем истории общественной мысли и революционной интеллигенции России, чтобы лучше понять настоящее и предугадать будущее нашей страны. Поиск новых концепций проявляется прежде всего в отказе от наиболее одиозных «веховских» трактовок, широко распространенных в период «холодной войны», и в обращении к более гибким, более соответствующим изменившемуся «политическому ландшафту» теориям.

Это еще более повышает политическую актуальность и научную значимость критического разбора имеющих место в буржуазной русистике концепций, наблюдений и выводов.

Критический анализ современной буржуазной историографии освободительного движения в России может опереться в настоящее время на целый ряд советских исследований, посвященных рассмотрению принципов буржуазной исторической науки. Среди них прежде всего заслуживают быть отмеченными работы М.А. Барга, О.Л. Вайнштейна, Ю.И. Красина, Б.Г. Могильницкого, В.И. Салова, Л.В. Скворцова и др.¹ Раскрывая главные пороки буржуазной философии и методологии истории и тесную связь исторической науки Запада с идеологическими задачами буржуазии, эти исследования создают необходимую научно-теоретическую основу для более аргументированной критики буржуазной историографии отдельных проблем русской истории.

Не менее важное значение имеют также работы советских историков и историков других социалистических стран, посвященные раскрытию действительных политических целей и классового содержания многочисленных советологических концепций². В них не просто анализируются причины того, почему Октябрьская революция неизменно оказывается в центре внимания современных западных советологов и «россиеведов», но и намечаются пути решения вопросов о том, как и почему буржуазные концепции Октября влияют на освещение других вопросов русской истории и прежде всего истории предшествовавших этапов освободительного движения.

Появление в 60-х – начале 70-х гг. крупных монографических работ советских исследователей по истории русского революционно-демократического движения 60-х гг. XIX в. и революционного народничества дали необходимую фактическую и теоретико-методологическую основу для научно обоснованной критики буржуазных концепций не только разночинского периода освободительной борьбы, но и всего русского революционного движения в целом³. Тогда же впервые в отдельных

¹ См.: *Барг М.А.* Вопросы метода в современной буржуазной историографии // *Вопросы истории.* 1972. № 9. С. 63–81; *Красин Ю.А.* Революцией уstraшенные; *Могильницкий Б.Г.* О природе исторического познания; *Он же.* Буржуазная историческая мысль и современность // *Методологические и историографические вопросы исторической науки.* Томск, 1979. Вып. 13. С. 12–30; *Он же.* Современный этап кризиса буржуазной исторической науки // *Вопросы истории.* 1980. № 9. С. 62–77; *Марушкин Б.И.* Историческая наука и современная идеологическая борьба. М., 1975; *Скворцов Л.В.* История и антиистория. М., 1976; *Салов В.И.* Современная западногерманская буржуазная историческая наука. М., 1968; *Он же.* Историзм и современная буржуазная историография. М., 1977; *Он же.* Кризис буржуазной методологии истории // *Вопросы истории.* 1981. № 4. С. 85–99; *Вайнштейн О.Л.* Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX–XX в. Л., 1979.

² См., напр.: *Красин Ю.А.* Дialeктика революционного процесса. М., 1972; *Красин Ю.А.* Лейбзон Б.М. Революционная теория и революционная политика. М., 1979; *Кризис антисоветизма.* М., 1978; *Марушкин Б.И.* История и политика. Американская буржуазная историография советского общества. М., 1969; *Он же.* Советология: Расчеты и просчеты. М., 1976; *Фойгт Г.* Октябрьская революция в освещении историографии ФРГ // *История СССР.* 1979. № 1. С. 229–235; *Чубарьян А.О.* Буржуазная историография Октябрьской революции // *Вопросы истории.* 1968. № 1. С. 89–96.

³ См., напр.: *Антонов В.Ф.* Революционное народничество. М., 1966; *Итенберг Б.С.* Движение революционного народничества. М., 1966; *Седов М.Г.* Героический период революционного народничества. М., 1966; *Твардовская В.А.* Социалистическая мысль России на рубеже 1870–1880-х годов. М., 1969; *Пантин И.К.* Социалистическая мысль в России: Переход от утопии к науке. М., 1973; *Смирнова З.В.* Социальная философия А.И. Герцена. М., 1973.

рецензиях и историографических обзорах были рассмотрены взгляды некоторых буржуазных авторов, изучающих это движение¹.

Итогом начатой работы явились специальные исследования, содержащие обстоятельный научный анализ современной английской и американской историографии русской революционной интеллигенции вообще и революционного народничества в частности². Среди последних работ особо следует остановиться на монографических исследованиях В.Г. Джангирияна и М.Д. Карпачева³. Эти работы заслуживают внимания прежде всего тем, что в них убедительно, на большом историографическом материале раскрываются действительные цели обращения английских и американских исследователей к изучению взглядов и деятельности русской революционной демократии. Показывается, что попытки буржуазных авторов обосновать мысль о генетическом и теоретическом родстве идеологии революционного народничества и ленинизма в подавляющем большинстве продиктованы далекими от подлинной науки задачами, а именно: стремлением дискредитировать ленинизм, оторвав и даже противопоставив его марксизму.

В книге М.Д. Карпачева впервые воссоздается история становления и развития имеющихся в англоязычной литературе буржуазных концепций революционного народничества, появившихся со времени возникновения самого движения. Это позволило автору глубже раскрыть существенное содержание американской и английской буржуазной историографии русского освободительного движения и аргументированно показать, что при всей пестроте имеющихся в ней концепций ее объединяет общность идейно-теоретических и методологических посылок, обусловленная буржуазным мировоззрением и антисоветизмом.

Внося заметный вклад в марксистское исследование темы, монографии В.Г. Джангирияна и М.Д. Карпачева в определенной степени подводят итог в изучении современной английской и американской буржуазной историографии русского освободительного движения. Однако, как и все другие названные здесь работы в этой области, они, естественно, не могут дать исчерпывающего критического анализа всех аспектов рассматриваемой проблемы. Это оказывается невозможным уже потому, что в них анализируются исследования английских и американских авторов, посвященные лишь одному из этапов революционно-демократического движения — народническому. Указанное обстоятельство значительно осложнило выявление общих идейно-методологических установок и основных концептуальных схем, определяющих подход буржуазных авторов к освещению истории освободительного движения. Вместе с тем историография революционного движения анализируется вне контекста историографии истории России в целом, ее основных закономерностей.

¹ См.: Богатов В.В. *Философия* П.Л. Лаврова. М., 1972; Новиков А.И. *Нигилизм и нигилисты*. Л., 1972; Малинин В.А. *Философия революционного народничества*. М., 1972; Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. *Чернышевский или Нечаев?* М., 1976.

² См.: Щетинина Г.И. *Интеллигенция, революция, самодержавие: Освещение проблемы в американской буржуазной историографии* // История СССР. 1970. № 6. С. 154–172; Маслин И.А. *Русское революционное народничество и современность* // Современная идеологическая борьба и молодежь. М., 1973. С. 160–170; *Он же*. *Просчеты и предубеждения американского чернышевсковедения* // Философия Н.Г. Чернышевского и современность. М., 1975. С. 155–169; *Он же*. *Критика буржуазных интерпретаций идеологии русского революционного народничества*. М., 1977; Джангириян В.Г. *Современная буржуазная англо-американская историография* М.А. Бакунина и бакунизма // Тр. ун-та Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1974. Т. 72. Сер. История. Вып. 5. Историография и источниковедение. С. 58–71; Карпачев М.Д. *Англо-американская буржуазная историография об отношении К. Маркса и Ф. Энгельса к революционному народничеству* // Вестн. Моск. ун-та. Сер. История. 1973. № 5. С. 29–39; *Он же*. *Англо-американская буржуазная историография об истоках движения революционного народничества в России* // История СССР. 1978. № 6. С. 216–221; Новиков В.М. *Критика современной англо-американской буржуазной историографии* П.Л. Лаврова и лавризма: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1978.

³ См.: Джангириян В.Г. *Критика англо-американской буржуазной историографии* М.А. Бакунина и бакунизма. М., 1978; Карпачев М.Д. *Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы*. М., 1979.

стей и национального своеобразия. Кроме того, в имеющихся работах лишь намечена, но не выявлена эволюция историографических концепций буржуазных авторов в связи с эволюцией самой буржуазной исторической мысли, с происходящими сдвигами в мировом революционном процессе и соответствующим изменением тактики идеологической борьбы, влияние которой на современную западную историографию все возрастает.

Решение этих вопросов исключительно важно. Оно позволило бы более рельефно обозначить тесную связь буржуазной историографии и политики и тем самым обнаружить подлинные, внешне скрытые пружины, которые обуславливают состояние и эволюцию буржуазной исторической мысли в целом.

Заметно возросшее в последние годы число работ, посвященных рассмотрению буржуазной историографии русского революционного движения, не меняет сложившейся картины. Как правило, в них лишь повторяются известные, уже высказанные ранее положения. И при этом вновь рассматриваются теории, несостоятельность которых давно доказана в марксистской литературе¹. В результате еще не изжито отставание марксистской критики от реального процесса развития буржуазной исторической мысли². Остаются неосмысленными те новые тенденции, которые характеризуют современное состояние буржуазной русистики.

В данной работе исследуется английская и американская историография русской революционной демократии XIX в. При этом имеющиеся в ней концепции рассматриваются не только на примере освещения буржуазными авторами наиболее яркого этапа революционного демократизма – народнического, но и всего движения. Предпринята попытка выявить идейно-теоретические основы и целевые установки этих концепций в связи с их освещением истории России.

Особое внимание уделяется эволюции основных концептуальных схем, а также выявлению тех новых тенденций в интерпретации ряда наиболее важных вопросов проблемы (истoki и главные характеристики движения, национальное своеобразие русской передовой интеллигенции и ее общественной мысли), которые появляются в связи с объективными переменами, наблюдаемыми в современном буржуазном общественном сознании и в связи с реальными процессами, происходящими в реальном мире.

Анализ английской и американской русистики на довольно значительном отрезке времени (50–70-е гг.) дает возможность полнее и глубже рассмотреть становление и содержание основных ее концепций и выводов, а также проследить обнаружившуюся в процессе их эволюции непоследовательность и противоречивость, иногда даже приводящую авторов к взаимоисключающим выводам.

¹ Назовем в качестве примера: *Страхов А.* Идейные истоки философии Н.Г. Чернышевского в освещении англо-американской историографии // Актуальные проблемы истории философии народов СССР. М., 1979. Вып. 7. С. 112–120; *Корионова Е.В.* Критика современных буржуазных фальсификаций проблемы преемственности в истории русской социалистической мысли // Актуальные проблемы истории социалистических учений. М., 1980. С. 88–105; *Новиков А.И.* Критика буржуазной фальсификации идейно-теоретического наследия Н.Г. Чернышевского: К характеристике историко-философских истоков // Н.Г. Чернышевский и современность. М., 1980. С. 229–236; *Хрисанфов В.И.* Начало ленинского этапа развития марксизма в освещении буржуазной историографии: По поводу так называемой концепции о «народнических корнях большевизма» // Вести. Ленингр. ун-та. 1980. № 8. Вып. 2. С. 39–43.

² На это обращает внимание своих читателей журнал «Коммунист» (см.: *Кириллов-Угрюмов В.* Советская система аттестации кадров на современном этапе // Коммунист. 1982. № 10. С. 64).

ГЛАВА I. ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСВЕЩЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИЕЙ УЗЛОВЫХ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Интерес современных буржуазных исследователей к истории нашей страны в разное время стимулировался разными факторами. Однако идейная основа их исследований оставалась неизменной. Ею всегда был и остается антисоветизм как главное стратегическое направление антикоммунизма в целом¹. Цель рождает адекватные средства. Тенденциозное освещение современной истории нашей страны приводит к соответствующей интерпретации ее прошлого.

Под воздействием реальных процессов антисоветизм, сохраняя свою классовую антикоммунистическую сущность, меняет свои формы и методы. Это отражается и на исследовании истории России. Откровенные фальсификаторские концепции уступают место более гибким, более реалистическим теориям и оценкам. Заметно корректируется целевая заданность исторических исследований, усложняются их задачи.

Буржуазные ученые все чаще обращаются к истории нашей страны уже не только для того, чтобы опорочить ее реальную действительность и таким образом попытаться в очередной раз дискредитировать саму идею социализма, но и для того, чтобы глубже осмыслить ход истории своих собственных стран и перспективы их дальнейшего развития. Вопрос о том, «можно ли понять историю Запада, не беря во внимание историю России», обретает для них в настоящее время вполне реальный и весьма важный смысл².

Следует помнить при этом, что политическая и идеологическая ориентированность буржуазных авторов не является единственным критерием оценки научной значимости их трудов. Развитие буржуазной исторической науки определяется в конечном счете ее теоретическим уровнем, обусловленным классовым мировоззрением исследователей³. Как бы ни рознились политические симпатии и идеологические пристрастия буржуазных историков, для них характерны одни и те же методы познания общественно-исторических явлений: метафизика, игнорирование главных причинно-следственных связей, воинствующее неприятие учения об общественно-экономических формациях. В этом заключается их общность, образующая единую философско-историческую традицию.

1. «Евразийская» теория

Диапазон теоретического мышления буржуазных исследователей ограничен их социально-классовыми позициями. Обосновать право на существование и историческую перспективу капиталистического общества можно, лишь искажая смысл и главные тенденции процесса исторического развития. С этой целью буржуазными учеными создан значительный арсенал идейно-теоретических средств, замкнутых рамками буржуазного мировоззрения. Важнейшими из них, имеющими самое непосредственное отношение к освещению западными исследователями истории России и ее революционного общественного движения, являются тезис об определяющей роли политической власти, а также абсолютизация общественной мысли как таковой, отрыв ее от самого общества, определяющих его развитие социально-экономических процессов.

¹ Подробнее см.: *Кризис антисоветизма*. М., 1978. С. 8; *На фронтах идеологических битв // Проблемы идеологической борьбы на современном этапе*. М., 1979. С. 170.

² *Dukes P. October and the World. Perspective on the Russian Revolution*. London and Basingstoke, 1979. P. 29.

³ Подробнее см.: *Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания*. Томск, 1978.

Взятые в качестве методологически исходных, эти положения служат основанием для конструирования буржуазными учеными произвольных концептуальных схем в исследовании формирования русской революционной интеллигенции, генезиса и эволюции ее общественной мысли. Важнейшей из таких схем, призванной «объяснить» главные моменты и особенности русской истории, а также своеобразие становления и развития революционного движения, является ставшая традиционной в буржуазной историографии «евразийская» теория, провозглашающая особый путь исторического развития России, принципиально отличный от пути развития европейских стран.

Своими первоисточниками «евразийская» теория восходит к русской дореволюционной историографии как западнической, так и славянофильской ориентации (С.М. Соловьеву, Б.Н. Чичерину, В.О. Ключевскому, Д.И. Иловайскому, Н.Я. Данилевскому). Особенно большое влияние на ее формирование оказала теория обособленных «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского, считавшего славянские народы новым, качественно отличным этническим типом. Позже, после Октябрьской революции, в сложных условиях политической и интеллектуальной жизни Советского государства первых лет его существования эта теория получила дальнейшее развитие. Желание понять смысл происходящего и поддержать новое рождавшееся общество привело некоторых представителей интеллигенции к противопоставлению России Западу, подчеркиванию присущих русскому национальному духу неких особых высших человеческих ценностей, отличных от европейских¹. Этот мотив был воспринят и продолжен русской белоэмигрантской интеллигенцией с ее острым чувством неустroенности, усиленным ностальгией. Найдя в белоэмигрантской среде благоприятную почву и получив здесь с самого начала антисоветскую направленность, «евразийская» теория была дополнена тезисом об опасности угрозы европейской культуре со стороны Советской России, якобы олицетворявшей собою воскресший «пан-монголизм»².

В таком виде «евразийская» теория широко использовалась в официальной антикоммунистической пропаганде буржуазии, напуганной победой Октябрьской революции. В последующее время она была развита за счет новых положений, позволивших западным исследователям использовать ее как действенное оружие идеологической борьбы против первого в мире Советского социалистического государства.

В этом своем качестве существенное содержание «евразийской» теории было сформулировано в 40-е гг. известным американским исследователем, белоэмигрантом Г. Вернадским³. Она постулировала в геополитическом духе ставший весьма популярным в западной историографии тезис о коренном своеобразии русской истории, обусловленном тем, что в социально-политическом строе России воплотились в большей мере черты азиатских деспотий, нежели государственных систем Западной Европы⁴. Отрицалось наличие в стране феодализма и абсолютизировалась специфика ее государственного устройства. При этом наиболее реакционные, антисоветски настроенные авторы работ по истории России акцентировали свое внимание на доказательстве тезиса об отсутствии здесь де-

¹ См.: Иванов-Разумник П.В. О смысле жизни. Берлин, 1920. С. 22.

² Williams R. Culture in Exile. Russian Emigres in Germany. 1881–1917. N. Y., 1972. P. 253–254, 258–259. См. также: Зеньковский В. Русские мыслители и Европа: Критика европейской культуры у русских мыслителей. Париж, 1966. С. 159–160, 163.

³ Бывший профессор Иельского университета, автор целого ряда работ по русской истории, в том числе 6-томной «Истории России», получивших широкое научное признание за рубежом, один из основателей созданной белоэмигрантами в США «Русской академической группы», редактор издаваемых ею «Записок».

⁴ Подробнее об этом см.: Мионов Б.Н. Некоторые схемы истории СССР в современной англо-американской буржуазной историографии // Критика новейшей буржуазной историографии. Л., 1976. С. 58–60.

мократических традиций и несвободе как психологической черте, обусловленной расовыми характеристиками нации¹.

Следуя широко распространенному в русской дореволюционной буржуазной исторической науке тезису о первенствующей роли политической власти в историческом развитии страны, западные приверженцы «евразийской» теории представляют Русское государство как некую самодовлеющую, изолированную, неизменяемую организацию, основывавшую свое господство на грубой политической силе. Известный на Западе «эксперт по тоталитаризму», член русского Исследовательского центра в Гарвардском университете Б. Вольф² утверждает в частности, что, квалифицируя самодержавие как независимую иерархическую и деспотическую систему, Н.К. Михайловский развивает «более реалистическую концепцию природы Русского государства», чем Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин³. Еще более категоричен в своих утверждениях на этот счет известный своими антикоммунистическими взглядами американский историк Р. Пайпс⁴. Он полагает, что Русское государство «не выросло из общества» и даже не было ему «навязано сверху». Неким чудотворственным образом оно появилось и росло совершенно независимо, рядом с обществом и, действуя в отношении него как враждебная сила, «заглатывало его по кусочку»⁵.

Не будет преувеличением сказать, что все без исключения буржуазные исследователи единодушны в утверждении тезиса о коренном отличии самодержавия от западноевропейского абсолютизма. Признавая некоторое внешнее сходство между автократией и абсолютной монархией, они решительно отрицают возможность их сближения, доказывая принципиальное различие между ними. В особенно четкой форме эту мысль выразил западногерманский исследователь Г. Рооз, пытающийся дать ей теоретическое обоснование. Он полагает, что самодержавие является особым типом государства, принадлежавшим к восточно-азиатскому культурному кругу. Его существенное отличие от абсолютной монархии, где массы подчиняются хотя и неограниченным, но «известным и благоразумным» правилам, заключается в «полном, ничем не сдерживаемом произволе власти»⁶. Эта гипертрофия роли правящей власти и составляла, по мнению буржуазных исследователей, суть русской национальной государственной традиции⁷.

Истоки своеобразия национальной государственной традиции России буржуазные авторы видят в том, что Русское государство, занимая в отличие от стран Запада географически срединную позицию, синтезировало в себе восточный деспотизм, туземную патриархальность и византийский цезаризм, поддерживаемый ортодоксальной церковью.

Весьма распространенным в рассматриваемой нами исторической литературе, как и во всей буржуазной историографии, является стремление отводить особую

¹ Sumner B. Survey of Russian History. Duckwarth, 1945.

² Автор нескольких трудов по истории России и истории Советского государства. В течение ряда лет (60-е гг.) вел в Гарвардском университете семинар по теме «Марксизм и сталинизм».

³ Wolf B. Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought // Slavic Review. 1967. Vol. XXVI, № 2. P. 183.

⁴ Яркий антикоммунист, автор ряда работ по истории России, в том числе истории русской общественной мысли, включая большую монографию о П. Струве. Почетный профессор Гарвардского университета, в прошлом директор русского исследовательского центра этого университета. Некоторое время был сотрудником совета по национальной безопасности США в президентство Рейгана. (Подробнее см.: Романовский Н.В. Ричард Пайпс – профессиональный антисоветчик: Вопросы истории. 1982. № 3. С. 27–42).

⁵ Pipes R. Russia under the Old Regime. London, 1974. P. 27.

⁶ Roos H. Verhältnis von Autokratie und Anarchie als universalhistorisches Problem // Probleme der Geschichtswissenschaft. Düsseldorf, 1973. S. 80.

⁷ Известный своими реакционными взглядами американский автор Ю. Мэтин определяет русское самодержавие как «дизархию», характеризуемую «чистым злоупотреблением власти» (Methvin E. The Rise of Radicalism. The Social Psychology of Messianic Extremism. Arlington House, 1973. P. 112).

роль в ряду факторов, обусловивших своеобразие Русского государства, влиянию монголо-татар. Так, Б. Вольф, характеризуя самодержавие в качестве «более централизованной власти, более цельной, более монополистической, более деспотической, чем абсолютизм в Европе», склонен видеть главную причину, обусловившую это обстоятельство, в «татаризации» Русского государства¹.

Одним из первых, поставивших этот вопрос в западной историографии, был уже названный нами Г. Вернадский. Он считал, что в период монгольского господства в Русском государстве сложились основные принципы общественной организации, получившие в дальнейшем лишь свое окончательное завершение. Главные из социальных институтов, воплотившие данные принципы и оказавшие затем определяющее влияние на всю последующую историю страны, – самодержавие и крепостничество, явились, по его мнению, для русского народа платой за свое национальное выживание². Следуя логике этих рассуждений, государственная организация России была прямым порождением и отражением деспотической власти империи монголов. В этом коренилась основа ее отличительных свойств, совершенно чуждых принципам государственного устройства стран Западной Европы.

В 70-е гг. в буржуазной историографии появился ряд работ, авторы которых ставят перед собой задачу развить «евразийскую» теорию, дать ей более обстоятельную «научную» оранжировку. В ряду такого рода исследований заслуживают особого внимания две работы, вышедшие в одно и то же время. Это – уже упомянутая книга Р. Пайпса «Россия при старом режиме» и книга английского историка Т. Самуэли «Русская традиция»³.

Оба автора ставят одинаковую цель – исследовать происхождение русского самодержавия как принципиально отличную от европейских государств форму политической власти. Пайпс, например, вообще характеризует Русское государство как «патримониальное» (вотчинное), представлявшее собою совершенно самостоятельную форму государственности, а отнюдь не разновидность или извращение какой-либо другой из известных в мировой истории форм. Его отличие от восточных деспотий заключалось в том, как считает Пайпс, что правящий монарх не ущемлял право собственности своих подданных. Он просто «не признавал за ними этого права». Поэтому, утверждает исследователь, термин «патримониальный» лучше всего определяет тип режима, существовавшего в России⁴. Оба автора одинаково выделяют также ряд чисто внешних моментов, определивших, в их трактовке, особенности русской государственности. Это – физико-географические условия страны, влияние Византии, якобы отторгнувшей Русское государство от лежавшей в основе западной цивилизации культуры Древнего Рима, и, наконец, татаро-монгольское иго, сыгравшее, по их мнению, особую роль в формировании авторитарной власти в стране и тем самым завершившее ее отрыв от Западной Европы.

Определяя Русское государство как «классический» пример «патримониального» государства, Р. Пайпс усматривает истоки его в бедных почвенно-климатических условиях страны. Согласно его утверждению, существенно искажающему реальные факты истории, правящая власть в России была изначально лишена каких-либо ограничений. Она базировалась на отождествлении прав суверена с правами полного собственника материальных богатств страны⁵. Глубокие последствия для

¹ Wolf B. The Durability of Despotism in the Soviet System // The Russian Review, 1958. Vol. 17, № 2. P. 83.

² Vernadsky G. The Mongols and Russia. New Haven, 1958. P. 390. (Подробнее об этой работе см.: Мейерс Н.Я., Пауэрс В.Т. Георг Вернадский. Монголы и Россия // Вопросы истории. 1955. № 8. С. 180–186.)

³ См.: Pipes R. Russia under the Old Regime. (В 1980 г. она переиздана на русском языке. См.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж, 1980); Szamuely Th. The Russian Tradition. London, 1974.

⁴ Pipes R. Russia under the Old Regime. P. 31.

⁵ Ibid. P. 1, 24.

всего хода русской истории имело заимствование христианства у Византии. Православная церковь с ее проповедью смирения и игнорированием роли «аналитического разума» превратилась в России в «ветвь государственной бюрократии», санкционировавшей и поддерживавшей авторитарную власть¹. И, наконец, как отмечает Пайпс далее, большое значение для формирования Русского государства имело монголо-татарское иго. Наиболее пагубным при этом оказалось его воздействие на «политический климат» Русского государства. Заигрывая с князьями или жестоко карая их, монголы, утверждает он, значительно увеличили тем самым отчуждение княжеской власти от народа, еще более уменьшив ее политическую ответственность и приучая подданных к мысли, что власть по «самой своей природе беззаконна»². Пайпс предпочитает умолчать при этом, что именно князья возглавили и повели за собой народ на борьбу против монголо-татарского господства. Работу Пайпса пронизывает стремление изобразить всю историю России как следствие и воплощение особых, свойственных русской нации, расовых характеристик.

В отличие от Р. Пайпса, Т. Самуэли не склонен к поискам своеобразных расовых признаков в русской истории. Он более диалектичен и в оценке роли византийского наследия, признавая противоречивый характер его влияния. По его мнению, наследие Византии способствовало тому, что Древнерусское государство в культурном и экономическом отношении не уступало, а в некотором плане даже превосходило западноевропейские государства, поддерживая с ними самые тесные связи. Однако, в конечном же счете, как утверждает он, возобладали отрицательное влияние Византии: заимствованная у нее православная религия укрепила авторитарную тенденцию правящей власти, окружив ее атмосферой истинно восточного религиозного почитания³.

Отдавая дань популярной на Западе теории «границ» Ф. Тернера, Самуэли видит «один из ключей к пониманию» истории России в том, что она в течение многих веков была «открытой оборонительной линией» между европейскими цивилизациями и кочующими племенами восточных «варваров». Эта пограничная позиция явилась, по его мнению, фактором решающего воздействия на судьбы страны. Вторжение монголо-татар прервало и на несколько веков задержало поступательное развитие Русского государства, окончательно оторвав его от западной цивилизации.

Справедливо отмечая отрицательное воздействие монгольского ига (повторяется известное изречение Наполеона, что «монголы не оставили России ни алгебры, ни Аристотеля»), Самуэли считает вместе с тем, что монголы дали Русскому государству нечто, оказавшее на него гораздо большее воздействие – незнакомые Западу концепции общественного устройства и административно-политическую систему.

Таким образом, русская история, как утверждает Самуэли, развивалась под восточным влиянием. Восточные «варвары» вдохнули в нее новую жизнь, реорганизовав ее общественный строй на основе ранее неизвестной идеологии, служившей базисом в создании самой монгольской империи. Главным принципом этой идеологии была идея установления мирового порядка, основанного на совершенном подчинении личности государству⁴. В этих идейных мотивах, а не в объективно закономерном укреплении экономических связей между соседними удельными княжествами, как это было в действительности, Самуэли усматривает главную причину, обусловившую позже восстановление единого национального Русского государства, а также форму его общественно-политической организации. «Россия, поистине, – пишет он, – была завоевана дважды: в первый раз – монгольской армией, во второй – государственной идеей монголов»⁵.

¹ Pipes R. Russia under the Old Regime. P. 227.

² Ibid. P. 57.

³ Szamuely Th. Op. cit. P. 10–13, 67.

⁴ Ibid. P. 15, 87.

⁵ Ibid. P. 18.

Итак, централизованное Русское государство родилось, воплотив в себе принципы восточной деспотии, хотя, как замечает автор, эти начала были внутренне чужды русским национальным традициям¹. Что же в таком случае обеспечило столь значительное влияние монголов? По мнению Самуэли, оно явилось результатом объективных внешних факторов, среди которых определяющую роль играла постоянно существовавшая необходимость организации национальной защиты. Неблагоприятное срединное географическое положение страны между Западом и Востоком выдвигало в качестве ее «главной жизненной задачи» создание оптимально эффективной системы мобилизации рассеянных материальных и людских ресурсов. В этих условиях, считает он, деспотизм являлся единственной политической формой, способной управлять страной и сохранять ее целостность на такой большой территории².

Мы подробно остановились на взглядах Т. Самуэли и Р. Пайпса не только потому, что они изложены в недавно изданных крупных исследованиях, получивших высокую оценку и широкое признание в западной историографии³, но потому, главным образом, что в них в наиболее законченной и рельефной форме прослеживаются характерные для современной английской и американской буржуазной историографии концепции образования самодержавного Русского государства и своеобразия его истории. Основой этих концепций является неисторический подход к сопоставлению России и западноевропейских стран. На первый план в них выдвигаются некие второстепенные различия и совершенно игнорируется принципиальное единство их социально-экономического развития. Затушевывая классовую природу самодержавия, буржуазные авторы игнорируют действительные факты истории, свидетельствующие о том, что политический строй Русского государства после уничтожения монголо-татарского господства и завершения национального объединения земель (конец XV–XVII в.) представлял собой сословную монархию с боярской думой и боярской аристократией⁴. Они не учитывают также и того, что в последующее время происходит становление дворянской самодержавной монархии, когда наблюдается усиление бюрократизации дворянства и тем самым закладываются основы эволюции абсолютной монархии в буржуазном направлении⁵.

Рассмотренные рассуждения Пайпса и Самуэли свидетельствуют о том, что оба автора полностью абстрагируются от исследования конкретных социально-экономических процессов, определявших динамику политической истории России. Характерным для буржуазной исторической науки образом они стремятся объяснить природу политической власти и социальной организации страны чисто внешними, не зависящими от внутреннего развития факторами (Т. Самуэли), дополняя их роль отличительными расовыми признаками (Р. Пайпс).

Их объединяет также общее видение основного своеобразия русской истории, которое они усматривают в духе традиции антисоветизма в том, что русское общество якобы обнаружило с самого начала полную неспособность хоть в какой-то мере ограничить политическую власть.

¹ Самуэли не склонен полностью отождествлять русскую государственную систему с типом восточной деспотии, но считает, что они были сходными в своих главных чертах (см.: *Samuely Th. Op. cit.* P. 86, 87).

² *Samuely Th. Op. cit.* P. 37, 87.

³ Работа Т. Самуэли (получившего на Западе известность в качестве одного из «самых выдающихся комментаторов» истории Советского государства, активно сотрудничавшего в периодической печати и телевидении) в предисловии, написанном к ней Р. Конквестом, названа «великолепным исследованием» (см.: *Samuely Th. Op. cit.* P. VIII). См. также рецензию Н. Рязановского на книгу Р. Пайпса (*The Russian Review*. 1976. Vol. 35, № 1. P. 103–104).

⁴ См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 346.

⁵ См.: Троцкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократии. М., 1974.

Рассмотренные работы Т. Самуэли и Р. Пайпса позволяют считать, что «евразийство» отнюдь не является в настоящее время совершенно устаревшим, а тем более выброшенным из арсенала идейно-теоретических средств современных буржуазных исследователей истории России. Вместе с тем было бы неверно утверждать, что «евразийская» теория остается сейчас прежней, не претерпевает никаких изменений. Продолжая играть большую роль в ряду главных теоретико-методологических основ исследования русской истории, она корректируется в некоторых своих важнейших моментах. Это делает ее более гибкой и наукообразной.

С начала 60-х гг. появляются работы, достаточно отчетливо свидетельствующие о неудовлетворенности и даже откровенном неприятии «евразийской» теории. Их авторы высказывают сомнение в ее научной состоятельности, в частности в обоснованности тезиса о коренном отличии России от европейских стран, подчеркивая, что все страны имеют «общую логику» развития¹.

В последние годы все настойчивее звучат призывы отказаться от необоснованного противопоставления России Западу и требования рассматривать ее как принадлежащую к европейской культурной и духовной общности в качестве равноправного партнера. Американский ученый Г. Роберте, например, квалифицирует «евразийскую» теорию как следствие идеологической пристрастности, предрассудков и как прямое продолжение «холодной войны», полагая, что она таит в себе «ощутимую опасность», ибо ставит историков в положение совершенно неготовых к научному освещению целого ряда новых могущих возникнуть проблем². Отмечая тесную связь проблемы с политическими задачами, он подчеркивает, что идеологическая пристрастность «открывает двери» тенденциозному отбору факторов и неправильному их истолкованию³.

Другой исследователь, историк из ФРГ Р. Виттрам, подчеркивает, что «современные историки не должны позволять себе находиться под влиянием равно как славянофильских симпатий, так и евразийских идей, они должны быть осмотрительными в своих попытках культивировать европейскую гордость и формировать идеологию на основе лишь некоторых тенденций древней и современной истории Европы»⁴.

Сейчас вполне отчетливо наметилась тенденция более гибко решать проблему исторического места России. Ее приверженцы стремятся не противопоставлять Россию странам Европы, а, напротив, определить ее положение в ряду последних⁵. Как и следовало ожидать, они сфокусировали свое внимание на опровержении наиболее распространенных аргументов, к которым обращаются сторонники «евразийской» теории: утверждений о решающей роли в истории Русского государства византийского и монголо-татарского наследий.

Существенным образом корректируются традиционные догмы о якобы изначальной культурной отсталости русской нации. Становится общепринятым не вычеркивать, как прежде, Древнерусское государство из ряда европейских держав. Начало его экономического, социального и культурного отставания и сопряженное с ним своеобразие политических форм относится теперь буржуазными историками к более позднему времени.

В этой связи пересматриваются, например, прежние «евразийские» трактовки роли византийского влияния. Выдвигаются, в частности, аргументированные дово-

¹ Mathewson R. Russian Literature and the West, *view Review*. 1962. Vol. XXI, № 3. P. 413.

² Roberts H. Russia and the West: A Comparison and Contrast // *The Structure of Russian History* / Ed. by M. Cherniavsky. N. Y., 1970. P. 253.

³ Ibid. P. 260.

⁴ Wittram R. *Russia and Europa*. London, 1973. P. 8.

⁵ Ф. Вернер в частности видит «суть проблемы» в том, чтобы «определить позицию России в Европе как в прошлом, так и теперь» (*Werner Ph. Russias Position in Medieval Europa* // *Russia. Essays in History and Literature* / Ed. by H. Syman, S. Legter. Leiden, 1972. P. 8).

ды в пользу того, что это влияние не могло отторгнуть Русское государство от Запада, поскольку Византия не в меньшей мере была хранительницей античного культурного наследия. «Легко забыть», пишет американский исследователь Дж. Кларксон, что восточная часть Римской империи «всегда была культурно более развитой», чем западная, но нельзя не учитывать того, что римское право, оказавшее столь глубокое влияние на развитие Запада, было кодифицировано Византией¹. По мнению другого американского исследователя, Н. Рязановского, культура Древнерусского государства отнюдь не была «*tabula rasa*». Основанная на созидательном творчестве восточных славян и христианском наследии Византии, она имела «широкое сходство со средневековой цивилизацией Западной и Центральной Европы, с которой была связана религией, языком, обычным правом и многим другим»².

Примечательно, что, стремясь выявить степень влияния Византии, авторы новейших работ прибегают к сопоставлению в сфере государственного и социально-экономического устройства. Американский византист Дж. Мейендорф считает, например, неправомерным придавать слишком большое значение роли влияния Византии на ход русской истории по той причине, что оно почти не коснулось социально-экономического и политического строя России³.

Столь же отчетливо прослеживается также стремление к переоценке роли монголо-татар в русской истории. Справедливо подчеркивается, что их влияние не следует преувеличивать⁴. Являясь хотя и мощной, но спорадически действующей силой, монголы, по утверждению ряда авторов, не внесли и не могли внести сколь-нибудь существенных изменений в жизнь русского общества. Фраза Наполеона «поскребите русского и вы найдете татарина», замечает, в частности, Дж. Кларксон, «не пролет свет ни на русских, ни на татар». Она доказывает лишь «невежество в знании русской истории»⁵. Поскольку Русское государство, пишет он далее, уже имело до завоевания монголов века исторического развития, вероятнее утверждать, что его социальные и государственные институты эволюционировали в большей мере под влиянием своих собственных внутренних стимулов, нежели под давлением внешних «спазматических» импульсов⁶. Ту же мысль мы встречаем и у Ф. Вернера. По его мнению, некоторые юридические и административные новации монголо-татар не могли сыграть существенной роли по той причине, что их цивилизация «не была выше русской»⁷.

Особенно значительный интерес в этом плане представляет книга американского исследователя П. Дьюкса «Октябрь и мир», опубликованная в 1970 г. Автор ее решительно возражает исследователям, которые говорят о коренном своеобразии самодержавия и считают возможным на этом основании исключить Россию из общности европейских государств. Он верно полагает, что такой подход к решению проблемы исторического места России «основывается скорее на форме, чем на содержании», поскольку различия между Россией и странами Запада не носили

¹ Clarkson J. Russia. An Essay at Perspective // The Russian Review. 1961. Vol. 20, № 2. P. 104.

² Riasanovsky N. Parting of Ways. Government and the Educated Public in Russia. 1801–1855. Oxford, 1976. P. 5.

³ «Ни система апанажа в Киевской Руси, ни автократия московских царей, ни «просвещенный» (или не очень просвещенный) деспотизм Романовых в XVIII и XIX вв., – пишет он, – не имели отношения к характеру социального и политического строя Византии». (Meyendorff I. The Byzantine Impact on Russian Civilisation // Windows on the Russian Past. Essays on Soviet Historiography since Stalin. Columbus, 1977. P. 46).

⁴ Baykov A. The Economic Development of Russia // Russian Economic Development from Peter the Great to Stalin / Ed. by H. Turner, W. Blucswell. N. Y., 1974. P. 7.

⁵ Clarkson J. Op. cit. P. 104.

⁶ Ibid. P. 104–105.

⁷ Werner Ph. Op. cit. P. 22.

качественного характера¹. Отсталость России, по его мнению, была лишь относительной и касалась в основном только сельского хозяйства. Что же касается русской промышленности, то она в XVIII–XIX вв. находилась на уровне передовых стран, а в некотором отношении даже превосходила их². Соответственно и существовавшая в стране форма государственной власти не отличалась в корне от европейских абсолютистских монархий, будучи, как и они, подверженной контролю со стороны общества³.

Неудовлетворительность критериев исторического своеобразия России привело наиболее вдумчивых исследователей к постановке вопросов в методологической плоскости. Любопытны в этом плане рассуждения признанного в США специалиста в области исследования русской истории М. Раева⁴. Он отмечает неизбежные трудности в решении проблемы, проявляющиеся в том, что исторические сопоставления всегда классово обусловлены и содержат в себе «восприятие реальности» в качестве «основного конституирующего элемента». Чтобы избежать ошибок, необходимо, по его мнению, отказаться от механического сравнения инациональных институтов и учитывать динамику их функциональных отношений. А это, считает Раев, наиболее целесообразно делать лишь в рамках более широких социальных понятий, как рабство, феодализм, «индустриализация» (капитализм)⁵.

В этом обращении к широким социологическим категориям проявляются напряженные поиски буржуазными учеными новых путей решения важных проблем русской истории. Однако новые тенденции в рассмотрении вопроса о своеобразии русского государства, а также в целом проблемы места и роли России в мировом историческом процессе означают, как правило, лишь отказ от крайних, полностью обнаруживших свой антинаучный характер концепций и отнюдь не ведут к окончательному разрыву со старыми трактовками в духе «евразийской» теории. Такой разрыв потребовал бы решительного пересмотра не только всей прошлой, но также и современной истории нашей страны и повлек бы за собой необходимость переосмысления важнейших теоретико-методологических посылок, в том числе теории «континуитета», прочно вошедшей в арсенал современной буржуазной исторической науки.

Все это, в свою очередь, поставило бы под вопрос целый ряд выводов буржуазной историографии, имеющих самую непосредственную связь с современной идейно-политической борьбой. Этим и объясняется, почему модернизаторские попытки, предпринимаемые буржуазными исследователями как в сфере конкретно-исторических исследований, так и в области отдельных теоретико-концептуальных схем, не выходят за рамки общепринятых в буржуазной исторической науке теоретико-методологических установок⁶.

В свете этих обстоятельств становится понятным, почему стремление буржуазных исследователей по-новому осмыслить проблему своеобразия и исторического места России в ряду других государств в конечном счете сводится к попыткам найти для нее некую срединную, промежуточную между Европой и Азией позицию. Хотя все чаще Россию начинают признавать страной, по праву занимающей свое место в семье европейских народов, однако, как правило, исследователи считают необходимым оговориться при этом, что вследствие яркой специфики своей исто-

¹ Dukes P. Op. cit. P. 29.

² Ibid. P. 74–75.

³ Ibid. P. 29.

⁴ Профессор Колумбийского университета. Специализируется по истории общественного движения и государственных учреждений России XVIII–XIX вв.

⁵ Raeff M. Russias Perception of her Relations with the West // The Structure of Russian History / Ed. by M. Cherniavsky. N. Y., 1970. P. 262–266.

⁶ См. об этом: Могильницкий Б.Г. О социальных функциях современной буржуазной исторической науки // История СССР. 1978. № 5. С. 189–206.

рии она относится лишь к восточноевропейскому культурному кругу или же вообще представляет собой «отдельную историческую целостность в рамках Европы»¹.

По мнению М. Уорена, например, Россия со времени Петра I «оставалась наполовину европейской, наполовину византийско-восточной, наполовину просвещенной, наполовину оставшейся во мраке, наполовину современной, наполовину примитивной и даже полурабской и полусвободной... полной бесконечных противоречий и парадоксов»². Более определенно эту мысль выразил Дж. Кларксон. Он считает, что Россия имеет два лица, но они не могут быть точно охарактеризованы как «европейское» или как «азиатское»³. Показательным в этом плане является замечание Г. Робертса, полагающего разумным заменить тезис полярности Россия – Запад концепцией «европейского спектра», изменяющегося в интенсивности тонов по мере продвижения к Востоку⁴. России при этом отводится место на самом краю восточной части этого спектра.

Примечательно, что и в новой трактовке вопроса о специфике, месте, а следовательно, и роли России в мировом историческом процессе присутствует отчетливо выраженная тенденция рассматривать ее развитие не просто в контексте европейской истории, но, в полном соответствии с духом «евразийской» теории, как зависящее от нее и подчиненное ей. Отвергая тезис об изоляции России (или признавая, что изоляция была свойственна лишь некоторым периодам ее истории), рассматриваемые исследователи стремятся особо подчеркнуть зависимость поступательного развития России от Западной Европы⁵. Любопытна в этом плане эволюция взглядов А. Тойнби. Относя по-прежнему Россию к византийской культурной сфере, он в одной из последних работ подчеркивает, что страны византийской цивилизации оказались субъектом все возрастающего западного влияния, имевшего место в различных формах и в течение длительного времени⁶.

Действительный смысл нового подхода к решению вопроса о национальном своеобразии и историческом месте России достаточно хорошо раскрыт американским исследователем Р. Уортмэнном, утверждающим, что даже во второй половине XIX в. Россия представляла собою мир, к которому не подходили полностью «европейские категории», и поэтому определение ее в качестве европейской страны является скорее пожеланием, чем обоснованным заключением⁷. В свете этого замечания представляется отнюдь не случайной характеристика русского самодержавия, данная в статье об абсолютизме, помещенной в изданной в США известной своей антикоммунистической направленностью энциклопедии «Марксизм, коммунизм и западное общество». Автор статьи Р. Фирхауз совершенно в духе «евразийской» теории утверждает, что автократия русских царей была «исторически независимой силой» и «не может быть квалифицирована как разновидность европейской абсолютной монархии, как бы тесно она ни приближалась к ней в модернизации своих форм и рационализации своей практики»⁸.

Таким образом, выводы, к которым приходят в последнее время английские и американские исследователи, предлагающие новое решение проблемы отличия России в сравнении с государствами Запада, сводятся в конечном счете лишь к не-

¹ Wener Ph. Op. cit. P. 37.

² Wren M. The Western Impact upon Tsarist Russia. N.Y., 1976. P. 67.

³ Clarkson J. Russia. An Essay at Perspective. P. 108.

⁴ Roberts H. Russia and the West. A Comparison and Contrast. P. 254.

⁵ Р. Мэтьюсон считает в частности, что русская культура могла существовать лишь в связи с культурой Европы (см.: Mathewson R. Op. cit. P. 417).

⁶ Toynbee on Toynbee. A Conversation between Arnold J. Toynbee and Dr. Urban. N. Y., 1974. P. 81.

⁷ The Journal of Modern History. 1978. Vol. 50, № 1. P. 174.

⁸ Vierhaus R. Absolutism // Marxism, Communism, and Western Society. A Comparative Encyclopedia. N. Y., 1972. Vol. 1. P. 9.

которой корректировке установок «евразийской» теории. В тех случаях, когда авторы пытаются осмыслить внутренние процессы и явления, обусловившие своеобразие русской истории, они, как и их предшественники – последовательные приверженцы «евразийской» теории, исходят (в духе геополитических концепций) из признания первостепенного влияния климатических условий и особенностей географического положения страны, которые обрекли Россию на изоляцию, а следовательно, и обусловили своеобразие ее социально-политического устройства, выразившегося в отсутствии феодализма и наличии авторитарной формы политической власти.

Таким образом, концепции, появившиеся в последнее время в качестве нового решения проблемы исторического своеобразия России, не отличаются в принципе от прежних «евразийских» трактовок. В них «евразийская» теория получила лишь новую идеологическую окраску, определяемую конвергенционистскими установками буржуазных идеологов и политиков. Главная политическая цель новых трактовок состоит в том, чтобы обосновать на историческом материале неизбежность сближения разных социально-политических систем в один общий («uniform») тип, в котором ведущая роль будет принадлежать капитализму. Совершенно очевидно, например, что поисками именно такого общества озабочен Р. Виттрам, который, обозревая в ретроспективе историю отношений России и Европы, приходит в итоге к постановке вопроса, не является ли их «традиционная конфронтация» устаревшей, ибо, поясняет он свою мысль, «Россия ассимилировала все «западное», но не смогла стать более «европейской», так как та Европа, которая конфронтировала с нею в течение веков, уже не существует»¹. Глубоко верным представляется в этой связи замечание Дж. Кларксона, что «интерпретация русского феномена» в сильной степени зависит от того, какой Россия видится в перспективе².

Разумеется, было бы неверно считать, что ошибочная трактовка Русского государства, его роли в развитии страны и определении ее исторического места всецело обусловлена лишь идеологическими задачами буржуазных исследователей. В генетической основе их теорий лежит присущее буржуазной историографии в целом (в том числе русской, к которой восходят истоки как «евразийской», так и целого ряда других концепций современных буржуазных авторов)³ метафизическое представление об абсолютной независимости государственной организации от социально-классовой структуры, общества.

Подмена сложного комплекса главных внутренних причин (закономерности и своеобразие социально-экономических процессов), обусловивших появление Русского государства, внешними факторами (физико-географические условия, влияние Византии, татаро-монгольское господство), играющими лишь второстепенную роль в формировании русской государственности с ее действительными (а не надуманными) национальными отличительными чертами, привела буржуазных исследователей не только к неверному утверждению о принципиальном отличии государства в России от европейских форм политического устройства, но и к ряду других ошибочных выводов и заключений. К числу наиболее общих из них, имеющих методологический характер, относится проблема взаимоотношения общества и государства.

¹ *Wittram R. Russia and Europe*. P. 161–162.

² *Clarkson J. Op. cit.* P. 103.

³ Нельзя не заметить здесь влияния идей русской государственной школы и в частности тезиса П.Н. Милокова о детерминированности всего процесса исторического развития России государственным началом (см.: *Милоков П.Н. Очерки по истории русской культуры*. СПб., 1900. Ч. I. С. 10).

2. Проблема соотношения общества и государства в русском историческом процессе.

Концепция «преемственности» и модель «тоталитаризма»

«Евразийская» теория была продолжена и развита в ряде других концепций буржуазных историков относительно характера русского исторического процесса, его основных закономерностей и своеобразия. Ее главные положения нашли свое законченное выражение в освещении вопроса о соотношении общества и государства. Проблема решается в рассматриваемой нами литературе с позиций представления о Русском государстве не как о целостном общественном организме, жизнь которого обусловлена объективными социально-экономическими процессами, но как о расчлененном на отдельные, генетически не связанные между собой структуры: политическую власть и «общество», устроенное ею, исходя из задач наиболее эффективного управления страной. При этом правящая власть (государство) выступает, в их трактовке, в качестве некоей совершенно самостоятельной, самодовлеющей силы, являющейся главным и единственным движущим началом социально-экономического развития страны в целом. Общество же изображается как социальная структура, развивающаяся под непосредственным влиянием государства и только благодаря этому влиянию.

Такой подход к освещению русской истории полностью согласуется с гипертрофией места и роли самодержавной власти в России. Согласно доминирующей в буржуазной историографии «евразийской» схеме, самодержавное государство, будучи русской разновидностью восточной деспотии или, как считает Пайпс, классическим примером «патримониального» строя, создало в стране порядок, при котором вся общественная жизнь полностью и безраздельно зависела от правительства. Основой ее движения были принимавшиеся властью решения, принципы и практика правительства «управлять декретированием»¹.

Это обстоятельство обусловило, по мнению исследователей, своеобразие социальной структуры страны, ее «упрощенность», проявившуюся, прежде всего, в отсутствии феодализма. Так, Т. Самуэли утверждает, например, что русское государство до монгольского завоевания было не феодальным, а рабовладельческим с тысячами мелких изолированных крестьянских общин. Правда, оговаривается он, рабовладение не было здесь развито в такой степени, как в Риме и Греции, но тем не менее составляло яркую специфическую черту, отличавшую русское государство от европейских стран². Что же касается дальнейшего развития страны, то сложившаяся в ней авторитарная форма правления полностью исключала возможность феодализма, поскольку последний, по мнению историка, несовместим с наличием крепкой централизованной политической власти, каковая существовала в России³.

Определяющим признаком феодального общества, считает Самуэли, является бессилие и фрагментарность правительственной власти. Ее неспособность к выполнению своей главной функции – организации защиты страны заставляла людей обращаться к протекции сильных. Это и приводило в конечном счете к установлению феодальных отношений. «Феодализм вырос там, – пишет он, – где частное право вытесняло общественное и где общественный долг оказался замененным личной обязанностью»⁴.

Таким образом, в основу феодальной формации Самуэли кладет не отношения собственности, а принцип вассалитета, трактуемый им как воплощение чисто договорных отношений.

¹ Pipes R. Russia under the Old Regime. P. 30.

² Szamuely Th. Op. cit. P. IX, X.

³ Ibid. P. 13.

⁴ Ibid. P. 76.

Изложенная схема с некоторыми дополнениями и поправками широко варьируется в научных и популярных изданиях английских и американских авторов. Г. Сетон-Уотсон, например, объясняя господство в России авторитарной власти и доказывая ее мнимую непохожесть на все другие формы абсолютизма в странах Западной Европы, делает акцент на том, что Россия миновала в своем развитии как феодальную, так и капиталистическую стадию¹. Определяя феодализм главным образом как политическую организацию, он заключает, что наличие в стране крупной земельной аристократии (дворянства) и зависимых от нее крепостных крестьян отнюдь не дает основания считать Россию в прошлом феодальной страной. Феодализм, по его мнению, не сложился здесь в систему, поскольку дворянство не имело своей корпоративной организации, а его права и обязанности по отношению к своим подданным не были закреплены законодательно, как в странах Западной Европы. В результате поместное дворянство в России, считает он, не являлось автономным фактором, влияющим на историю своей страны. Существовала ситуация, когда ни одна социальная группа не обладала политической властью, безраздельно принадлежавшей царю².

Аналогичную позицию занимает Р. Пайпс. Вопреки действительным общеизвестным фактам он утверждает, что в России вообще не существовали «элементы», которые определяли на Западе суть феодального строя (политическая раздробленность, вассалитет, условное землевладение). Если же таковые и имелись, то в ином историческом контексте они выступали в совершенно видоизмененной форме и приводили в результате к принципиально другим отношениям³. Как бы заключая все эти рассуждения, Б. Вольф пишет: «Россия знала длительное всеобъемлющее крепостничество, но не феодализм»⁴.

Представление о том, что в России не было феодализма, является в настоящее время господствующим среди историков Запада. В лучшем случае, как отмечает немецкий историк-марксист Г. Фойгт, они допускают возможность говорить лишь о феодализме «особого русского типа», в котором при соизмерении с западной моделью различия «по меньшей мере перевешивают сходство»⁵.

Рассмотренные взгляды убеждают, что общим для буржуазных исследователей является понимание феодализма не как особой социально-экономической формации с присущей ей формой собственности и соответствующими производственными отношениями, но как своеобразной политической системы с характерной для феодальных обществ стран Западной Европы иерархической социальной структурой⁶. Таким образом, здесь отрицается вообще наличие социально-экономической формации как таковой и в результате оказывается несостоятельной сама методологическая основа, на которой строятся все эти рассуждения.

В основе такого понимания феодализма лежит признание в качестве детерминанты исторического развития политического фактора. Правящая власть выступает как некая неизменяющаяся вневременная структура, определяющая собою исторический процесс со всем присущим ему национальным своеобразием. Такой подход полностью согласуется с характерной для «евразийской» теории гипертрофией места и роли самодержавной власти в истории России и всецело укладывается в

¹ *Seton-Watson H.* The Russian Empire. 1807–1917. Oxford, 1967. P. 12.

² *Ibid.*

³ *Pipes R.* Russia under the Old Regime. P. 50.

⁴ *Wolf B.* Backwardness and Industrialization in Russian History and Thought. P. 181.

⁵ *Voigt G.* Historiographie und «Kommunismusforschung». Zur Darstellung der Geschichte der UdSSR in der bürgerlichen Literatur der BRD // *Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*. 1976. № 5. S. 510.

⁶ Распространенность такого понимания феодализма в американской историографии подтверждается обсуждением докладов на встрече советских и американских историков, состоявшейся в августе 1975 г. в Стенфордском университете (см.: *Тихвинский С.Л.* Второй советско-американский colloquium историков // *Вопросы истории*. 1975. № 1. С. 174–175).

рамки традиционного понимания буржуазной социологией развития общества как эволюционного процесса хозяйственных изменений в производстве материальных благ, при котором теряется грань между социально-экономическими процессами и политическими переворотами.

Основные вехи господствующей в буржуазной литературе трактовки движущих сил русской истории сводятся к следующему. Давящий режим авторитарной власти, проникнув во все поры общественного организма, извратил социально-политическую историю страны. Народ и государство превратились в две противоположные, вечно враждующие между собою силы. Нарушился гармонический ход поступательного развития страны. Она оказалась оторванной от демократических идеалов и институтов Запада, миновав в своей истории не только феодальную, но и капиталистическую стадии в их классическом западном проявлении. Самодержавие стало единственным творцом и регулятором имевших место в стране общественно-политических процессов, нарушив их естественноисторический ход¹. Создалась ситуация, когда вместо организованного общества, разделенного на отдельные автономные социальные группы, как это было на Западе, в России автократии противостояла бесформенная в социальном и культурном отношении масса², оказавшаяся не в состоянии хоть в какой-то степени ограничить политическую власть³.

В результате согласно утвердившейся в буржуазной историографии схеме гипертрофия политической власти в России привела к тому, что «причинные отношения» оказались здесь «перевернутыми». В то время как на Западе социально-политическая система была порождением «автономного развития» общества, в России, напротив, само государство создавало условия экономического роста, культурного и политического развития страны⁴. Следствием этого явилась-де «упрощенность» ее социальной структуры в отличие от сложных «плюралистических» обществ Западной Европы.

Основой подобного рода выводов является присущее буржуазной историографии вообще, в том числе русской дореволюционной буржуазной историографии, непонимание классовой сущности государства, трактовка его в качестве некоей самодовлеющей силы, способной к саморазвитию и самодвижению, что, по мнению рассматриваемых авторов, и нашло свое законченное выражение в Русском государстве в связи с его национальным своеобразием и спецификой его истории.

Сведение основного отличия русского социально-политического устройства к разделению на две главные составляющие его структуры («государство» и «общество») и соответствующая интерпретация русской истории как непрекращающейся вражды между ними привели буржуазных исследователей к выводу об особой, присущей только России «преемственности» ее истории. В настоящее время этот тезис приобретает все большую значимость в рассматриваемой нами историографии, получив здесь дальнейшее развитие и вылившись в особую концепцию, явившуюся одним из вариантов теоретического обоснования главного вывода «евразийства» об исключительности исторического пути развития России.

Появившись еще в 40-е гг. в качестве дополнения и продолжения давно утвердившегося в буржуазной исторической мысли Запада тезиса об особых исторических судьбах России и русского народа, концепция «преемственности» восходит своими истоками к «веховской» идеологии и встречает затем рьяных проповедников и защитников в лагере белоэмигрантов, стремившихся «объяснить» с помощью

¹ *Anderson Th.* Russian Political Thought. An Introduction. N. Y., 1967. P. 64; *Fainsod M.* How Russia is Ruled. Cambridge, 1963. P. 5.

² *Roos H.* Verhältnis von Autokratie und Anarchie als universalhistorisches Problem // Probleme der Geschichtswissenschaft. Düsseldorf, 1973. S. 83.

³ *Pipes R.* Op. cit. P. XXI.

⁴ *Janos A.* The Communist Theory of the State and Revolution // Communism and Revolution / Ed. by C. Black, Th. Thornton. Princeton, 1964. P. 32.

этой концепции возникновение «большевизма». Известный меньшевик Ф. Дан утверждал, например, что большевизм явился «естественным продуктом» борьбы русской интеллигенции предшествовавших этапов и законным преемником ее идейно-теоретического наследия¹. Трактуя революционно-демократическое движение в качестве чисто интеллигентского, с четко проявившейся в нем психологией «отщепенства», отражавшей социальное положение разночинца, меньшевистские авторы пытались доказать заговорщический характер идеологии и политической практики большевизма².

Современная английская и американская буржуазная историография ставит более широкую задачу, стремясь доказать также, что советский социально-политический строй не несет в себе ничего принципиально нового, а является прямым наследником и продолжателем самодержавного режима царской монархии. В предисловии к сборнику статей «Преемственность и изменения в русской и советской мысли» американский исследователь Д. Симмонс пишет: «Идея советской власти совершенно определенно уходит своими корнями в прошлое России»³. Его коллега Р. Дэниелс считает не более как «идеологическим мифом» вывод о том, что советский социалистический строй есть нечто совершенно иное в сравнении с общественным порядком дореволюционной России⁴. «Современная Россия, как и любая другая страна, – повторяет эту же мысль профессор Монтанского университета М. Уорен, – не может стереть с себя отпечаток прошлого»⁵.

В основе этих утверждений лежит признание значительной роли специфических национальных черт в жизни каждой страны. «В истории нет ничего «неизбежного», кроме того, что люди ведут себя всегда в соответствии с их традициями, привычками и осознанными предрассудками», – утверждает известный английский антикоммунист Л. Шапиро в предисловии к книге Ф. Дана «Происхождение большевизма»⁶.

Это положение является исходным в обосновании идеи определяющего влияния на судьбы России традиций, рожденных национальным своеобразием страны. Согласно их утверждениям наиболее яркой специфической чертой русской истории явилась необычайная стабильность основных социально-политических учреждений и связанных с ними отношений. Роль национальных традиций была, по их мнению, в России так велика, что обусловила фактически равнозначность всех периодов ее истории⁷.

Подменяя понятие исторической закономерности субъективно-идеалистическими рассуждениями на тему о специфических чертах русской нации, рассматриваемые авторы видят их истоки в авторитарной форме политической власти в России, обусловившей своеобразие общественного устройства страны. В их трактовке самодержавие выступало в качестве главного стержня, вокруг которого вращалась жизнь всех слоев и групп населения страны по раз и навсегда установленным им канонам. И поскольку этот порядок оставался неизменным (его стабильность определялась постоянством цели – сохранить незыблемым авторитарный строй), постольку сама общественная жизнь не могла качественно изменяться в своем содержании,

¹ Dan Th. The Origin of Bolshevism. London, 1964. P. 4.

² Л.И. Аксельрод называла революционных народников «фанатиками-сектантами» (см.: Аксельрод Л.И. Из моих воспоминаний о Г.В. Плеханове // Под знаменем марксизма. 1922. № 5–6. С. 80).

³ Continuity and Change in Russian and Soviet Thought. Cambridge, 1955. P. 5. (В сборнике помещены материалы конференции по вопросам русской дореволюционной и советской мысли, состоявшейся в 1954 г. в Арден-Хайсе, США).

⁴ Daniels R. Russia. Englewood Cliffs, 1964. P. 26.

⁵ Wren M. The Course of Russian History. N. Y., 1958. P. XVIII.

⁶ Dan Th. Op. cit. P. XII.

⁷ Подробнее о сути концепции «преемственности» см.: Данилова Л.В., Марушкин Б.И., Панкратова М.Г. Буржуазные историки на службе антикоммунизма. М., 1962. С. 8; Марушкин Б.И. История и политика. С. 119.

представляя собой лишь процесс количественных сдвигов и продолжая передавать из поколения в поколение веками сложившиеся принципы, традиции и институты.

Таким образом, специфика общественного развития России в изображении буржуазных авторов заключалась в том, что политическая власть здесь с самого начала оказалась единственной творящей силой исторического процесса, главным источником всех внутригосударственных изменений. Неизбежным логическим следствием сложившихся условий была якобы особая, свойственная только России устойчивость общественно-политических учреждений, установлений и обычаев, сохранившихся, несмотря на бурные перемены, хаотические перевороты и неожиданные нововведения¹.

Кроме того, и это особо выделяется в качестве главного конституирующего элемента преемственности процесса исторического развития России, прямым логическим результатом гипертрофии политической власти явилось то, что принципы авторитарной идеологии должны были обрести и действительно обрели доминирующее влияние на всю общественную жизнь. Естественно, что в этих условиях наиболее прочная преемственность укоренившихся традиций сложилась в политическом мышлении страны. Это нашло свое выражение, по мнению рассматриваемых историков, в том прежде всего, что автократия как политическая форма пользовалась наиболее широкой поддержкой среди не только консервативно, но и либерально настроенных слоев и элементов общества. Особенно это характерно, как утверждается, для России пореформенного периода, когда правительственная программа реформ в сильной мере содействовала поступательному социально-экономическому развитию страны и поэтому, как заявляет, в частности, американский исследователь Ц. Блэк, никакая другая политическая альтернатива, кроме автократии, не пользовалась широкой поддержкой². По мнению Р. Пайпса, высказанному им в докладе на XIII Международном конгрессе историков в Москве, авторитарная идеология, оформившаяся в Русском государстве в XV в., «приобрела доминирующую роль и влияние в политическом мышлении и практике России» в последующее время³.

Вывод сторонников концепции «преемственности» о том, что в самодержавной России с ее господством принципов авторитарной идеологии наиболее прочная преемственность национальных традиций существовала в общественно-политической мысли, которая и обусловила непосредственно преемственность различных этапов истории страны, особенно отчетливо раскрывает методологический характер самой концепции. Она дает буржуазным авторам возможность в противовес марксистскому диалектическому пониманию взаимоотношений теоретического идеала и действительности трактовать рождение и развитие революционной идеологии как простую филиацию идей. В результате революционное движение отнюдь не являлось, в их трактовке, следствием реальных социальных процессов, а революционные концепции соответственно не были теоретическим выражением осознания революционными мыслителями классовых противоречий и конфликтов. Они изображаются в качестве облеченных в авторитарную форму чувств и настроений, отчужденных от господствовавшего режима и общества и в силу этого утративших психологическое равновесие слоев интеллигенции.

¹ Szamuely Th. Op. cit. P. 6.

² Ц. Блэк утверждает, что даже накануне 1917 г. в России «...баланс внутреннего политического опыта сильно перевешивал в сторону тех лидеров, которые предпочитали следовать авторитарным методам управления», и поэтому «никакая другая альтернатива не имела столь широкой опоры» (*Black C. No Political Alternative to Autocracy had Adequate Support // Imperial Russia After 1861. Boston, 1965. P. 96*).

³ Pipes R. Russian Conservatism in the Second Half of the Nineteenth-Century. Moscow, 1970. P. 1. Следует добавить, что здесь же усматриваются корни традиционного крестьянского монархизма (см.: Gleason A. Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860-s. N.Y., 1980. P. 6).

Убедительным подтверждением такого понимания сути революционных процессов являются рассуждения А. Тойнби о содержании понятий «пролетариат» и «пролетаризация». Расширительно трактуя пролетариат как неоднородную социальную сферу, включающую представителей всех слоев населения¹, он считает, что роль пролетариата и его революционный настрой определяются вовсе не положением его в системе производственных отношений, а «чувством обиды», вызванным осознанием духовной и психологической отчужденности от своего наследственного места в обществе, чувством своей неустроенности в существующей социальной системе².

Следуя логике этих построений, революционеры выступают как личности, лишившиеся правильной моральной ориентации и вычеркнувшие себя из сферы полезной созидательной деятельности, что неизбежно приводит их к саморазрушению. Мысль эта особенно рельефно выражена в словах Ю. Мэтвина. «Революционный радикализм, – пишет он, – разрушает созидательную способность человека и саму его природу как существа мыслящего»³.

Концепция «преемственности» и трактовка взаимоотношений общества и государства в русском историческом процессе, как и все другие теоретико-методологические модели и схемы буржуазных историков, ставящие своей целью «раскрыть характер» русской истории, закономерности и своеобразие ее общественно-исторических процессов, имеют, кроме того, выраженную идеологическую антисоветскую направленность. При этом они призваны раскрыть с классовых позиций буржуазии тот главный механизм, который, по мнению авторов, обеспечивал историческое развитие общества в принципиально своеобразных условиях авторитарной страны, какою была Россия.

В этом контексте концепция «преемственности» является прямым продолжением и развитием «евразийской» теории, как и она, ставит своей задачей доказать полное отсутствие объективной почвы и даже каких-либо побудительных мотивов для формирования в России демократических традиций. Данный мотив являлся ведущим в период «холодной войны» и повторяется в работах последних лет. Как утверждает, например, Э. Крэнкшоу, автократическая система власти с течением времени настолько развратила русское общество, что стала ему уже просто необходимой⁴.

Наиболее явственно эта целевая заданность концепции проявляется в попытках ее приверженцев обосновать тезис о том, что в самодержавной России идеология и методы борьбы революционной интеллигенции явились зеркальным отражением принципов, свойственных авторитарной власти. В их освещении суть дела заключалась в том, что самодержавие, обращаясь к насильственным авторитарным методам управления, неизбежно порождало адекватную реакцию оппозиционно настроенной общественно-политической мысли. Общеизвестно, утверждает, например, американский исследователь М. Фейнсод⁵, что в авторитарной политической системе оппозиция склонна к подражательству режиму, которому она противостоит. Непримируемость власти в политике порождает ту же бескомпромиссность в мысли, авторитарное управление приводит к авторитарному противодействию⁶. В ко-

¹ Тойнби зачисляет в ряды пролетариата и всю русскую интеллигенцию, в той или иной степени оппозиционно настроенную к царизму (см.: *Toynbee on Toynbee*. P. 94, 95).

² Ibid. P. 93–96.

³ *Methvin E.* Op. cit. P. 6.

⁴ *Krankshov E.* The Shadow of the Winter Palace. The Drift of Revolution. 1825–1917. London, 1976. P. 39, 43.

⁵ Известный на Западе политолог, специалист по истории России. Был президентом Американской ассоциации политических наук и в 60-е гг. директором Русского исследовательского центра Гарвардского университета.

⁶ *Continuity and Change in Russian and Soviet Thought*. P. 173.

нечном же счете, как считает Б. Вольф, революционное движение оказывается «столь же экстремистским», как и весь самодержавный строй¹.

Таким образом, говоря словами М. Фейнсода, в лице революционеров самодержавие «породило своих авторитарных антиподов и наделило их собственным специфическим контуром»². К доказательству данного положения сводятся содержание и выводы большей части исследований буржуазных авторов, посвященных истории русского революционного движения. Отталкиваясь от мысли о преемственности идейно-теоретических и политических традиций, они пытаются доказать, что принципы авторитарной идеологии и власти, отразившись в революционно-демократическом движении и затем в ленинизме, нашли практическое воплощение в деятельности Советского государства. Обосновывая этот вывод, буржуазные авторы тщатся опровергнуть положение, что Советское государство заключает в себе совершенно новый порядок, понять который можно, изучая лишь его настоящее и историю с 1917 г. Серьезный подход к вопросу, считают они, немыслим без исследования отдаленного прошлого России³.

Действительный политический смысл такого рода изысканий со всей определенностью раскрывается Р. Пайпсом. Во введении к уже рассматривавшейся нами работе «Россия при старом режиме» он пишет, что руководствовался поисками «корней тоталитаризма» XX в., которые-де и были обнаружены им в политической истории России⁴. Заявление Пайпса убедительно раскрывает политическую подоплеку концепции «преемственности». Она призвана теоретически обосновать пропагандистский тезис о «тоталитарном» характере советской политической системы, представить ее в качестве законной наследницы авторитарной царской монархии⁵. Американский исследователь Т. Андерсон утверждает, например, что диктатура пролетариата вернула Советскую Россию к царским временам, приведя к глубокой пропасти между народом и правительством⁶. Профессор Оксфордского университета Б. Сэмнер выделяет ряд черт, будто бы роднящих советский строй с режимом самодержавной монархии. Это – большая централизация власти, необычайно широкая сфера деятельности государства, разросшаяся бюрократия и широкое использование силы⁷. Несмотря на бурные эксперименты предшествовавших десятилетий, продолжает эту мысль Р. Дэниэльс, «в историческом, культурном, демографическом и географическом» отношениях Советская страна остается той же крупной мировой державой, какой была Российская империя⁸.

Как явствует из всего сказанного, этот итоговый вывод зиждется на общепринятой в буржуазной историографии посылке об определяющей роли автократии в исторических судьбах России. В ее построениях самодержавие несет на себе всю тяжесть вины за осуществление Октябрьской революции: закрыв обществу дорогу к легальной деятельности и реформам, оно тем самым открыло путь революционным преобразованиям. «История есть движение, – пишет М. Фейнсон, аргументируя данное положение, – и правительства, избегая его завихрений, должны уметь склоняться перед штормами, которые они уже не в состоянии предупредить»⁹.

¹ Wolf B. Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought. P. 178.

² Fainsod M. How Russia is Ruled. Cambridge, 1963. P. 3.

³ Wren M. The Course of Russian History. N. Y. 1958. P. XVIII.

⁴ Pipes R. Russia under the Old Regime. P. XXI.

⁵ Подробнее о теории «тоталитаризма» см.: Марушкин Б.И. Советология: расчеты и просчеты. С. 105–107; Шумова В.А. Эволюция доктрины тоталитаризма в социологии США в 1960–1970-х гг. // Методологические проблемы науки. Томск, 1978. С. 135–142.

⁶ Anderson Th. Russian political Thought. N. Y., 1967. P. 369.

⁷ Sumner B. Survey of Russian History. Duckworth, 1945. P. 57.

⁸ Daniels R. Russia. P. 26.

⁹ Fainsod M. How Russia is Ruled. P. 36.

Все разновидности концепции «преемственности» сводятся в конечном счете к этому заключению. Различия проявляются лишь в том, что считать первостепенной причиной, обеспечивающей главный механизм преемственности в русской истории, а именно преемственность общественной мысли. Старые догмы, выразившиеся в попытках усмотреть его основу в особом психологическом складе «русской души», проявлявшемся в ее творческой лени, склонности к подчинению авторитетам, закономерно вызывают к себе все более скептическое отношение. Такой взгляд на русскую историю, как замечает М. Фейнсон, является хотя и модным, но весьма «поверхностным». По его мнению, проблема слишком сложна, чтобы ее можно было решить с помощью «впечатляющих суждений» о русском национальном характере. Рамки анализа преемственности, считает он, должны включать также отличительные черты законодательства, способствовавшие тому, что народ России был плохо подготовлен к самоуправлению¹.

Мы видим, что критические замечания М. Фейнсона сводятся фактически к требованию более полного выявления аспектов влияния самодержавия на всю последующую общественно-политическую историю страны. Заметно возросший в последние годы интерес к истории русской бюрократии и ее отношений с правительственной властью обусловлен именно этой целью. Появившиеся по данной теме работы представляют собой поиски более убедительной аргументации тезиса об определяющей роли автократии в прошлой и настоящей истории страны².

Все рассмотренные построения буржуазных авторов убедительно свидетельствуют, что главная политическая задача, которую призвана решить концепция «преемственности», состоит в том, чтобы нейтрализовать притягательную силу примера Октябрьской революции и Советской власти³.

Многочисленные попытки доказать, что установленный в результате революции социально-политический строй не является радикальным отрицанием существовавшего ранее порядка, и поэтому все достигнутые перемены могут быть осуществлены в ходе мирных преобразований, непосредственно связаны с решением этой задачи. Есть и другая, более общая цель – дискредитировать революцию как метод решения социальных проблем путем доказательства того, что Октябрьская революция должна была привести и привела к установлению антидемократического «тоталитарного» строя⁴.

Обе задачи взаимно дополняют друг друга. Игнорируя коренное различие сущности и роли государства в капиталистическом и социалистическом обществе и обосновывая по аналогии с крайними формами диктатуры империалистических держав тезис о «тоталитарном» характере Советского государства, теория «тоталитаризма» и связанная с нею концепция «преемственности» отрицают смысл революции как радикального качественного скачка. Они ограничивают задачу революционных преобразований лишь сферой политических или правовых отношений⁵ и пытаются обосновать вывод о том, что все революции неизбежно приводят к установлению «тоталитарных» режимов.

¹ Fainsod M. How Russia is Ruled. P. 3–4.

² См., напр.: Keep J. Light and Shade in the History of the Russian Administration // Canadian Slavic Studies, 1972. Vol. 6, № 1. P. 1–9; Torke H. More Shade than Light // Ibid. P. 10–12.

³ Эта задача не перестает быть актуальной, поскольку осуществленная в Советском Союзе «программа модернизации ... имеет значительное влияние на другие страны» (Black C. Revolution, Modernization, and Communism // Communism and Revolution. The Strategic Uses of Political Violence. Princeton, 1964. P. 14).

⁴ По утверждению советологов, все революции «неизбежно» разрушают «согласие, необходимое для порядка в обществе», и «требуются большие усилия, чтобы узаконить политику победителей». Кроме того, революции всегда имеют тенденцию становиться предметом спора в международных отношениях (см.: Black C. Revolution, Modernization, and Communism. P. 4).

⁵ Как убедительно показал Ю.А. Красин, в этом состоит главный смысл современной буржуазной «социологии революции» (см.: Красин Ю.А. Революцией уstraшенные. М., 1975. С. 35).

Идеологическая направленность концепции «преемственности» выступает здесь в столь откровенно неприкрытой форме, что вызывает серьезные сомнения в ее научной значимости даже в среде американских советологов. Один из них, Г. Роберте, считает, что идея «преемственности» представляет собою «не более чем искусную формулу, предназначенную для того, чтобы избежать серьезного размышления»¹.

Критическое отношение к концепции «преемственности» является следствием нарастающего в западной историографии хора голосов, выражающих неудовлетворенность моделью «тоталитаризма». Все большее число исследователей сознает, что действительная реальность социалистической системы не вменяется в ее концептуальные рамки.

Убедительным доказательством растущего неприятия теории «тоталитаризма» является симпозиум, проведенный в 1967 г. журналом «*Slavic Review*»². Принявший в нем участие известный антикоммунист А. Мейер³ был вынужден признать, что «некоторые черты», свойственные современной социалистической системе, в большей мере «ассоциируются с демократическим образом жизни, нежели с тоталитарной или бюрократической моделью»⁴. Тоталитарная модель признается некоторыми авторами слишком «статичной», чтобы адекватно объяснить «коммунистический мир».

Вместе с тем, доказывая ее «полезность» в прошлом и полагая, что в настоящее время нужна более «динамическая» концепция, буржуазные авторы вовсе не считают, что она полностью утратила свою функциональную роль и должна быть немедленно упразднена⁵. По мнению некоторых из них, общественные науки Запада еще не достигли стадии, на которой можно было бы отказаться от тоталитарной модели, и поэтому она должна быть сохранена по крайней мере до тех пор, пока не будет создано «что-нибудь» лучшее или не произойдут более «значительные перемены» в странах социализма⁶. Любопытно звучит при этом замечание, что если исследователи всерьез хотят подвинуться в изучении социалистических стран, новая модель должна включить в себя теорию «экономического детерминизма»⁷.

Это признание есть не что иное, как симптом утверждения другого, становящегося все более популярным на Западе направления в исследовании истории России – технико-экономического детерминизма. Суть его (наиболее систематически выраженного в «теории стадий» У. Ростоу) заключается в отведении первенствующей роли в историческом развитии не политической надстройке, а процессу «модернизации», трактуемому в последнее время все более расширительно как универсальное обновление экономических, социальных и политических структур⁸. Отразив неудовлетворенность тоталитарной моделью, оно воплотило в себе поиски развития, альтернативного революционному пути. Конечная цель теории «модернизации» та же, что и теории «тоталитаризма», – извратить значение социалистической революции в России. Ставя на первое место в истории процесс индустриализации и

¹ Марушкин Б.И. Советология: расчеты и просчеты. С. 33.

² См.: *Slavic Review*. 1967. Vol. XXVI, № 1. P. 1–28, 302–308.

³ Профессор политических наук, известный двоими антикоммунистическими взглядами. Был руководителем группы по изучению истории КПСС при Колумбийском университете. Автор трилогии «Марксизм» (1954), «Ленинизм» (1957), «Коммунизм» (1960) и целого ряда работ по истории России.

⁴ Meyer A. The Comparative Study of Communist Political System // *Slavic Review*, 1967. Vol. XXVI, № 1. P. 5.

⁵ См., напр.: Jacobs D. Area Studies and Communist System // *Slavic Review*. 1967. Vol. XXVI. № 1. P. 18; Sbarlet R. Systematic Political Science and Communism System // *Ibid*. P. 26.

⁶ Hollandes P. Observation on Bureaucrasy, Totalitarianism, and Comparative Study of Communism // *Slavic Review*. 1967. Vol. XXVI, № 1. P. 303–305.

⁷ *Ibid*. P. 307.

⁸ См.: Кругина Т.Д. Теория «модернизации» и некоторые проблемы развития России конца XIX – начала XX в. // История СССР. 1971. № 1. С. 191–205.

«модернизации», ее сторонники пытаются изобразить социалистическое строительство как простую имитацию западного пути.

В рассматриваемой нами историографии поддержка этого направления выразилась в неожиданной вспышке интереса к реформам Петра I, в преобразовательной деятельности которого усматриваются истоки «модернизации» России. Свидетельством этого интереса являются проведенная в ноябре 1972 г. Чикагским университетом конференция по теме «Петр I и его наследие», а также специальный выпуск журнала «*Canadien Slavic Studies*» (1974, № 2), посвященный широкому кругу связанных с политикой Петра I проблем¹, и сборник, включивший ранее опубликованные статьи об экономическом развитии России от петровских времен до современности, под редакцией американского специалиста в области русской промышленности У. Блэквэла².

Обращает на себя внимание стремление представить политику Петра I как закономерный этап в общем курсе «модернизации» страны. Заслуга Петра I усматривается в том прежде всего, что своим энтузиазмом и энергией он пробудил желание и возможности людей действовать в поддержку и продолжение начатой им работы, создав тем самым «психологические основания» для развития экономики своего времени³. Положенные им начала были заторможены в своем развитии сложившимися в результате монгольского влияния административно-политическими институтами и социальной структурой, хотя последние не прервали совершенно общий процесс начавшейся «модернизации». С новой силой и на новой основе он продолжался после буржуазных реформ 2-й половины XIX в. и особенно широко развернулся во времена деятельности Витте⁴. Новый период русской истории, начавшийся после Первой мировой войны и Октябрьской революции, согласно этой схеме, характеризуется продолжением курса индустриализации, основы которого были заложены в царской России⁵. Особенность процесса «модернизации» в России в отличие от западных стран усматривается в том, что в силу исторической отсталости страны он обошелся ей слишком дорогой ценой.

Как видно из этого краткого абриса сути направления технико-экономического детерминизма в исследовании русской истории, оно, несомненно, вобрало в себя некоторое влияние марксистской методологии и новейших исследований советских авторов, проявившееся в обращении к явлениям базисного порядка. Однако и здесь мы видим стремление представить исторический процесс прежде всего как следствие целенаправленной деятельности политической власти – вывод, сближающий между собою теорию «модернизации» и «тоталитарную» модель и дающий возможность сторонникам нового направления использовать концепцию «преемственности» в качестве своей теоретической основы.

Таким образом, концепция «преемственности» не исчерпала своей функциональной роли. В настоящее время она является своего рода связующим звеном между направлениями политического и технико-экономического детерминизма, возмещающая в известной степени недостаток в интегрирующей теории, так остро ощущаемый сейчас в буржуазной историографии.

Все это лишний раз раскрывает политическую подоплеку этой концепции. Делая глубокое внутреннее родство качественно различных общественно-политических систем – советской социалистической и дореволюционного строя и

¹ *Canadien Slavic Studies*. 1974. Vol. 8, № 2. Special Issue: The Reign of Peter I. P. 173–303.

² *Russian Economic Development from Peter the Great to Stalin*. N. Y., 1974.

³ *Blanc S.* The Economic Policy of Peter the Great // *Russian Economic Development from Peter the Great to Stalin*. N.Y., 1974. P. 49.

⁴ *Blackwell W.* Introduction // *Russian Economic Development from Peter the Great to Stalin*. N.Y., 1974. P. XXI–XXV, XXVIII.

⁵ *Ibid.* P. XXIX, XXXIV.

отрицая тем самым смысл революции как радикального качественного скачка, она призвана дискредитировать революцию как метод решения социальных проблем.

Вместе с тем было бы упрощением объяснять происхождение и смысл концепции «преемственности» только с точки зрения ее политической заданности. Она представляет собой одну из многочисленных попыток объяснить суть исторического процесса, механизм его движения и в этом смысле заключает в себе поиски методологического плана, отражая характерные для современной буржуазной историографии ненаучные представления.

В результате же и сейчас с помощью концепции «преемственности» обосновывается в духе «евразийской» теории старый тезис о России не только как отсталой стране в сравнении с европейскими странами, но и как о некоей еще не разгаданной, но мощной злой силе, противостоящей «демократическому» Западу. Этот вывод призвана обосновать и вся соответствующим образом интерпретируемая буржуазными авторами история русского революционно-демократического движения.

ГЛАВА II. РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И МЫСЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

1. Проблема социальной природы и национального своеобразия русской революционно-демократической интеллигенции

Исходным положением в освещении современными буржуазными авторами русского революционно-демократического движения является тезис о коренном своеобразии русской интеллигенции как следствии специфики исторического развития страны.

Постулируя в духе «евразийской» теории вывод об уникальной форме политической власти и своеобразной социальной структуре России, исследователи приходят к заключению, что ее история, по крайней мере со времени правления Петра I, являла собою борьбу двух сугубо национальных, присущих только данной стране традиций – государственной и революционной¹.

Суть первой заключалась в гипертрофии правящей власти, воплотившей в себе тип «вотчинного» государства, или род восточной деспотии. Другая нашла свое выражение в действиях интеллигенции, оказавшейся с самого начала оппозиционной по отношению к правящей власти группой и использовавшей в своих действиях столь же экстремистские методы, что и правительство². Борьба этих двух традиций и обусловила, по мнению рассматриваемых историков, содержание и основное своеобразие русского общественного движения и роль в нем революционной интеллигенции.

При таком освещении особенностей русской истории, когда анализ классовых антагонизмов подменяется рассуждением о неких абстрактных противоречиях ме-

¹ Следует отметить, что традиция рассматривается буржуазными историками как «наиболее важное» проявление социального и культурного опыта, как «самый прочный элемент в общесоциальной культурной конструкции реальности» (см.: *Eisenstadt S. Intellectuals and Tradition* // *Daedalus*. 1972. Vol. 101, № 2. P. 3).

² См., напр.: *Daniels R. Lenin and the Russian Revolutionary Tradition* // *Russian Thought and Politics*; *Pravdin N. The Unmentionable Nechaev. A Key to Bolshevism*. London, 1961; *Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia* // *The Slavic and East European Journal*. 1957. Vol. 1, № 1; *Szamuely Th. The Russian Tradition*. London, 1974.

жду государством, с одной стороны, и революционной интеллигенцией – с другой (народу же при этом отводится роль лишь пассивного стороннего наблюдателя, чьи симпатии и расположение были явно на стороне правящей власти), перед буржуазными авторами неизбежно вставали вопросы: что же такое русская радикальная интеллигенция, какова ее социальная природа, в чем заключалось и на чем основывалось ее кредо, определившее смысл всех ее идейно-теоретических и практических революционных исканий.

В современной английской и американской, как и во всей буржуазной историографии, существует множество определений русской революционной интеллигенции¹. Все они представляют собой, как правило, разного рода спекулятивные, лишённые объективной научной основы, чисто умозрительные построения, неспособные раскрыть действительную природу интеллигенции и дать ей правильное научное определение как социальной группы со всеми вытекающими из ее сущностных черт характеристиками. При этом ведущей тенденцией с давних пор является стремление «психологизировать» свойственные интеллигенции качества, вывести их из «угнетающего чувства» ее социальной и политической изоляции.

Согласно давно утвердившейся и вплоть до последнего времени являвшейся в буржуазной историографии доминирующей схеме русская интеллигенция была не следствием естественноисторического развития страны, но побочным продуктом ее «вестернизации». Будучи наиболее европеизованным слоем русского общества, она, по мнению рассматриваемых авторов, с самого начала оказалась в положении обособленной социальной группы, изолированной от масс и враждебно настроенной к правительству, поскольку-де уже само приобщение ее к западному «стилю образования» и культуре несло в себе критический заряд по отношению к отсталой социально-политической системе страны². Наличие же в России самодержавной власти с ее презрением к закону и правопорядку еще более усилило отчуждение интеллигенции, полностью отстранив ее от участия в общественно-политической жизни страны³.

Положение отчужденной от общества и государства социальной группы, в котором, по общему признанию буржуазных исследователей, оказалась с самого начала русская интеллигенция, придавало ей особую, уникальную индивидуальность, непохожесть на подобные ей социальные группы в остальных странах мира⁴. Это своеобразие русской интеллигенции заключалось в том прежде всего, что она, не будучи результатом органического процесса исторического развития своей страны, оказалась группой, не связанной никакими социальными критериями – юридическим статусом, собственностью, рождением или сословно-классовыми привилегиями (и потому в своих идейных устремлениях не нуждалась в поддержке ни «властей», ни «народа», ни «какого-либо другого Молоха»)⁵. Естественно, что логическим следствием такого положения явилось стремление ее к радикальному переустройству общественной системы. Чтобы преодолеть свою изоляцию и вписаться в существовавшую социальную структуру, интеллигенция должна была попытаться изменить ее, поэтому самой яркой специфической характеристикой русской интеллигенции, определившей все другие свойственные ей черты, была, как

¹ Автор статьи об интеллигенции в энциклопедии «Марксизм, коммунизм и западное общество» западногерманский исследователь К. фон Бейме насчитывает к началу 70-х гг. более шестидесяти имеющихся в западной литературе различных определений интеллигенции (см.: *Beyme K. von. Intellectuals, Intelligentsia // Marxism, Communism, and Western Society*. N. Y., 1972. Vol. 4. P. 301).

² См., напр.: *Seton-Watson H. The Russian Empire. 1901–1917*. Oxford, 1967. P. 226; *Keep J. The Rise of Social-Democracy in Russia*. Oxford, 1963. P. 11.

³ *Fainsod M. How Russia is Ruled*. Cambridge, 1963. P. 5.

⁴ *Haimson L. The Russian Marxism and the Origin Bolshevism*. Cambridge, 1955. P. 5.

⁵ *Szamuely Th. The Russian Tradition*. London, 1974. P. 144; *Nagirny V. The Russian Intelligentsia: from Men of Ideas to Men of Convictions // Comparative Studies in Society and History*. 1962. Vol. IV, № 4. P. 408.

утверждают буржуазные авторы, ее изначальная приверженность к революционному способу социального действия. Стремление к революции становится, по их мнению, смыслом всего существования интеллигенции с момента осознания ею себя в качестве определенной социальной общности.

Другими словами, русская интеллигенция уже с самого своего появления формируется как революционная сила, стремящаяся к насильственному ниспровержению существовавшего порядка. Являясь социально отчужденной и потому оторванной от практической общественной деятельности группой, а также будучи полностью лишенной каких-либо материальных целей и интересов, она, согласно утверждению рассматриваемых исследователей, выступала всегда лишь орудием разрушения, а не созидания и тем самым полностью утратила «способность действовать для общества»¹.

Таким образом, все без исключения буржуазные исследователи сходятся в том, что в силу своеобразия социального статуса русской интеллигенции ее неотъемлемой органической чертой была приверженность к революции. Сам термин «интеллигенция» вплоть до последнего времени считался в буржуазной историографии специфически русским термином и использовался авторами в качестве синонима для обозначения деятелей лишь радикального слоя². Так, Т. Самуэли утверждает, например, что русская интеллигенция с самого начала сложилась как сила разрушительная и представляла собой единственную в Европе социальную группу, преданную в нескольких поколениях идее революции, являвшейся для нее главной целью и смыслом всего существования³. Как группу, обладавшую «специфическими взглядами, направленными на ликвидацию существовавшей системы», «фанатично преданную делу революции», характеризуют интеллигенцию и другие авторы⁴.

Трактовка русской интеллигенции в качестве уникальной социальной общности, которая самым ходом истории своей страны была обречена на революционную борьбу, как единственно возможный в национально своеобразных условиях способ политической деятельности и самого ее существования, появилась в буржуазной историографии со времени Октябрьской революции и все более утверждалась в последующее время. Такой подход наилучшим образом отвечал классовым целям империалистической буржуазии. Освещая Октябрьскую революцию как прямой результат деятельности интеллигенции (специфически национальной социальной группы), он в то же время призван был обосновать вывод о невозможности революции в других странах.

В настоящее время, однако, такая характеристика русской интеллигенции уже не кажется самым буржуазным идеологам вполне исчерпывающей и убедительной. В условиях роста революционного движения во всем мире приверженность к революционным методам решения общественных проблем не может быть безоговорочно принята в качестве специфической черты, присущей лишь русской интеллигенции, и служить достаточным основанием для определения ее как национально своеобразной группы. Являясь слишком общим, не выражающим конкретного

¹ *Tidmarsh K. Lev Tichomirov and a Crisis of Russian Radicalism // The Russian Review. 1961. Vol. 20, № 1. P. 47–48.*

² Г. Бауман, например, утверждал, что слово «интеллигенция», происходящее от латинского «понимать», в России полностью утратило свой первоначальный смысл, обретя совершенно новое специфическое значение (см.: *Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia // The Slavie European Journal. 1957. Vol. I, № 1. P. 5*). Первым эту мысль высказал Ф. Дан, заявивший, что слово «интеллигенция» является специфически русским, и поэтому выразить его точный смысл на другом языке невозможно (см.: *Dan Th. The Origin of Bolshevism. London, 1964. P. 49*).

³ *Szamuely Th. Op. cit. P. 246.*

⁴ *Stepun F. The Russian Intelligentsia and Bolshevism // The Russian Review. 1958. Vol. 17, № 4. P. 268; Tompkins S. The Russian Intelligentsia. Norman, 1957. P. 221; Weeks A. The First Bolshevik. A Political Biography of Peter Tkachev. N.Y.; London, 1968. P. 112; Daniels R. Lenin and the Russian Revolutionary Tradition // Russian Thought and Politik. Cambridge, 1957. P. 349.*

смысла ее революционных теорий и целей борьбы, это определение, естественно, не в состоянии удовлетворить и самих буржуазных исследователей.

Все предпринимаемые ими попытки выделить основные, наиболее устойчивые признаки русской интеллигенции, определяющие ее социальную природу, при игнорировании единственно научного классового критерия приводят лишь к абсолютизации какой-либо, произвольно избранной черты, не раскрывающей существенного содержания и исторической роли интеллигенции и ее радикальных слоев. Так, одни исследователи отмечают в качестве ведущей характеристики русской интеллигенции ее исключительную по силе страстность, с которой она отдавалась служению своим целям и идеалам¹, другие видят ее главное отличительное свойство в тяготении к этическим проблемам²; наконец, третьи склонны сводить историю интеллигенции к истории ее интеллектуальных исканий, отмечая при этом особую веру ее в силу науки. По мнению А. Вусинича, например, «самой отличительной чертой» русской радикальной интеллигенции было признание ею выдающейся роли науки в поступательном развитии общества³.

Нередко разные историки разрывают эти аспекты духовной деятельности интеллигенции⁴ и даже противопоставляют их друг другу, приходя в результате к прямо противоположным выводам. Подчеркивая тяготение русской интеллигенции к нравственно-этическим нормам, Л. Шапиро утверждает, в частности, что это неизбежно оборачивалось для нее «презрением» не только к закону, но и к науке⁵. Г. Бауман же, напротив, полагает, что в среде радикальной интеллигенции существовал «культ» науки, достигавший уровня почти религиозного почитания⁶.

Имеющиеся противоречия в освещении основных характеристик русской революционной интеллигенции и даже, как было отмечено, наличие взаимоисключающих положений, отчетливо отражают недостаток подлинно научной методологии, что все более начинают осознавать сейчас и сами буржуазные исследователи. Например, американский историк Д. Броуэр, в свое время сам отдавший дань традиционной трактовке интеллигенции как уникальной социальной группы⁷, в недавно вышедшей работе выражает острую неудовлетворенность современным состоянием изученности ее истории. Он считает, что до сих пор историками не выявлены существенные черты интеллигенции, которые бы позволили охарактеризовать ее как единое целое. В результате интеллигенция предстает, по его мнению, в большей мере как «плод воображения», нежели реально действующая социальная группа⁸. Причину этого он видит в отсутствии четких научных критериев исследования⁹.

Показателен также вывод, к которому пришел историк из ФРГ В. Шмидт. Он посвятил свою статью обоснованию того, что любая существующая в настоящее

¹ Nagirny V. Op. cit. P. 433–434.

² Billington J. Icon and the Axe. N. Y., 1966. P. 233; McConnell A. The Origin of the Russian Intelligentsia // The Slavic and East European Journal. 1964. Vol. 8, № 1. P. 6.

Главную причину нравственных исканий интеллигенции Дж. Биллингтон усматривает в ее «личных этических конфликтах» с правящей аристократией, сводя таким образом смысл волновавших интеллигенцию проблем к моральному разложению социальной элиты страны. (Billington J. Op. cit. P. 262–263).

³ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia // The Quest for the General Science of Society. 1861–1917. Chicago; London, 1976. P. 4; См. также: Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia. P. 12.

⁴ Р. Киндерслей утверждает, например, что нравственные проблемы отвлекали русских революционеров от «серьезной философской работы» (Kindersly R. The First Russian Revolutionists // A Study of «Legal Marxism» in Russia. Oxford, 1962. P. 6).

⁵ Shapiro L. The Prerevolutionary Intelligentsia and the Legal Order // The Russian Intelligentsia / Ed. by R. Pipes. N. Y., 1961. P. 19.

⁶ Bowman H. Op. cit. P. 12, 18.

⁷ Brower D. The Problem of the Russian Intelligentsia // Slavic Review. 1967. Vol. XXXVI, № 4. P. 638–647.

⁸ Brower D. Training the Nihilists. Education and Radicalism in Tsarist Russia. London; N.Y., 1975. P. 34, 35.

⁹ Ibid.

время гипотеза о природе русского нигилизма и «нигилистов» размывается сложным опытом «реальной жизни» и «реальных нигилистов»¹.

Подобного рода критические оценки английских и американских авторов в последнее время (примерно с конца 60-х гг.) появляются все чаще, отражая растущую неудовлетворенность состоянием проблемы во всей современной буржуазной историографии. Они свидетельствуют в то же время об осознании острой необходимости адекватного осмысления сложных и подчас противоречивых процессов современной истории. Рост политической активности интеллигенции в капиталистическом мире разрушает привычные для буржуазных исследователей представления о коренном своеобразии русской интеллигенции (как и истории России в целом), принуждая их к более глубокому и реалистическому освещению революционного прошлого нашей страны.

Особенно активные поиски ведутся в плане выявления новых «ключевых» критериев, которые бы позволили раскрыть суть самого понятия «интеллигенция». Примечательно, что, в поисках новых, более эффективных методов исследования истории все чаще обращаются за помощью к социологии, в чем выражается характерный для современного мира процесс интеграции наук. Не случайно социологи становятся непременными участниками всех специальных выпусков, посвященных проблемам интеллигенции, в которых история русской революционной интеллигенции занимает, как правило, главное место². Итогом сотрудничества двух наук явился ряд новых гипотез и концепций относительно природы и своеобразия русской революционной интеллигенции.

При всем многообразии имеющихся в современной английской и американской буржуазной социологии точек зрения отчетливо выделяется стремление раскрыть содержание понятия «интеллигенция» на основе общих, «имманентно присущих» интеллигенции любой другой страны профессиональных черт, свойственных самой природе интеллектуальной творческой деятельности как таковой. Определяющими называются скептицизм, критичность, аналитическое отношение к возникающим проблемам³. Эти качества, по мнению исследователей, и обуславливают те «объективные формы отчуждения», которые в той или иной степени присущи интеллигенции всех стран независимо от их социального строя и порождают, соответственно, различные радикальные теории⁴.

Согласно их утверждениям, интеллигенция уже по самой своей природе стремится к познанию внутренней сущности традиционных порядков, обычаев и морали и всегда занята поисками универсального, сакрального и абсолютного⁵. Это обстоятельство делает ее не просто социально независимой группой, но выразитель-

¹ *Smidt W.* Nihilismus und Nihilisten. Untersuchungen zur Typisierung in Russischen Romantik. Zweite Halte des Neunzehnten Jahrhunderts. Forum Slavicum. Munich, 1974. S. 38.

² См., напр.: *On Intellectuals*. Theoretical Studies. Case Studies / Ed. by Ph. Rieff. N. Y., 1969. (В 1970 г. вышло второе издание этой книги); *Intellectuals and Tradition* // *Daedalus*. 1972. Vol. 101, № 2. P. 1–150; *Intellectuals and Change* // *Daedalus*. 1972. Vol. 101, № 3. P. 131–207. Оба выпуска «Дедалуса» содержат материалы конференции по проблеме «интеллектуалы и традиция», проведенной в Иерусалиме в марте 1971 г. как часть программы исследования динамики культуры.

³ *Lipset S., Dobson R.* The Intellectuals as Critic and Rebel. With Special Reference to the United States and the Soviet Union // *Daedalus*. 1972. Vol. 101, № 3. P. 138. Как писал еще в 60-е гг. американский социолог К. Бринтон, «интеллигент, довольный миром и самим собой или по меньшей мере своими идеями и идеалами, просто не был бы интеллигентом» (*Brinton C.* The Anatomy of Revolution. N. Y., 1965. P. 43).

⁴ По словам западногерманского социолога Г. Зиммеля, интеллигент не «чужой», который сегодня пришел, а завтра уйдет, но «чужой», который сегодня пришел и завтра останется, «хотя многие бы предпочли, чтобы он ушел» (Цит. по: *Wiehn E.* Intellektuelle in Politik und Gesellschaft. Stuttgart, 1971. S. 12–13).

⁵ *Shills E.* The Intellectuals and the Powers: Some Perspective for Comparative Analysis // *On Intellectuals*. P. 46–47.

ницей неких общенациональных надклассовых ценностей и интересов¹. Некоторые авторы утверждают при этом, что как бы ни складывалась политическая судьба интеллигенции, она всегда остается авторитетной силой. Иногда даже создается парадоксальная ситуация: «В то время как общество становится более независимым по отношению к интеллигенции, ее влияние на него возрастает»².

Тезис о том, что профессиональная ориентация интеллигенции на познание внутренней сущности явлений и процессов является ее главным «конституирующим элементом», логически приводит к определению радикальной интеллигенции как «универсальной» категории мирового социокультурного развития, своеобразной «контркультуры» или «субкультуры».

Эти термины, вошедшие в научный лексикон Западной Европы еще в 60-е гг. для обозначения мировоззрения и совокупности идеалов и представлений самых различных течений современной молодежи³, с конца названного десятилетия все чаще стали использоваться в исследованиях, посвященных радикальным движениям прошлого, в том числе русской революционной демократии. Д. Броуэр, например, считает «чрезвычайно полезным» оперировать в качестве инструмента научного анализа радикальных групп, существовавших в прошлом, терминологией, употребляемой социологами при рассмотрении современных социальных конфликтов, и предлагает даже совершенно отказаться от термина «интеллигенция» на том основании, что им обычно пользуются те, кто стремится подчеркнуть принципиальное своеобразие революционного движения в России⁴.

В свете этих выводов русская революционная интеллигенция утрачивает свою уникальность и обретает черты, свойственные интеллигенции любой другой страны. Американский исследователь Э. Глисон считает, в частности, русское революционно-демократическое движение одним из «типов радикализма», встречающихся как в тайных обществах Европы периода реставрации, так и в деятельности крайних левых групп современной Америки⁵.

В трактовке американского социолога А. Гелла, русская революционная интеллигенция (он называет ее «классической») утрачивает свои национальные свойства. Такого рода «классическая интеллигенция» существовала, по его мнению, не только в России, но и в ряде стран восточноевропейского региона (Германия, Польша), а в сходных исторических условиях может появиться также и в других странах мира⁶. Р. Пайпс и авторы труда «Радикализм в современную эпоху» еще более расширяют регион деятельности радикальной интеллигенции, утверждая, что она появляется как в отсталых обществах (главным образом «деспотиях традиционного типа, где отсутствует многочисленная образованная публика»), так и в развитых странах («правильно функционирующих демократиях»)⁷.

Новый подход является, прежде всего, отражением возрастающей роли интеллигенции в современном обществе, в развитии его материального и культурного потенциала в условиях научно-технической революции. Вместе с тем он, несомненно, представляет собой известный шаг вперед в исследовании буржуазными авторами русского революционно-демократического движения.

¹ Lipset S., Dobson R. Op. cit. P. 149. К этому выводу сводятся в конечном счете все многочисленные элитарные концепции, имеющие место в современной социологии.

² Ibid. P. 184.

³ Ginger M. Centra-Culture and Subculture // Lampson E. Approaches, Contexts, and Problems of Social Psychology. Englewood Cliffs, N. Y., 1964. P. 468; Berchofer R. A Behavioral Approach to Historical Analysis. N. Y., 1966. P. 83, 91.

⁴ Brower D. Training the Nihilists. P. 35.

⁵ Gleason A. Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860-s. N. Y., 1980. P. 383.

⁶ Gella A. The Intelligentsia and Intellectuals. P. 17, 20.

⁷ Pipes R. Russia under the Old Regime. N. Y., 1974. P. 253; Radicalism in the Contemporary Age. V.L. Sources of Contemporary Radicalism. N. Y., 1977. P. 23.

И все же, поскольку предложенные исследователями в качестве определяющего критерия черты, свойственные интеллектуальной творческой деятельности, рассматриваются обособленно, вне связи с конкретной исторической ситуацией и классовыми отношениями, действительная социальная природа и место интеллигенции вообще и русской революционной в частности остаются нераскрытыми. Концептуальные схемы исследователей по-прежнему являются абстрактными, лишёнными конкретного исторического содержания. Кроме того, и это особенно важно, сформулированные на их основе определения феномена революционной интеллигенции не только не дают достаточно убедительного ответа на события прошлого, но и ставят под сомнение возможность социального мира в настоящем, а тем более в будущем, поскольку социальная отчужденность интеллигенции трактуется авторами как явление универсальное, выводимое из внутренне присущих ей свойств, не зависящих или почти не зависящих от условий и обстоятельств жизни¹.

Естественно, что предложенные новые определения интеллигенции не удовлетворяют историков полностью и потому не могут быть безоговорочно приняты ими. Так, М. Малиа² еще в начале 60-х гг. в своей статье «Что такое интеллигенция?», получившей широкое признание в буржуазной литературе, выражал несогласие с наметившейся уже тогда тенденцией характеризовать интеллигенцию только по признаку интеллектуальной деятельности, мотивируя свою позицию тем, что она (эта деятельность) свойственна интеллигенции вообще и никак не объясняет появление ее радикального слоя³. Эти возражения еще более категорично звучат в его позднейших работах⁴.

Очевидную неудовлетворенность определением интеллигенции лишь на основе качеств, присущих творческой интеллектуальной деятельности, выражает также американский исследователь Э. Глсон. Отмечая, что, хотя термин «интеллигенция» оказался теперь весьма привлекательным для исследователей и интеллигенцию обнаружили почти во всех странах мира, он подчеркивает, что это обстоятельство отнюдь не способствовало выявлению содержания данного термина. Когда в основу определения интеллигенции берется такой широкий критерий, как «профессиональная образованность и связанное с нею мастерство», пишет Глсон, конкретный смысл действительной политической ориентации интеллигенции оказывается «растворенным и вообще утраченным»⁵. Поэтому и вопрос о том, что же представляла собой русская революционная интеллигенция, по-прежнему остается «так же широк и туманен, как бесполезен, или даже вообще невозможен»⁶.

Нельзя не заметить, что ограниченность новых определений радикальной интеллигенции, основанных лишь на имманентно присущих ей свойствах, с самого начала осознавалась и самими их авторами. Подчеркивая особую важность профессиональных качеств в раскрытии социальной природы и политических позиций интеллигенции, Э. Шилз, например, оговаривается, что только одна «внутренняя потребность» в творческом отношении к возникающим проблемам еще «не создает» интеллигенцию и соответственно «не определяет ее роль и место в общественной структуре». Но в каждом обществе существуют некие другие, объективные

¹ «Сейчас, — читаем мы в предисловии к сборнику об интеллигенции, — многие ищут ответа не столько на вопрос о том, что представляет собой интеллигент, сколько о том, каким станет его отношение к обществу в будущем» (*On Intellectuals*. P. 3).

² Профессор Гарвардского университета, сотрудник Русского исследовательского центра, признанный на Западе специалист в области интеллектуальной истории России.

³ *Malia M. What is Intelligentsia? // The Russian Intelligentsia*. N. Y., 1961. P. 6.

⁴ См., напр.: *Malia M. The Intellectuals: Adversary or Clerisy? // Daedalus*. 1972. Vol. 101, № 3. P. 207.

⁵ *Gleason A. Op. cit.* P. 17.

⁶ *Ibid.*

факторы, обуславливавшие появление деятелей, критически настроенных по отношению к существующему социальному порядку¹.

Считая профессиональные свойства интеллигенции хотя и важными, но все-таки далеко не достаточными для раскрытия действительной природы и роли ее революционных слоев, ряд исследователей призывают дополнить их анализ рассмотрением других «внешних» факторов, побуждающих радикальную интеллигенцию занимать критическую позицию по отношению к данной общественной системе.

Как и следовало ожидать, эти факторы усматриваются не в конкретной исторической объективной реальности, но в неких абстрактных, якобы характерных для всякого общества, независимо от системы его социальных отношений, проблемах, которые-де вызывают у интеллигенции с ее повышенной эмоциональной чувствительностью и возбудимостью особенно острое осознание своего нравственного долга.

Более того, новая трактовка революционной интеллигенции как универсального явления культурного исторического развития настоятельно ставит перед буржуазными учеными задачу затушевать классовый смысл ее социально-политических позиций, растворить его в общих рассуждениях о моральной роли интеллигенции как таковой.

Наиболее распространенным в американском и английском обществоведении является сейчас стремление выделить значение нравственно-этических мотивов в происхождении и деятельности радикальной интеллигенции, в том числе и русской революционно-демократической. В ряду последних работ такая позиция отчетливо прослеживается в исследовании Э. Глисона. Он считает интеллигенцию универсальным «современным феноменом», имеющим непосредственное отношение к процессу «секуляризации», и характеризует ее представителей как «самых значительных архетипов нашей цивилизации», выполняющих своего рода просветительскую функцию, которая раньше выпадала на долю служителей церкви². Ту же мысль мы встречаем и у Р. Пайпса. Он относит к интеллигенции тех, кто печется не о своем собственном благополучии, но главным образом поглощен заботами о процветании своего общества и «готов в меру своих сил потрудиться на его благо». Поэтому, считает Пайпс, интеллигенция появляется там прежде всего, где существуют значительные расхождения между теми, кто стоит у власти, и теми, кто представляет собой общественное мнение³.

Созвучной с этими выводами является точка зрения М. Конфино⁴, выраженная им в статье, в основу которой было положено его выступление на упомянутой конференции по проблеме «Интеллектуалы и традиция». Он выделяет ряд специфических черт, характеризующих, по его мнению, русскую революционную интеллигенцию. Это – глубокая заинтересованность общественными проблемами; склонность рассматривать их как проблемы, нравственные по своей сути; убежденность, что жизнь не должна быть такой, какова она есть; осознание своей обязанности искать любой ценой крайние логические заключения как в мысли, так и в практической деятельности⁵. Отмеченные свойства выкристаллизовались в особое чувство вины за сложившееся в стране положение. Оно, считает Конфино, и составило главную, определяющую русскую революционную интеллигенцию черту. Пытаясь выявить истоки этих основных характеристик, конституирующих русскую интеллигенцию в единую социальную категорию, М. Конфино выделяет ее стремление

¹ Shils E. Op. cit. P. 28.

² Gleason A. Op. cit. P. 17, 18, 19.

³ Pipes R. Russia under the Old Regime. P. 252–253

⁴ Известный специалист в области русской общественной мысли, историк и социолог, ныне директор Иерусалимского Центра исследований России и стран Восточной Европы. Продолжает активно сотрудничать в американских изданиях.

⁵ Confino M. On Intellectuals and Intellectual Tradition in Eighteenth and Nineteenth-century Russia // Daedalus. 1972. Vol. 101, № 2. P. 118.

обрести интеллектуальную независимость, которая является реакцией на попытки правительства надеть на общество «интеллектуальную узду»¹.

Подчеркивание роли абстрактно-гуманистических мотивов в деятельности интеллигенции в конечном счете должно подтвердить традиционный вывод буржуазных историков о том, что радикальное отрицание существующего строя было основано во все времена на идеализированном представлении порядка, который мыслился в будущем, и что, следовательно, оппозиционные настроения интеллигенции по отношению к правящей власти есть не более как следствие ее утопической мечты о несбыточном². Кроме того, это дает возможность расширительно трактовать само понятие «радикальный», включая в него не только деятелей левой, но и правой ориентации. Мы здесь имеем дело с приемом, используемым буржуазными авторами: не просто затушевывать действительный классовый смысл политических позиций революционной интеллигенции, но и полностью стереть грань между понятиями «революция» и «контрреволюция».

Таким образом, достаточно явственно обнаружившийся уже в 60-е гг. альянс истории и социологии свидетельствует о тех напряженных поисках, которые ведутся сейчас в буржуазном обществоведении с целью дать более приближенное к исторической реальности определение русской революционной интеллигенции и раскрыть существенное содержание революционно-демократической мысли.

Будучи следствием и проявлением не только растущего влияния социологии в современном буржуазном обществоведении, но и углубляющегося кризиса исторической науки, обращение историков к выводам и методам социологов отражает вместе с тем и тягу исследователей к междисциплинарному подходу. Являясь выражением объективных процессов, имеющих место в современной науке вообще, в буржуазной исторической науке этот подход есть вместе с тем следствие неприятия исторического материализма как метода научного анализа и отражает стремление исследователей перейти в объяснении исторических процессов и событий «от монокаузальности к плюрализму»³. Как мы убедились на конкретном материале исследования феномена революционной интеллигенции, это нашло свое выражение в последовательном отказе от классового принципа и поисках других подходов, не имеющих связи с действительной объективной основой истории – классовыми отношениями, определяемыми в конечном счете характером собственности.

И все же, как было отмечено, в рассмотренных концепциях звучит новый мотив – отказ от традиционного изображения русской революционной интеллигенции в качестве уникальной социальной группы, появившейся лишь в специфических национальных условиях России, и признание ее универсальной исторической категорией. Эти новации являются результатом неизбежного переосмысления старых субъективистских концепций и выводов, плохо соотносящихся с происходящими в реальном мире процессами и событиями и потому быстро утрачивающих даже для буржуазных историков свою весьма относительную научную ценность.

Сказанное, однако, не означает полного пересмотра английскими и американскими авторами старых теорий. Признав историческую закономерность появления революционной интеллигенции в других странах мира, они тем не менее не отказываются от своего прежнего вывода, являющегося повторением старого положения русской дореволюционной историографии, давно опровергнутого советскими историками, о коренном своеобразии русской интеллигенции, заключавшемся в ее надклассовой природе.

¹ *Confino M.* On Intellectuals and Intellectual Tradition in Eighteenth and Nineteenth-century Russia // *Daedalus*. 1972. Vol. 101, № 2. P. 118, 124.

² *Radicalism in the Contemporary Age*. Vol. 1. P. 13.

³ Подробнее об этом процессе в современном буржуазном обществоведении см.: *Berlinger R.* Historical Analysis: Contemporary Approach to Clio's Craft. N. Y., 1978. P. IX.

Убедительным образом это подтверждается на примере анализа буржуазными авторами причин и условий появления русской революционно-демократической интеллигенции.

2. Истоки и своеобразие русской революционно-демократической мысли

Отказ от классового анализа в объяснении социальной природы и причин формирования русской революционной интеллигенции с самого начала приводит современных западных исследователей к поискам истоков ее идейно-теоретических позиций вне сферы общественных отношений. Решение проблемы связано непосредственно с тем, как авторы рассматривают рождение самой революционной интеллигенции, в чем они видят главные факторы, определяющие ее формирование. Соответственно этому строятся основные теоретические конструкции и делаются выводы относительно генезиса и национального своеобразия революционно-демократической мысли.

В буржуазной историографии доминирующей является концепция, в которой революционной интеллигенции отводится роль социально изолированной группы, вследствие чего распространенным становится стремление отыскать истоки и своеобразие ее общественной мысли, как и самой приверженности к революционным методам борьбы, в чем-то более широком и всеобъемлющем, нежели сфера социальных отношений.

По мнению рассматриваемых исследователей, это должна быть область чувств и настроений отчужденной от народа и государства интеллигенции. Острое чувство социальной изоляции рассматривается не только как импульс, побуждающий интеллигенцию стремиться к радикальному пересозданию существовавшего общественного строя, но и как основа, обусловившая содержательный смысл ее социально-политических теорий.

Нельзя не отметить, что сильно развившийся в последнее время интерес западных авторов к разного рода психологическим теориям, с помощью которых они надеются выработать более эффективный метод познания общественно-исторических явлений, находит в самой непосредственной связи с распространением в современной буржуазной историографии иррационалистического подхода к истории¹.

Установка на психологизацию исторических событий и процессов, отчетливо проявившаяся с 50-х гг., характерна не только для психоаналитических концепций, выделяющих роль подсознательного в мотивации поведения личности, но и для всей буржуазной историографии в целом, оценивающей психологические настроения социальных слоев и групп в качестве главной детерминанты, определявшей их деятельность, а также их идейно-теоретические и социально-политические взгляды.

В работах английских и американских исследователей с самого начала сложилась определенная, четко прослеживаемая концептуальная схема, раскрывающая истоки и главные характеристики русской революционно-демократической мысли. Ее содержание целиком определялось господствовавшей в буржуазной историографии трактовкой русской интеллигенции в качестве исключительного феномена, появление которого оказалось возможным лишь в национально своеобразных условиях России.

При всем многообразии вариантов этой схемы ее основной смысл сводится к стремлению показать, что изолированная от реальной действительности русская интеллигенция создала свой отдельный, замкнутый на себя духовный мир, мир

¹ Гаджиев К.С., Сивачев Н.В. Проблемы междисциплинарного подхода к «новой» научной истории в современной американской буржуазной историографии // Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1978. Вып. 2. С. 146–147.

«внутренней эмиграции», когда ее представители становились как бы «иностранцами в своей собственной стране»¹.

Не найдя в условиях существования самодержавного режима возможности приложения своих сил, она целиком погружается в сферу теоретических абстракций, оторванных от реальной исторической почвы и лишенных демократической основы. Этот вывод поддерживается убежденностью буржуазных авторов в будто бы особой, свойственной лишь русской нации склонности к теоретизированию².

В результате, как утверждают исследователи, русская революционно-демократическая идеология полностью утрачивает связь с общественным развитием страны, замкнувшись в узком кругу своих сектантских теорий. Будучи лишенным конкретно-исторической почвы и широкой социальной базы, революционный демократизм как политическая доктрина представлял собой, по их мнению, не более чем «наивное детство» общественной мысли с присущими ему «слепотой» и «самообманом»³.

Итак, согласно изначально сложившемуся и ставшему доминирующим в американской и английской буржуазной историографии взгляду весь идейно-теоретический багаж русской революционной демократии представлял комплекс абстрактных утопических идей и идеалов, не имевших исторической почвы и социально позитивного смысла. Действительная основа этих идей и идеалов усматривается лишь в чисто психологической убежденности их носителей – радикальной интеллигенции в том, что она являла собою «воплощенное сознание» нации⁴.

Попытки буржуазных авторов обратиться к психологии радикальной интеллигенции с целью выявления истоков и содержания ее революционных воззрений представляются в целом правомерными и оправданными, поскольку социальная психология является важной составной частью общественного сознания и в качестве таковой воздействует на исторические события и процессы, в том числе на общественно-политические взгляды отдельных личностей или социальных групп.

Однако каким бы ни было субъективным, индивидуально окрашенным их восприятие социальных явлений, постоянной и основной детерминантой психологии представителей различных политических течений, отражающейся в их социальных воззрениях, является психология определенного класса. В объективной исторической реальности всегда есть нечто повторяющееся, устойчивое, общее, что в конечном счете неизбежно ставит всякого мыслителя в отношении к объекту своего познания на позиции определенного класса, передавая в том числе и его психологический настрой. Поэтому, чтобы до конца понять действительный смысл общественно-политических теорий, нужно учесть социальные устремления и психологию класса, с позиций которого выступают их носители.

В.И. Ленин подчеркивал, что для выяснения действительной социальной роли общественных групп важно не только определять их место в системе производственных отношений, но и учитывать их психологический облик⁵.

Отвергая классовый принцип в выявлении социальных позиций и места революционной интеллигенции, буржуазные авторы оказываются не в состоянии понять ее действительный психологический настрой. Они ограничивают истоки умонастроения интеллигенции лишь рамками ее собственного индивидуального бытия. В результате интеллигенция наделяется самостоятельной исторической перспективой, и ее социально-политические взгляды трактуются соответственно

¹ Woerlin W. Chernyshevsky – The Man and the Journalist. Cambridge, 1971. P. 32.

² Pipes R. The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia // The Russian Intelligentsia. N. Y., 1961. P. 57.

³ Radkey O. The Agrarian Foes of Bolshevism. The Essence of Russian Populism. N. Y., 1958. P. 4.

⁴ Pomper Ph. The Russian Intelligentsia. P. 6.

⁵ См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 20.

как отражение узкогрупповой, сектантской психологии. Не случайно Т. Самуэли пишет, будто одним из любимейших занятий русской интеллигенции было накопление знаний о самой себе¹.

Именно так рассматриваемые авторы интерпретируют содержание революционно-демократической общественной мысли. Выдавая чувство убежденности в неизбежности революции как доминирующую черту русской интеллигенции, они пытаются вывести из этого чувства весь содержательный смысл социально-политических теорий радикальной интеллигенции.

Особо подчеркиваемая ими социальная изоляция интеллигенции обернулась-де для нее трагическим разрывом с реальным миром, когда она видела выход лишь в искусственно сконструированных общественно-политических идеалах (основанных на чисто утопических представлениях о будущем обществе), долженствовавших, по ее мнению, стать руководством в практических социальных действиях. Оттого, как утверждает, например, Л. Хэймсон, в 30-е гг. XIX в., когда в русской интеллигенции уже в основном оформилось «чувство всеобщей Отчужденности от общества», особым влиянием на молодежь пользовалась философия Фихте, отрицавшая связь индивидуальной души с реальным миром².

М. Карпович, ошибочно утверждая, что революционная демократия будто бы вообще оказалась неспособной осмыслить целесообразность и важность проводимых правительством в 60–70-е гг. реформ, пытался объяснить это оторванностью революционеров от действительных исторических задач и общественных потребностей своей страны и утратой ими смысла реального хода исторических событий³. Выводы М. Карповича стали в 50–60-е гг. для большинства английских и американских историков отправными в оценке революционно-демократической идеологии. Целью их работ становится стремление изобразить деятелей революционно-демократического движения неразумными фанатиками насильственных методов борьбы, отвергавшими наиболее целесообразный и единственно приемлемый в условиях России путь постепенных мирных преобразований.

В связи с этим понятен большой интерес буржуазных исследователей к нигилизму, который трактуется как образ мышления, совершенно лишенный социального содержания. В его подчеркнуто резком отрицании всех жизненных устоев русского общества усматривается не осознание начавшегося распада старой социальной структуры⁴, а только безусловный отказ от всех нравственных и этических ценностей, являвшийся следствием недоученного теоретического невежества и даже полной моральной распушенности молодежи⁵.

Повторяя эти традиционные для русского реакционного лагеря и продиктованные классовой ненавистью характеристики нигилизма в качестве умонастроения, лишенного в своей основе какого бы то ни было позитивного содержания, и идентифицируя его со всем революционно-демократическим движением в целом, многие авторы пытаются представить деятелей разночинского этапа революционного движения вообще и народнического в частности невежественными, совершенно утратившими нравственные устои недоучками. С. Томпкинс утверждает, например,

¹ Szamuely Th. Op. cit. P. 144.

² Haimson L. The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism. P. 56.

³ Karpovich M. Imperial Russia. 1801–1917. P. 40–41, 43–44.

⁴ При всей своей идейно-теоретической нечеткости нигилизм как общественное явление был прогрессивным. Это хорошо показано в работах советских исследователей. Он выражал стихийный протест разночинских слоев против дворянско-сословного строя (см., напр.: Новиков А. Нигилизм и нигилисты. Л., 1972).

⁵ Jarmolinsky A. Road to Revolution. A Century of Russian Radicalism. London, 1957; Hingley R. Nihilists. Russian Radicalism and Revolutionaries in the Reign of Alexander II (1855–1881). N. Y., 1969; Tompkins S. The Russian Intelligentsia. Makers the Revolutionary State. Norman, 1957.

что было бы большой ошибкой считать представителей русской радикальной интеллигенции людьми умственно и нравственно образованными¹.

Как к аргументам особой доказательной силы некоторые историки прибегают при этом к повторению клеветнических выпадов ренегата Л. Тихомирова в адрес лучших представителей народничества, таких как молодой Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, А.И. Желябов и др. Нимало не смущаясь тем, что ссылки на предателя, стремившегося в целях самооправдания опорочить своих бывших соратников и друзей, не могут украсить их собственные творения, они вслед за Тихомировым утверждают, будто высокочеловеческие идеалы народников являлись не более чем плодом «чудовищной незрелости ума, лжи и тупости»².

Оговариваясь, что и в истории Западной Европы существовал период общественного умонастроения, отрицавшего консервативную идеологию и господствовавшую официальную мораль, буржуазные исследователи стремятся тем не менее создать впечатление, будто нигилизм был чисто национальным явлением, «глубоко укоренившимся в русской жизни», и в связи с традициями особой преемственности общественной мысли еще более укрепился с появлением марксизма³. Все эти рассуждения венчает вывод о том, что деятели революционного движения в России складываются в своеобразный психологический тип людей, ставших в конце концов жертвами своих собственных незрелых, надуманных теорий⁴.

Подобный подход к истолкованию революционно-демократической идеологии как лишенной трезвого понимания реальности и опирающейся на абстрактные экстремистские теории, естественно, породил стойкий интерес к идеологам самого движения.

Особым вниманием, чего и следовало ожидать, всегда пользовался М.А. Бакунин, игравший большую роль в освободительной борьбе не только в России, но и в Западной Европе. Концентрируя усилия на том, чтобы доказать духовное и теоретическое родство ленинизма и бакунизма, как одного из течений революционного народничества, буржуазные исследователи в утрированном виде представляют ошибки в теоретических, равно как и в практических исканиях Бакунина. Цель одна – дискредитация всего прогрессивного общественного движения в России и прежде всего большевизма⁵.

Бакунин представляется в их работах личностью, которая не могла бы появиться в условиях нормальной общественной жизни⁶. Его изображают авантюристом, теоретические работы которого были лишь незначительными «умственными эпизодами», являвшими собою смесь лжи и правды⁷. Историков нимало не смущает, что некоторые из этих работ – «Реакция в Германии», «Государственность и анархия», «Кнуто-германская империя» и др. – получили большой общественно-политический резонанс как в России, так и за рубежом. Как бы предвидя вопрос, почему же в таком случае М.А. Бакунин был столь популярной и «влиятельной фигурой», Э. Карр заявляет: «А разве не самых бессовестных политических и религиозных шарлатанов идеализировали всегда их современники?»⁸. Изображенный в столь мрачных тонах образ М.А. Бакунина должен стать, по замыслу авторов, яркой иллюстрацией, подтверждающей их спекулятивные выводы о полной теоретической несостоятельности русских революционных деятелей вообще.

¹ *Tompkins S.* The Russian Intelligentsia. P. 246.

² *Hare R.* Portraits of Russian Personalities between Reform and Revolution. P. 262–263; *Tompkins S.* Op. cit. P. 240.

³ *Tompkins S.* Op. cit. P. 49.

⁴ *Ibid.* P. 240–245.

⁵ Подробнее см.: *Джангирия В.Г.* Критика англо-американской буржуазной историографии М.А. Бакунина и бакунизма. М., 1978.

⁶ *Carr E. Michael Bacunin.* N. Y., 1961. P. 150.

⁷ *Ibid.* P. 20–21, 34.

⁸ *Ibid.* P. 21.

Аналогичным образом интерпретируются и взгляды П.Н. Ткачева. Историки стремятся отыскать в них прежде всего то, что позволило бы представить этого признанного идеолога революционного народничества как волонтариста и заговорщика. При этом совершенно замалчивается то обстоятельство, что Ткачев был незаурядным мыслителем, способным к глубоким социологическим наблюдениям и выводам, мыслителем, который не только внимательно изучал социально-экономические и политические условия в пореформенной России, но и особенно глубоко (в сравнении с другими идеологами революционного народничества) понимал их своеобразие.

Нельзя не отметить, что в работах, посвященных исследованию общественных воззрений П.Н. Ткачева, особенно отчетливо выступает их политическая направленность¹. В резко утрированной форме подчеркивая бланкистские, заговорщические тенденции в теоретическом обосновании Ткачевым возможности и целесообразности революции в России, авторы прибегают к подмене объективного анализа действительных фактов поверхностными аналогиями и даже откровенной фальсификацией, чтобы доказать ложный тезис о тесной идейно-теоретической преемственности взглядов Ткачева и Ленина.

По-другому рисуется облик Н.К. Михайловского. В ряде работ он показан широкообразованным мыслителем, обладавшим гибким, проницательным и оригинальным умом. Как общественный деятель Н.К. Михайловский, по мнению авторов этих работ, наилучшим образом воплотил основные идеи своего времени и в силу этого оказал несравненно большее влияние на развитие общественного движения в пореформенной России, чем все другие деятели радикального направления, вместе взятые².

Столь полярные оценки видных представителей народнической мысли объясняются просто. То обстоятельство, что Михайловский сотрудничал в легальной народнической печати, а его причастность к революционному подполью оставалась нераскрытой, дает возможность буржуазным ученым трактовать его только как либерала, стоявшего в течение всей своей общественно-политической деятельности на конституционно-реформистских позициях и испытывавшего явную «антипатию как к реакции, так и к революции»³. Его настойчивая и яркая пропаганда политической борьбы в качестве необходимого условия подготовки успешной революции⁴ изображается как проповедь типичного реформиста, стремившегося направить страну на путь постепенных мирных преобразований и даже не гнушавшегося апелляциями к государственным властям⁵.

В свете сказанного становится понятным столь благожелательное отношение к Н.К. Михайловскому. Оно коренится в стремлении противопоставить его другим идеологам народничества, проповедовавшим неизбежную революцию и стремившимся по мере сил ускорить ее приход.

Рассмотренные примеры убедительно свидетельствуют о том, что, интерпретируя соответствующим образом взгляды идеологов революционно-демократического движения, буржуазные историки стремятся обосновать вывод о

¹ См., напр.: *Karpovich M.A.* Forerunner of Lenin: P.N. Tkachev // *The Review of Politics*. 1944. Vol. 6, № 3; *Weeks A.* The First Bolshevik. A Political Biography of Peter Tkachev. N. Y., 1968.

² *Mendel A.* Dilemma of Progress in Tsarist Russia. Legal Marxism and Legal Populism. Cambridge, 1961. P. 4, 5–6, 7, 8; *Billington J.* Mikhailovsky and Russian Populism. Oxford, 1958. P. V–VI, 34, 36.

³ *Billington J.* Op. cit. P. 49.

⁴ Место и роль Михайловского в революционно-народническом движении как одного из его идеологов хорошо показаны советскими историками (см., напр.: *Седов М.Г.* К вопросу об общественно-политических взглядах Н.К. Михайловского // *Общественное движение в пореформенной России*. М., 1965. С. 179–211); *Казаков А.П.* Теория прогресса в русской социологии конца XIX века (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, М.М. Ковалевский). Л., 1969; *Малинин В.А.* Философия революционного народничества. М., 1972; *Пантин И.К.* Социалистическая мысль в России: Переход от утопии к науке. М., 1973.

⁵ *Hare R.* Op. cit. P. 247.

неспособности русских революционных деятелей выработать рациональные социальные теории. Они пытаются представить теоретические идеалы революционной демократии в качестве беспочвенных, изначально лишенных позитивного социального смысла фантазий.

Все эти рассуждения основаны на прямом извращении исторической действительности. Правильной является лишь мысль о том, что русская демократическая интеллигенция стояла на крайнем левом фланге общественной борьбы, занимая наиболее радикальные позиции. Но это обстоятельство было вовсе не следствием отчужденности и кастовой замкнутости интеллигенции, а, напротив, выражением горячего стремления лучших ее представителей приблизиться к народу, результатом искреннего чувства сострадания к его жизни. Испытывая на себе гнет непрестанных политических гонений и политического произвола, русская демократическая интеллигенция особенно остро воспринимала общественные настроения эксплуатируемых масс¹. В среде наиболее радикальных ее представителей зрело чувство исторической вины привилегированного слоя, вылившееся в осознание своей нравственной обязанности – выработать правильную теорию, способную стать руководящей в социально-преобразовательной деятельности. В этой ситуации стремление к созданию цельного научного мировоззрения и теории революционного действия являлось, как убедительно показано в работах советских исследователей, основой, объединяющей революционно-демократическое движение на всем разночинском этапе борьбы в единое общественное движение².

Вывод о полной оторванности социальных идеалов революционной демократии от реальной исторической почвы, вплоть до 70-х гг. почти безраздельно господствовавший в буржуазной историографии, ставил, однако, перед буржуазными авторами целый ряд других исторических загадок. Прежде всего, возникал вопрос о том, что же в таком случае питало подобные идеалы? Каковой была та реальная основа, которая определяла позитивное содержание «социальной мечты» революционных демократов? И наконец, что обусловило демократическую направленность взглядов революционной интеллигенции, ее ориентацию на крестьянство? Если революционно-демократические теории были всего лишь выражением интересов самой интеллигенции, то как тогда объяснить веру ее радикальных слоев в крестьянскую революцию и попытки организовать ее? Последний вопрос, как известно, всегда был камнем преткновения для русских либерально-буржуазных историков.

В ходе обсуждения этого вопроса в английской и американской буржуазной историографии складываются два основных подхода, которые условно можно назвать этическим и рационалистическим.

Смысл первого («этического») заключается в особом подчеркивании стремления русской интеллигенции к нравственно-этическим нормам и в утверждении, что следствием этого было создание наиболее деятельными и радикально мыслящими ее представителями своего социального идеала – идеала, являвшего собою теоретическое осмысление собственных, свойственных русским вообще, чисто национальных представлений о морали. Попытки выявить истоки этого особого тяготения русской интеллигенции к нравственным идеалам приводят ряд авторов к поискам религиозных корней и связанных с ними мессианских настроений в качестве основы воззрений и действий революционной интеллигенции.

Революционно-демократическая идеология изображается в работах этих исследователей как некое новое верование, восходящее своими корнями к ортодоксаль-

¹ Подробнее см.: *Лейкина-Свирская В.Р.* Интеллигенция России во второй половине XIX в. М., 1971.

² См.: *Казаков А.П.* Теория прогресса в русской социологии конца XIX века; *Богатов В.В.* Философия П.Л. Лаврова. М., 1972; *Твардовская В.А.* Социалистическая мысль России на рубеже 1870–1880 гг. М., 1969; *Малинин В.А.* Указ. соч.; *Пантин И.К.* Указ. соч.

ной мессианской религиозной традиции и поддерживаемое скрытым эсхатологическим характером революционных теорий. Так, Дж. Биллингтон полагает, например, что народничество представляло собой некий новый вид христианства, обнаруживший как «внешнее сходство», так и «внутренние связи» с сектантскими верованиями, и поэтому народническую идеологию нельзя понять без уяснения ее «глубоко религиозной основы»¹. Эта мысль вполне отчетливо выражена еще у Ф. Дана. В сложившейся конкретной ситуации, писал он, обосновывая свой тезис о мессианской основе революционной теории, гнетущее чувство социальной изоляции русской интеллигенции обернулось для нее «гордым сознанием» своей великой исторической миссии².

Исходя из того, что революционно-демократическая идеология не была целостной логической системой, но сложным и нередко противоречивым комплексом идей, к тому же будучи не в состоянии понять основы этого явления (заклучавшейся в социально-экономических условиях России переходного от феодализма к капитализму периода ее истории), приверженцы данного подхода приходят к выводу, что революционно-демократические теории не могут быть объяснены только с позиций рационального³.

По их мнению, социально-политические теории русской революционной демократии скорее всего являлись ответом на личные затруднения, ответом, основывающимся на нравственных догмах православной религии и христианском благочестии или, по крайней мере, стимулирующимся ими. Некоторые историки подчеркивают при этом, что русским вообще было свойственно мессианство. Коренящееся в религиозных верованиях, оно, по их мнению, укреплялось авторитарной властью. Византийская пышность царского двора, призванная укрепить в подданных мысль о теократическом происхождении самодержавия, рождала в них чувство национального превосходства и воспитывала веру в свое особое предназначение⁴. Что же касается интеллигенции, то, утверждают они, мессианство поддерживалось в ней, кроме того, отраженным влиянием столь же древней национальной традиции автократии не просто руководить народом, но и мыслить за него⁵.

Подобного рода трактовки революционно-демократической идеологии в качестве теоретического оформления некоей новой нравственной религии, усиленной неприятием радикальной интеллигенцией автократической власти, не утратили своего места в рассматриваемой литературе вплоть до недавнего времени. Так, например, Дж. Кип характеризует взгляды революционеров-демократов как выражение «апокалиптического» стремления русской интеллигенции вообще к «всеобщему возрождению общества»⁶. Это стремление, считает он, порождало гипертрофию нравственного подхода к политике, что, в свою очередь, приводило радикальные круги интеллигенции не только к самолюбованию, но в конечном счете к подчинению всех идей и действий лишь своим собственным политическим целям⁷.

Итак, суть данного подхода состоит в том, что «этический пафос» считается главным конституирующим элементом в системе революционных взглядов, независимо от того, как решается вопрос о его истоках. Сводятся ли они к влиянию религиозных православных догматов, заимствованию ли гуманистических идеалов Запада или к отраженному влиянию господства в стране самодержавия, для кото-

¹ *Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism*. P. 120–121. См. также: *McConnell A. The Origin of the Russian Intelligentsia* // *The Slavic and East European Journal*. 1964. Vol. 8, № 1. P. 12.

² *Dan Th. The Origin of Bolshevism*. London, 1964. P. 26.

³ *Riasanovsky N. A History of Russia*. N. Y., 1969. P. 424.

⁴ *Charques R. The Twilight of Imperial Russia*. London, 1952. P. 153.

⁵ *Wolf B. Backwardness and Industrialization in Russian History and Thought*. P. 178.

⁶ *Keep J. Imperial Russia. Alexander II to the Revolution* // *An Introduction Russian History*. Cambridge; London; N. Y.; Melbourne, 1970. P. 244.

⁷ *Ibid.*

рого нравственная обязанность по отношению к своим подданным (если таковая вообще была) являлась единственным регулятором власти¹.

Во всех случаях, однако, согласно утверждению сторонников «этического» подхода, нравственные нормы и «этический гуманизм» были определяющими в революционно-демократической идеологии и в силу своей абстрактности могли привести к созданию лишь далеких от реальности утопических идеалов. Так, например, М. Малиа, пытаясь в свое время объяснить истоки социализма А.И. Герцена, особо выделял влияние на взгляды революционера западного романтизма с его пафосом отвлеченного, туманного гуманизма. «Когда шиллеровский идеал духовной красоты превращался в реальную программу действий, – писал Малиа, – он мог привести лишь к тотальным политическим требованиям и в конечном счете к идее революции»².

В морально-этических стремлениях, якобы тесно связанных с религиозно-мессианскими настроениями, усматривалась также главная причина обращения радикальной интеллигенции и к крестьянским массам, являвшимся самой страдающей, угнетенной частью населения Российской империи. В то же время, по мнению исследователей, именно в мессианстве с его гипертрофией нравственного подхода к социальным проблемам заключалась причина, приведшая интеллектуальную элиту страны к обратным результатам – еще большему отрыву ее от масс народа и безуспешным попыткам преодолеть этот разрыв.

Другой из выделенных нами подходов («рационалистический») основывается в своих выводах на утверждении об особой склонности русского ума к отвлеченному теоретизированию. Его приверженцы, как и сторонники первого подхода, в целях обоснования своих концепций обращаются к отдаленному прошлому России. Отмеченное ими свойство русского интеллекта (склонность к философствованию) уходит своими корнями, согласно их утверждениям, еще в эпоху царствования Петра I. Его реформы, утверждают они, не только положили начало социальной отчужденности интеллигенции, обусловив этим ее погружение в абстрактное теоретизирование, но и привели к разрыву исторического сознания нации, нарушив в нем чувство исторической преемственности. В итоге весь склад ума русского дворянства, из которого вышла в своей подавляющей массе интеллигенция, оказался в большей мере рационалистическим (особо восприимчивым к универсальным или ориентированным на абсолюты идеям), нежели традиционным³.

Рационализм русской интеллигенции поддерживался, по мнению рассматриваемых авторов, осознанием культурной отсталости своей страны, желанием поскорее вывести ее из этого состояния, желанием, порожденным острым чувством ответственности за судьбу своего отечества. Это чувство, в свою очередь, сопровождалось особой национальной гордостью и амбициями (сродни мессианству), свойственными всегда представителям отсталых наций⁴. Утверждается при этом, что в России ответственность представителей «образованной элиты» за будущее своей нации и народа была особенно большой в силу своеобразия их положения в социальной структуре страны⁵.

Следует отметить, что в конкретной историографической практике выделенные нами подходы отнюдь не всегда четко разграничены. Нередко одни и те же исследователи (М. Малиа, Дж. Биллингтон, Р. Пайпс и др.) то особо подчеркивают первенствующую роль и значение рационального начала в революционно-демократи-

¹ Charques R. Op. cit. P. 15.

² Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. Cambridge, 1961. P. 55.

³ Raeff M. Home, School, and Service in the Life of the Eighteenth-century Russia Noblemen // The Structure of Russian History / Ed. by M. Cherniavsky. N. Y., 1970. P. 220–222.

⁴ Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia. P. 7; Pipes R. The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia. P. 57.

⁵ Ibid.

ческой идеологии, то стремятся акцентировать внимание на нравственно-этических мотивах идейно-теоретических и практических исканий революционных деятелей, окрашивая их в ярко выраженные религиозные тона. Это обстоятельство является еще одним доказательством отсутствия в буржуазной историографии единой действительно научной методологии в подходе к анализу истоков и содержания революционных теорий.

При всем внешнем различии трактовок генетических корней революционно-демократической идеологии (усматриваются ли они в особом стремлении радикальной интеллигенции к нравственно-этическим идеалам или в приверженности ее к рациональному началу), эти подходы близки между собой. Их сближает убежденность в том, что всякая общественная мысль, и русская прежде всего (вследствие присущего ей национального своеобразия, заключающегося в особой преемственности идей и теорий), трансформируется под влиянием своей внутренней структуры и имманентной диалектики идей. Кроме того, главный импульс, придавший движение общественной мысли, усматривается как в том, так и в другом случае в «психологическом опыте» интеллигенции, порожденном ее социальной отчужденностью.

Внутренняя близость этих подходов дала возможность их сторонникам в конечном итоге прийти к общему выводу относительно причины ориентации революционеров на крестьянство. Основа ее видится в теоретической отвлеченности революционных деятелей от условий и задач общественно-исторического развития своей страны. Утверждается, что в такой стране, как Россия полностью отсутствовали демократические институты и демократия не имела исторических корней и национальных традиций. И поэтому социальные идеалы должны были быть и всегда были лишь плодом чисто абстрактных, рационалистических построений или отражением столь же отвлеченных нравственно-этических исканий, не связанных с реальными общественными потребностями своего народа.

Эта особенность русской передовой общественной мысли и дала, по мнению буржуазных авторов, радикальной интеллигенции возможность считать себя выразительницей общенациональных интересов, а свои теории – отражением «общепринятых идеалов»¹. Испытав в условиях самодержавного режима «крушение чувства собственного достоинства», революционеры, пишет М. Малиа, вывели «абстрактный идеал достоинства всех людей»². Отсюда логически следовало, что в своих попытках реализовать его они должны были обратиться, как они и делали, к самой угнетенной и униженной части населения своей страны – крестьянству.

Ту же мысль мы находим и в рассуждениях Е. Лэмперта о том, что чувство человеческой солидарности и служения обществу «более аристократично» по своей сути, нежели просто осознание своей привилегированной позиции. Не случайно, считает он, русская радикальная интеллигенция старалась развить в себе это чувство, полагая, что без него вообще не может быть культуры нации³.

В данном случае, как и во многих других, буржуазные историки полностью игнорируют действительный смысл социальных взглядов и позиций революционеров-демократов, не давая себе труда проанализировать реальные исторические факты. Они предпочитают не замечать, что вся деятельность революционеров была отмечена не только напряженными идейно-теоретическими исканиями, продиктованными желанием выработать цельное научное мировоззрение, но и стремлением в своих поисках встать на почву реального. Это выразилось в их попытках понять особенности исторического развития России, а также осмыслить место крестьянст-

¹ *Stepun F.* The Russian Intelligentsia and Bolshevism. P. 268–269.

² *Malia M.* Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. P. 421; *Idem.* What is Intelligentsia? P. 6; *Pomper Ph.* The Russian Intelligentsia. P. 6.

³ *Lempert E.* Sons against Fathers. Studies in Russian Radicalism and Revolution. Oxford, 1965. P. 88.

ва как класса в системе социальных связей страны и заложенные в нем экономические и социальные потенции. Не чем иным, как практическим воплощением такого рода стремлений идеологов революционного движения базировать свои планы социальных преобразований в стране на материальной основе являлась, например, герценовская теория «общинного социализма»¹.

Известно также, какие напряженные и глубокие исследования закономерностей и особенностей социально-экономического развития России предвляли разработку П.Н. Ткачевым плана организации крестьянской революции и социалистических преобразований в России², какая страстность и увлеченность пронизывают полемику Бакунина и Герцена о своеобразии крестьянской общины в России, условиях и способности ее к поступательному развитию³. Известно, наконец, что вся многогранная деятельность Н.Г. Чернышевского была подчинена единой цели – обоснованию необходимости социальных преобразований во имя социалистических идеалов, цели, которая обусловила интерес и внимание мыслителя к условиям жизни крестьянства: характеру поземельных отношений, влиянию крепостного права, а после реформы 1861 г. – его остатков на состояние и развитие крестьянского хозяйства⁴.

Крестьянский вопрос был в истории России XIX в. тем главным внутренним стержнем, на который нанизывалась и вокруг которого вращалась вся общественно-политическая жизнь страны. Поэтому глубокий интерес передовых общественных деятелей к крестьянству был не только закономерен, но и исторически неизбежен.

Мы убедились, что политические позиции революционной демократии не соотносятся буржуазными авторами с задачами общественно-исторического развития страны. Ее планы социальных преобразований изображаются в качестве неких абстрактных, полностью лишенных реальной почвы утопических прожектов. Даже требование уничтожения самодержавной власти рассматривается как нерациональное, осуществление которого могло бы лишь помешать поступательному развитию страны.

Этот конкретный вывод как нельзя лучше демонстрирует идейную направленность всех концептуальных построений буржуазных историков, отчетливо обнаруживая их ненаучность и даже откровенную абсурдность. Самодержавие, которое оценивается ими как сила, исключавшая самое возможность существования в России демократических традиций и институтов и, следовательно, задерживающая поступательное развитие страны, рассматривается в то же время как наиболее целесообразная, если вообще не единственно возможная здесь форма политической власти. И, соответственно, мысль о его ликвидации преподносится как несвоевременная и гибельная для общества в целом.

Такого рода противоречивые выводы побуждают некоторых исследователей обратиться к осмыслению социально-экономической основы революционно-демократической идеологии. Попытки объяснить становление и развитие революционной общественной мысли историческими условиями в стране вылились в тенденцию, достаточно отчетливо обнаружившуюся в западной историографии к середине 60-х гг. Она соотносится непосредственно с оформившимся в это время течением, объясняющим появление интеллигенции происходившими в России XIX в. социальными переменами.

Так, Лэмперт считает даже «общепринятым» положение о том, что русская политическая мысль была связана с внутренними проблемами своей страны «теснее, чем где бы то ни было в Европе». По его мнению, представление о русской социо-

¹ Подробнее об этом см.: *Смирнова З.В.* Социальная философия А.И. Герцена. М., 1973.

² См.: *Пустарнаков В.Ф., Шахматов Б.М.* П.Н. Ткачев – революционер, публицист, мыслитель // Ткачев П.Н. Соч.: В 2 т. М., 1975. Т. I. С. 6–90; *Шахматов Б.М.* П.Н. Ткачев: Этюды к творческому портрету. М., 1981.

³ См.: Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. СПб., 1906.

⁴ См.: *Розенфельд У.Д.* Н.Г. Чернышевский. Минск, 1972.

логии и философии как о «безобидном», чисто интеллектуальном занятии не было свойственно общественной жизни России XIX столетия¹. Та же мысль содержится и в утверждении Н. Чировского о том, что революционное движение всегда существовало в России как реакция не только на ее традиционный экстремальный политический, но и социальный консерватизм².

В этом плане заслуживает быть отмеченной работа американского историка А. Менделя «Дилемма прогресса в царской России». Полемизируя со своими соотечественниками А. Гершенкроном, О. Рэдки, Л. Хэймсоном и др., представлявшими революционный демократизм и, в частности, народничество «витавшей над облаками» теоретической доктриной, оторванной от реальной почвы и неспособной понять действовавшие в стране экономические силы, А. Мендель отмечает рациональный смысл народнической идеологии. Он трактует народничество как непосредственную реакцию на конкретную российскую действительность того времени. Немало причин, по его мнению, способствовало тому, что «богатые дворяне» Д.И. Писарев, А.И. Герцен и «блестящие журналисты» В.Г. Белинский и Н.К. Михайловский, люди хорошо образованные, целеустремленные и гордые собственным положением культурной элиты, не могли ограничиться самоусовершенствованием и удовлетворяться удобной жизнью своего класса. Состояние современной им социальной и политической жизни страны, «сила народных страданий» и неразвита экономика, не представлявшая широких возможностей для практических занятий, толкали их в оппозиционный правительству лагерь³.

Эти выводы заслуживают внимания как проявление стремления отдельных буржуазных историков к более глубокому осмыслению сути революционно-демократической идеологии. Однако они отнюдь не означают, что их авторам действительно удалось связать революционные теории с социально-экономическими процессами в стране. Мендель, например, как следует из дальнейших его рассуждений, вовсе не оправдывает политическую программу революционных народников. Ему импонирует в народничестве лишь субъективистское истолкование исторического процесса, а именно мысль о том, что только свобода воли и вытекающие из нее личная ответственность, мораль и справедливость являются подлинным «акушером социализма»⁴. Другими словами, он отмечает позитивный смысл народнических теорий лишь с целью обосновать вывод о том, что социализм вовсе не обусловлен объективно, но является следствием чисто субъективистских абстрактных теоретических построений.

Кроме того, идеология революционного народничества интересует автора лишь постольку, поскольку она явилась теоретической основой социально-экономической программы либерального народничества, в которой он усматривает глубокий реальный смысл. По его мнению, именно либеральное народничество и легальный марксизм являлись самыми существенными откликами на «трагическую ситуацию» в России в конце XIX – начале XX в. При этом социальная программа либеральных народников, стремится доказать А. Мендель, была жизнеспособнее и популярнее, поскольку-де она вела страну к действительной демократизации⁵.

Почему же в таком случае либеральные народники потерпели фиаско как политическая сила? Мендель объясняет это тем, что, концентрируя внимание на немедленном осуществлении программы социального равенства, они упустили наиболее эффективное средство борьбы за него – требование конституционных свобод. Если

¹ Lempert E. Op. cit. P. 137.

² Chirovsky. An Introduction to Russian History. N. Y., 1967. P. 149.

³ Mendel A. Dilemma of Progress in Tsarist Russia. Legal Marxism and Legal Populism. Cambridge, 1961. P. 14.

⁴ Ibid. P. 29.

⁵ Mendel A. Dilemma of Progress in Tsarist Russia. P. 232–233.

бы либеральные народники взяли на вооружение политическую программу легальных марксистов, считает историк, то они имели бы гораздо больше шансов на успех, чем любая другая политическая партия. Таким образом, работа А. Менделя с ее политическим подтекстом – неприятие революции как средства решения социальных конфликтов – не выпадает из общего потока рассматриваемой литературы о русском революционно-демократическом движении.

Не выпадают из этого потока и работы других авторов, пытающихся связать революционно-демократические теории с социальным развитием России. В их изображении исторические условия представляются лишь внешним фоном, на котором разворачивается драма автономных, лишенных классовой направленности идей, развивающихся по своей собственной внутренней логике. И когда М. Фейнсод, например, утверждает, что русская домарксистская революционная интеллигенция ориентировалась на крестьян потому, что видела в них «социалистов по инстинкту и революционной традиции»¹, он при этом не дает себе труда разобраться в действительной основе, породившей эту иллюзию.

Аналогичной является также позиция и других исследователей, которых отличает достаточно выраженное стремление к более объективному освещению исторических событий. Так, например, Е. Лэмперт, анализируя взгляды Чернышевского, пытается связать их с имевшими место в стране социальными процессами. Однако попытки эти оказываются несостоятельными. Отмечая, что Чернышевскому-мыслителю были свойственны «здоровая простота» и «ясное представление» о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о «подлинном» и «мнимом», он считает тем не менее, что мысль всегда была чем-то «отдельным» от него, хотя и составляла в то же время основу всего его существа². Это проявлялось в том, утверждает он, что Чернышевский обладал способностью в процессе полемики настолько заострять и развивать свои теории, что не оставалось места для собственных сомнений. В результате же его теории якобы лишались должной глубины и утонченности, чтобы быть способными правильно отражать реальность³.

Таким образом, и те наиболее вдумчивые исследователи, которые признают связь революционной мысли России с имеющими место в стране социально-историческими процессами, оказываются не в состоянии понять эту связь во всей ее диалектической сложности и глубине. Их признания остаются формальными, лишенными реального исторического обоснования. И в итоге, как мы убедились на примере рассуждений Е. Лэмперта, авторы приходят к традиционным в буржуазной историографии выводам об абстрактном характере русской революционно-демократической идеологии.

Объективности ради следует оговориться, что ряд историков (М. Раев, Е. Лэмперт, Н. Чировский и некоторые другие) не оценивают саму по себе убежденность радикальной интеллигенции в собственном долге представлять общенациональные интересы страны как необоснованные претензии лишенной на это морального права кучки «внутренних экспатриантов». Беда состояла в том, по их мнению, что предлагаемые революционными деятелями планы социальных преобразований были изначально лишены реальной исторической почвы в силу отсутствия в стране демократических традиций и институтов. В этом и заключались-де истоки и основа утопизма всех замыслов революционно-демократической интеллигенции.

Исследования других авторов, также пытавшихся раскрыть причины и смысл революционно-демократического движения на основе анализа конкретной исторической ситуации в России второй половины XIX в., столь же ненаучны. Они имеют общую для всех рассматриваемых работ основу – ошибочное положение о качест-

¹ *Fainsod M. How Russia is Ruled. Cambridge, 1963. P. 12.*

² *Lempert E. Op. cit. P. 137–138.*

³ *Ibid.*

венной однородности социально-экономических условий в стране на протяжении всей ее пореформенной истории.

В России после крестьянской реформы 1861 г. и вплоть до начала XX столетия (период, характеризуемый В.И. Лениным как эпоха радикальной ломки, «усиленного роста капитализма снизу и насаждения его сверху»¹) не произошло, по их мнению, никаких решительных перемен. Поэтому (утверждает, в частности, Р. Пайпс) перед социал-демократами стояли будто бы те же задачи, что и перед народниками, поскольку их «принципиальным врагом» была не буржуазия, а монархия в ее наиболее консервативной форме, и главной организационной базой являлось не рабочее движение, очень незначительное в стране со слабо развитой промышленностью, а интеллигенция².

В данном случае положение о неизменности социально-экономических условий в стране служит целям доказать мнимую идентичность задач, стоявших перед революционными движениями на совершенно разных этапах его развития. Это понадобилось, чтобы попытаться в очередной раз убедить читателя в отсутствии коренных отличий ленинизма от революционного демократизма и таким образом доказать недемократический характер преобразований, начатых Октябрьской революцией.

Настойчивое стремление изобразить русскую революционную социально-политическую мысль как цепь лишенных реальной исторической почвы бесплодных утопий приводит буржуазных исследователей к ошибочной трактовке ряда других связанных с нею проблем. В их числе особенно большое внимание авторов привлекает проблема идейных влияний Запада.

Трактуя интеллигенцию в качестве оторванной от общества и государства социальной группы, а ее теоретическую мысль в силу этого замкнутой на себя, буржуазные авторы приходят к выводу о неизбежной потребности последней во внешних стимулах для обеспечения своего развития. Отсюда, заключают они, и следовала особая подверженность русской общественной мысли западным влияниям. Как утверждал, в частности, Л. Хэймсон, на протяжении всего XIX в. русская интеллигенция находилась в постоянном поиске «философской панацеи», быстро переходя от одного «интеллектуального бога» к другому, поскольку ритмы ее исканий были более напряженными, чем темпы эволюции европейской мысли³.

Тезис о необычайной способности русских революционных мыслителей к некритическому восприятию философских и социально-политических теорий Запада особенно широко варьировался в буржуазных исследованиях в 50–60-е гг. Русская интеллигенция изображалась в них совершенно неспособной к самостоятельной творческой деятельности и слепо заимствовавшей социальные и политические идеи Запада. Так, по словам Р. Дэниельса, русские мыслители всегда самоотверженно следовали «каждой новой радикальной или утопической доктрине, появлявшейся в Европе»⁴. К. Тидмарш утверждал вслед за веховцем М. Гершензоном, что в русской социально-политической мысли не было и подобия самостоятельного национального развития. Поэтому, считал он, в ее истории следует выделять не этапы внутренней эволюции, а периоды преобладания той или иной иноземной доктрины⁵. Столь же категоричен в своих утверждениях на этот счет Ф. Помпер. По его мнению, в истории русского революционного движения вообще отыщется очень немного эпизодов, которые «прямо или косвенно не были бы связаны с загранич-

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 38, 102–103.

² Pipes R. Russian Marxism and its Populist Background // Russian Review. 1960. № 4. P. 318.

³ Haimson L. The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism. Cambridge, 1955. P. 8.

⁴ A Documentary History of Communism from Lenin to Mao / Ed. by R. Daniels. N. Y., 1966. P. XXVII.

⁵ Tidmarsh K. Lev Tikhomirov and a Crisis in Russian Radicalism // The Russian Review. 1961. Vol. 20, № 1. P. 45.

ными событиями»¹. Помпер считает, например, что П.И. Пестель, создавая Русскую Правду, исходил не из исторического опыта своей страны (он лишь использовал русскую терминологию), а из опыта французской революции и Северо-американской республики². Хотя, замечает далее исследователь (в соответствии со своей трактовкой истории русского революционного движения как истории усиления западного влияния), П.И. Пестель еще не утратил окончательно связи с общественными задачами и потребностями своей страны, что произошло позже с представителями последующих поколений революционеров³.

Не трудно догадаться, что тезис о прямой зависимости общественной мысли России от социально-политических теорий Запада имеет своей гносеологической основой не только неверное истолкование своеобразия русской интеллигенции как социально отчужденной группы, но и традиционное в буржуазной историографии ненаучное представление об извечной отсталости России, побуждавшей ее с самого начала к заимствованию «образцов Запада». Под таким углом зрения процесс социально-экономического развития страны предстает, что уже отмечалось нами, в качестве процесса ее «вестернизации», охватившего все сферы национальной жизни. Он-то будто бы и обусловил внешне кажущийся «парадоксальным» (учитывая выраженное национальное своеобразие России) факт огромного влияния общественной мысли Запада на русскую «интеллектуальную элиту». Это обстоятельство старается особо отметить в своих работах М. Раев⁴.

Развивая и обосновывая данное положение, Р. Пайпс предложил в свое время любопытную схему, объясняющую, по его мнению, необычайную восприимчивость русской социальной мысли к инациональным влияниям. Он выделяет в содержании понятия «вестернизация» два аспекта: широкий – «культурная вестернизация», означающий принятие Россией европейского образа жизни в целом, и узкий – «философская вестернизация» – заимствование западных теорий и идейных течений⁵. «Культурная вестернизация» подготовила, в его трактовке, широкое восприятие русской общественной мыслью различных европейских интеллектуальных веяний. Обусловив появление в стране значительного слоя секуляризованного, либерально мыслящего дворянства, особенно заметно возросшего численно во второй половине XVIII в. (после отмены в 1762 г. обязательной службы дворян) и превратившегося в праздный класс, она тем самым создала благоприятную почву для заимствования европейских идей и теорий⁶.

Таким образом, концепция «вестернизации» являлась теоретическим обоснованием в решении буржуазными авторами проблемы места и роли инациональных идейных влияний в интеллектуальной истории России. Мы убедились на примере рассуждений Р. Пайпса и М. Раева, что особая восприимчивость русской интеллигенции к влияниям общественной мысли Запада трактуется как прямой результат и в то же время неотъемлемая составная часть процесса «вестернизации» страны. Американский исследователь Т. фон Лауэ, как бы подводя итог этим теоретическим построениям, утверждает, что вообще все основные устремления Русского государства и общества могут быть осмыслены «только в европейском контексте», как «эхо западных тенденций»⁷.

Провозглашая беспрецедентное влечение русской интеллигенции к некритическому восприятию философских и социально-политических теорий Запада, буржу-

¹ Pomper Ph. The Russian Revolutionary Intelligentsia. P. 11.

² Ibid. P. 23.

³ Ibid.

⁴ См., напр.: Raeff M. Origin of the Russian Intelligentsia. N. Y., 1966. P. 150.

⁵ Pipes R. The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia // Daedalus. 1960. Summer. P. 487.

⁶ Ibid. P. 488.

⁷ Laue Th. von. The State and Economy // Russian Economic Development from Peter the Great to Stalin. P. 200.

азные авторы объясняют это не только ее мнимой неспособностью создать собственные теоретические ценности (результат отсталости страны и социальной отчужденности самой интеллигенции), но также еще и тем, что ей будто бы было имманентно присуще «побуждение к идеальному». В такой ситуации тяготение к духовному миру Запада становилось одной из важнейших национальных особенностей России¹.

В итоге, согласно утверждению рассматриваемых авторов, интеллектуальная история России являла собою ряд сменявших друг друга заимствований инонациональных культур, когда русские мыслители почти без разбора хватались за всякую новую западную теорию, будучи далеко не всегда способными глубоко разобраться в ее содержании². Создавался порочный круг: по мере увлечения западными идеями все более усиливался разрыв между воображаемым миром мыслителя и реальными условиями его жизни³, ибо заимствованные идеи были слишком тесно связаны с национальными институтами и политической ситуацией в Западной Европе, чтобы выполнить позитивную функцию в России⁴. А с другой стороны, этот отрыв интеллигенции от реальности еще настойчивее толкал ее в объятия западных доктрин.

Рассмотренная западнцентристская схема решения вопроса об инонациональных влияниях ненаучна в своей основе. Она исходит из заведомо ложных методологических установок, отрицая самое возможность самостоятельного экономического и культурного роста России (как и любой другой «азиатской» страны) без заимствования европейских форм жизни, игнорируя роль материальной основы в зарождении и развитии духовной культуры общества в целом.

Трактовка проблемы идейных влияний Запада на русскую общественную мысль лишний раз подтверждает, что общим исходным положением, с позиций которого все без исключения буржуазные авторы пытаются раскрыть не только подоплеку революционных теорий, но и их национальную специфику, является тезис о детерминированности русской истории автократической формой государственной власти, определившей собою характер всех сфер жизни страны. «Не будет преувеличением сказать, – утверждает, например, Г. Сетон-Уотсон, – что с того времени, когда Россия начала борьбу за освобождение от татарского ига... каждое значительное изменение было обязано власти монарха»⁵. Это обстоятельство, согласно их концепциям, и породило специфическое в своей основе общественно-революционное движение, повлияв также и на содержание революционной мысли.

Исходя из заведомо ложного тезиса о том, что революционная интеллигенция совершенно абстрагируется от конкретной исторической действительности своей страны, ее общественных потребностей и, соответственно, от настроений масс⁶, буржуазные исследователи приходят к ошибочным выводам относительно основных черт и своеобразия русской революционной мысли. Утверждается, прежде всего, что, будучи лишенной внешних источников движения, она оказывается

¹ *Pomper Ph.* Op. cit. P. 8.

² К числу некритически заимствованных, а потому непонятых и даже искаженных теорий некоторые авторы относят марксизм, пытаясь тем самым подтвердить свой тезис о его беспочвенности в России (см., напр.: *A Documentary History of Communism from Lenin to Mao.* P. XXVII; *Wolf B.* Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought. P. 185; *Szamuely Th.* Op. cit. P. 179.

³ *Haimson L.* Op. cit. P. 7; см. также: *Nahirny V.* The Russian Intelligentsia. From Men of Ideas to Men of Convictions.

⁴ *Raeff M.* Op. cit. P. 145.

⁵ *Seton-Watson H.* The Russian Empire. P. 226; см. также: *Haimson L.* The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism. P. 40.

⁶ По мнению А. Гершенкрона, например, «интеллектуальная история» России всегда шла в обозе ее «экономической истории» (*Gershencron A.* Europe in the Russian Mirror. P. 4).

замкнутой в рамках своих надуманных логических конструкций и постепенно приходит к полной утрате способности преодолеть свою сектантскую замкнутость¹.

Вопреки общеизвестным историческим фактам, свидетельствующим о стремлении русских революционных мыслителей разработать свою революционную теорию, опираясь на реальную историческую почву, рассматриваемые авторы утверждают, что радикально настроенная интеллигенция утрачивает не только возможность, но со временем и самое желание понять направление и задачи исторического развития страны². Она все более убеждается, что лишь абстрактная, выработанная ею программа рационально организованного общества может привести Россию к желанному равенству и свободе³.

В результате, как считает, например, Б. Вольф, радикальная интеллигенция создает свои собственные идеалы свободы – «свободы от реальности, от практической деятельности, от связи с обществом»⁴. В этом состоянии интеллигенция, по его мнению, полностью избавляется от «каких-либо ограничений в спекуляции и догматизме», обретая в высшей степени безответственный характер⁵.

При этом, протестуя против суровых догм официального режима, революционеры, по утверждению буржуазных авторов, сами устанавливают «интеллектуальный деспотизм» и столь же строгую цензуру. «Когда паук доктрины начинает свою работу, живой дух движения затягивается в стальной корсет неизменяемых формул» и исчезает сама возможность действовать для общества, – пишет К. Тидмарш, повторяя в данном случае слова Л. Тихомирова, пытавшегося оправдать свое ренегатство⁶. В такой ситуации поиск революционными мыслителями абстрактных идеалов, изучение и конструирование широких философских схем становятся, по мнению рассматриваемых авторов, смыслом и целью всего их существования. Оказавшись в изоляции, пишет Т. фон Лауэ, русские революционеры «искали утешения в экстремистском видении человеческого счастья»⁷.

В ряду других константных характеристик русской революционной общественной мысли едва ли не первостепенное место отводится вере в силу и успех волевых действий во имя реализации абстрактных моральных принципов. Эта вера явилась, по мнению буржуазных авторов, прямым отражением того, что с самого начала определяющую роль в России играли «идеи, вожди, сила, власть»⁸.

С. Томпкинс пытается дать этому тезису историческое обоснование. Поскольку, пишет он, существовавший в России порядок всегда опирался лишь на «слепое» насилие, не освещенное теоретическим осмыслением опыта прошлого (правительство никогда не давало себе труда заняться этим), создавалась иллюзия, вводившая в заблуждение неуравновешенные умы, будто потребуются лишь сравнительно небольшое усилие, которого будет достаточно для свержения существовавшего порядка и установления «золотого века». Именно по указанной причине русская радикальная интеллигенция, не имея, по его утверждению, должного опыта и прочных привязанностей к прошлому, которые бы побуждали к осторожным действиям, легко воспринимала революционные идеи, выраженные в наиболее экстремистской форме⁹.

¹ Charques R. Op. cit. P. 153.

² Gershencron A. The Problem of Economic Development in Russian Intellectual History of Nineteenth-century. P. 37, 38.

³ Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia. P. 12.

⁴ Wolf B. Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought. P. 178.

⁵ Wolf B. Op. cit. P. 178; Meyer A. Leninism. Cambridge, 1957. P. 20.

⁶ Tidmarsh K. Op. cit. P. 48.

⁷ Lane Th. von. Why Lenin? Why Stalin? A Reappraisal of the Russian Revolution. 1900–1930. N. Y.; Lipencot, 1964. P. 87.

⁸ Daniels R. Lenin and the Russian Revolutionary Tradition. P. 351. Подробнее о взглядах Дэниельса см.: Кузнецов В.Н. Фальсификация истории русской революционной мысли // Вопросы философии. 1960. № 1. С. 179–180.

⁹ Tompkins S. The Russian Intelligentsia. P. 46–48.

В целях доказательства своего вывода Томпкинс не гнушается и откровенной фальсификацией истории. Отрицая общеизвестные факты о попытках русского самодержавия в XIX в. вести борьбу против растущего общественного брожения с помощью идейного оружия – теории «официальной народности», он утверждает, что правящая власть в стране всегда опиралась лишь на силу, не апеллируя никогда к идеологии как обобщенному опыту прошлого, и даже в борьбе с либералами прибегала лишь к насилию или заимствованным из арсенала Западной Европы теориям, имевшим весьма приблизительное отношение к отечественным проблемам¹. В результате в стране якобы полностью отсутствовали какие-либо собственные позитивные традиции.

Таким образом, характерная, в представлении американских и английских авторов, для страны гипертрофия роли государства и действительности власти, а отнюдь не конкретная общественно-историческая обстановка явилась детерминантов революционно-демократической идеологии с ее проповедью субъективизма и волюнтаризма.

Все рассуждения буржуазных историков относительно ведущих свойств революционно-демократических теорий нацелены на то, чтобы доказать их элитарный, антидемократический характер. Они пишут, что в стране, которая уже шла чуть ли не семимильными шагами по пути высокого технического и социального прогресса и в которой в силу этого будто бы более популярной была либеральная программа преобразований, революционные теории не могли быть ничем иным, как чисто умозрительными, беспочвенными утопиями.

Мы убеждаемся, что в основе доминирующих в современной буржуазной историографии концепций относительно истоков и своеобразия русской революционно-демократической мысли, так же как и в интерпретации причин формирования самой интеллигенции, лежат веховские трактовки. По сути в них повторяется на разные лады основной тезис А.С. Изгоева о том, что самодержавие настолько «оторвало» интеллигенцию от «реальной жизни и существующих в стране общественных сил», что на всех ее «идеальных порывах и общественных начинаниях» лежала печать «какой-то нежизнеспособности, отвлеченности и несерьезности»². Варьируется в рассмотренных концепциях и мысль Булгакова об «отраженном влиянии» самодержавного полицейского режима на психологию русского интеллигента, его судьбу, душу и мирозерцание³, а также утверждение Бердяева о том, что вся социальная философия русской интеллигенции есть не что иное, как сплошная, выработанная нашей историей «аберрация сознания»⁴.

Это еще раз подтверждает, что труды рассмотренных нами буржуазных авторов, занимающихся историей русской революционной общественной мысли, не отличаются ни серьезная забота об объективной истинности своих исследований, ни сознание важности их идейно-методологической четкости.

ГЛАВА III. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ АНГЛИЙСКИМИ И АМЕРИКАНСКИМИ БУРЖУАЗНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННО- ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

С конца 60-х гг. английская и особенно американская буржуазная историография русской революционной интеллигенции и общественной мысли отмечены но-

¹ *Tompkins S.* The Russian Intelligentsia. P. 46.

² *Изгоев А.С.* Русское общество и революция. М., 1910. С. 20, 21.

³ *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи. СПб., 1909. С. 38.

⁴ *Бердяев Н.А.* Указ. соч. С. 20.

вым витком активного научного поиска. Это обстоятельство не является случайным. Быстро меняющаяся картина современной жизни, когда рост революционного движения, а также молодежного, становясь неотъемлемым фактором реальности, заставляет буржуазных исследователей и политиков пересматривать свои прежние трактовки феномена революции и революционной интеллигенции.

Напряженная динамика социально-политического развития, своеобразие революционного движения в отдельных странах, обусловленное спецификой их классовой структуры, появление в капиталистических странах разного рода «контркультур» как несомненного выражения оппозиции молодого поколения существующим социальным традициям и институтам¹, настоятельно диктуют необходимость более глубокого осмысления русского революционно-демократического движения. В кругу проблем его истории, как и прежде, особое внимание буржуазных авторов привлекают причины появления и национальное своеобразие интеллигенции, истоки и социальная природа ее общественно-политических теорий.

Эти проблемы со всей настоятельностью возникают перед буржуазными историками также в связи с растущей у них неудовлетворенностью собственной методологией и усиливающимся влиянием советской исторической науки, проявляющимся не только в самом факте признания ими научной значимости работ советских авторов, но и в аргументированной полемике с ними, а также в принятии некоторых содержащихся в работах выводов и наблюдений.

1. Психоаналитические концепции причин революционно-демократического движения

Наиболее реакционное направление в трактовке буржуазными авторами причин революционно-демократического движения представлено психоаналитическими концепциями, занявшими в настоящее время важное место в арсенале средств наступления западной историографии на марксистскую теорию социальной революции.

Сложившись на рубеже XIX–XX столетий как своеобразное теоретико-методологическое направление, ставящее задачей выявление роли психики в деятельности личности, психоанализ очень скоро проник в целый ряд наук о человеке, в том числе и в историю, где он развивался особенно сильно в последние два десятилетия².

Интерес буржуазных историков к психоанализу не случаен. Обнаженность внутренне присущих современному капиталистическому обществу жестокости и насилия порождает в людях пессимизм и неуверенность в своем будущем, вселяет страх перед некими якобы неосознаваемыми и потому неуправляемыми антисоциальными силами, обостряя вместе с тем интерес к внутренним, скрытым мотивам поведения человека. Все это побуждает к исследованию потаенных сторон человеческой психики. Обращаясь к психоанализу, историки надеются проникнуть дальше «привычного уровня осознанных мотивов поведения», чтобы проанализировать его глубинные, не осознаваемые самой личностью причины³.

Исходя из признания единства осознанного и подсознательного в человеческой психике, психоанализ обладает возможностями действительно научного объективного анализа исследуемых проблем. В частности, он создает условия для углублен-

¹ Подробнее об этом см.: Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры: Инфантилизм как тип мировосприятия и социальная болезнь. М., 1980.

² См.: Гаджиев К.С., Сивачев Н.В. Проблемы междисциплинарного подхода и «новой научной» истории в современной американской буржуазной историографии // Вопросы методологии и истории исторической науки. М. 1978. Вып. 2. С. 110–163.

³ Izenberg G. Psychohistory and Intellectual History // History and Theory. 1975. Vol. XIV. № 2. P. 140.

ного понимания сути индивидуального и его проявления в социальных процессах и событиях¹. Однако возможности эти остаются в буржуазной историографии нереализованными.

Все еще не являясь четко разработанной научной концепцией со сложившимися понятиями и определившейся предметной областью приложения, психоанализ представлен разного рода течениями и модификациями даже своих исходных положений, что создает благоприятную почву для проникновения в него и оказания большого влияния идеологических наслоений. Наиболее явственно это обнаруживается в истории в силу уже самой природы ее как науки, призванной формировать общественное сознание. Идеологические напластования фактически выполняют здесь роль философско-методологической базы психоанализа, нередко при этом не просто искажая, но и прямо подменяя собою научное исследование.

Особое внимание приверженцев психоанализа привлекает деятельность исторических личностей в переломные моменты истории и прежде всего в периоды революций или попыток их свершения. Обращение к психике человека в качестве фактора, определяющего его функциональную роль, не только создает дополнительную возможность ухода от анализа социальных явлений в объяснении мотивов революционной деятельности, но и позволяет изображать саму эту деятельность как следствие и проявление скрытых иррациональных сторон личности – самых темных, низменных (почти на уровне животных) инстинктов, кроющихся-де в самой природе психики человека и в обычное время сдерживаемых законами, общественными институтами и общепринятыми обыденными условностями. Это наилучшим образом отвечает решению главной идеологической задачи буржуазных обществоведов – дискредитировать революцию как метод решения социальных проблем и как форму общественного прогресса.

Ставя своей целью преодолеть «интуитивный» уровень в рассмотрении вопроса об отношении личности и социальной среды², «психоисторики» отнюдь не пытаются полностью заменить историю анализом лишь психики индивида, ибо полагают невозможным свести исторические процессы и события к действию какой-либо одной причины. И все же обращение к рассмотрению психологических мотивов действий личности при условии игнорирования ее общественно-исторического опыта в качестве главной детерминанты этих мотивов с логической неустранимостью приводит к фиксации внимания на роли подсознательного. Социальный же опыт рассматривается в лучшем случае как фактор, корректирующий психическую деятельность человека, но не определяющий ее³.

Как и следовало ожидать, пристальный интерес «психоисториков» вызывают участники русского революционно-демократического движения. Он подогревается давно утвердившимся в буржуазной историографии и еще не изжитым полностью представлением о русской интеллигенции как своеобразной группе, особо приверженной к насильственному революционному способу социального действия. Кроме того, признание многими из рассматриваемых авторов наличия в русском революционном движении выраженных мессианских черт, несомненно, подкрепляет интерес «психоисториков» к его прошлому, поскольку мессианство увязывается ими с самолюбованием, являющимся, по Фрейд, одним из основных свойств биопсихической природы человека.

Нельзя не отметить также и того обстоятельства, что психоаналитический подход к трактовке русского революционного демократизма (причин его возникновения и основных сущностных черт) нашел для себя здесь уже подготовленную поч-

¹ Подробнее см.: Клеман Б., Брюно П., Сэв Л. Марксистская критика психоанализа. М., 1976. С. 45.

² *Pois R. Historicism, Marxism, and Psychohistory: Three Approaches to the Problem of Historical Individuality // The Social Science Journal. 1976. Vol. 13, № 3. P. 77.*

³ Подробнее см.: Клеман Б., Брюно П., Сэв Л. Указ. соч. С. 204.

ву в веховской концепции. Ее исходным положением являлся тезис о расщепленном сознании русской революционной интеллигенции, полном высвобождении его из-под контроля воли, а как следствие этого – признание глубоких патологических изменений в психике и интеллекте революционных деятелей¹. И наконец, привлечению внимания приверженцев психоанализа к истории русской революционной демократии в немалой степени способствовал долгое время безраздельно господствовавший в современной исторической литературе Запада тезис о чувстве отчужденности как главном психологическом импульсе, обусловившем не только направленность и активность социальной деятельности русской интеллигенции, но также особую остроту и драматизм ее внутренних конфликтов и переживаний.

Буржуазные авторы обращаются главным образом к рассмотрению тех событий и ситуативных моментов, которые, по их мнению, могли оказать деформирующее влияние на психику человека, культивируя в нем жестокость и стремление к насилию. Революционные действия трактуются ими как проявление «эмоциональной реакции», а революционные теории – как попытки «рационализировать» свои «личные страсти», облечь их в «научные одежды». Так, в частности, оценивает марксизм Ю. Мэтвин, утверждающий, что Маркс создал свою теорию, движимый «ненавистью» и «честолюбием»².

Аналогичным образом английские и американские «психоисторики» (Р. Хейр, Л. Хэймсон, А. Улам, Э. Лэмперт) пытаются осветить истоки социальных воззрений и мотивы деятельности русских революционных демократов. В их изображении Н.А. Ишутин, С.Г. Нечаев, И.А. Худяков, Д.В. Каракозов, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин и др. были «явными психопатами», обнаружившими очевидные признаки «умственной нестабильности», личностями, поведение которых вообще не может быть объяснено в рамках рационального.

Особенно пристальное внимание авторов привлекает фигура Нечаева. Его революционный фанатизм, доходивший до отрицания элементарных норм этики и морали, с давних пор стал объектом разного рода психоаналитических упражнений. «Забыв» общеизвестный факт резко отрицательного отношения к «нечаевщине» в кругах русской революционной демократии, «психоисторики» пытаются изобразить ее явлением не только типичным для русского революционного движения в целом, но и «единственным в своем роде в современной истории насилия»³. В данном случае, как и во многих других, искажая в угоду своим предвзятым выводам и схемам действительные исторические факты (в том числе и события современной политической истории), буржуазные авторы пытаются в очередной раз дискредитировать русское.

В свете сказанного становится понятной главная причина того устойчивого интереса, который они, особенно приверженцы «психоистории», неизменно проявляют к личности Нечаева. Они изображают Нечаева, как и целый ряд других революционных деятелей 60-х гг., «психопатом», движимым «болезненной ненавистью» ко всему и вся⁴.

Не менее часто сторонники психоанализа обращаются также к истории жизни и деятельности М.А. Бакунина, чья необычайно сильная, эксцентричная натура всегда привлекала внимание сначала своих современников, затем историков. Первым, кто обратился к изучению этой яркой и самобытной личности, был Э. Карр. Исследователь либерально-объективистского направления Карр едва ли может быть отнесен к числу последователей «психоистории». И тем не менее влияние традици-

¹ См., напр.: Гершензон М. Творческое самопознание // Вехи. СПб., 1909. С. 79, 81, 89.

² Methvin E. The Rise of Radicalism. The Social Psychology of Messianic Extremism. Arlington House, 1973. P. 181.

³ Ulam A. In the Name of the People. N. Y., 1977. P. 157.

⁴ Ulam A. Op. cit. P. 142, 143; Methvin E. Op. cit. P. 6.

онного в буржуазной историографии интереса к человеку как основному «объекту исторического исследования»¹ и неизбежная в рамках буржуазной методологии истории гипертрофия внимания к психической стороне человеческой деятельности обусловили в конечном счете психоаналитический уклон исходных позиций исследования Карра о Бакуnine. В оценке историка личность Бакунина являла собой один из тех феноменов, которые не могут быть объяснены в пределах рационального. «Болезненные амбиции» революционера, его «метания» как в теоретической, так и практической сферах деятельности были, с точки зрения Карра, лишь следствием и проявлением особенностей психики, обусловленных врожденными психофизиологическими комплексами и семейным воспитанием².

В более детализированной и в то же время обобщенной форме эта оценка личности Бакунина дана в работах ряда других авторов. В частности, Р. Хэйр полагает, что вследствие выраженного своеобразия психофизиологической натуры Бакунина свойственная русской интеллигенции «диссоциация личности с реальным миром» приобрела у него особенно гипертрофированные размеры³. Л. Хэймсон изображает Бакунина «авантюристом» и «политическим шарлатаном», «создавшим легенду о собственной храбрости». Он пишет, что его анархистские взгляды и необузданное бунтарство против любой формы власти, олицетворявшей собою социальный мир и порядок, не могут быть объяснены в рациональных терминах⁴. Причины столь выраженного своеобразия личности Бакунина эти исследователи, как и Карр, усматривают в условиях воспитания революционера в детские и юношеские годы. Деспотический характер матери, мелочный, навязчивый контроль и регламентация в военном училище, где Бакунин провел почти пять лет, определили, по их мнению, особенности психического склада его натуры, выразившиеся в ничем не сдерживаемом, патологическом стремлении к некоей химерической, неограниченной личной свободе⁵.

Итак, в патологии ума и психики кроются, по мнению «психоисториков», основные причины обращения русских демократов к революционной борьбе. Объяснение же самим патологическим отклонениям в психике революционных личностей они пытаются отыскать в условиях воспитания и формирования их в раннем возрасте. При этом во внимание берется отнюдь не вся совокупность опыта ребенка, полученного из наблюдений окружающей социальной среды, но, как правило, опыт, выведенный лишь из какого-либо одного, в лучшем случае нескольких событий, определивших подсознание, а следовательно, и психологический тип формирующейся личности, обусловивший затем весь дальнейший жизненный путь уже взрослого человека. Так, например, Ю. Мэтвин, оговариваясь, что он «ничего не знает» о «ранней жизни» Нечаева, считает тем не менее, что одного известного случая наказания его в детские годы отцом за непроизвольно совершенный проступок вполне достаточно, чтобы оценить его как «поворотный», обусловивший всю дальнейшую революционную карьеру Нечаева⁶. Подобным же образом Мэтвин объясняет и истоки социально-политических воззрений Н.Г. Чернышевского, особо выделяя чувство «элитности» и «манию величия» в качестве черт, определяющих взгляды и деятельность великого русского мыслителя. Он выводит их лишь из опыта семинарского образования⁷.

¹ См.: Могильницкий Б.Г. К вопросу о понимании истории в современной буржуазной литературе // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1977. Вып. 12. С. 22.

² Carr E. Michael Bacunin. N. Y., 1961. P. 150.

³ Hare R. Portraits of Russian Personalities between Reform and Revolution. N. Y., 1959. P. 20, 21, 34.

⁴ Haimson L. The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism. Cambridge, 1955. P. 7, 8.

⁵ Ibid.

⁶ Methvin E. Op. cit. P. 7.

⁷ Ibid. P. 187.

Откровенно спекулятивные, идеологически нацеленные попытки «психоисториков» объяснить революционную деятельность исходя только из отдельных фактов ранней биографии революционеров вызывают возражения у самих приверженцев психоанализа¹, поскольку такого рода исследования противоречат заложенным в психоанализе тенденциям научного познания духовной жизни человека, рождая новые вопросы, ответы на которые не могут быть найдены в рамках «психоистории». И хотя критика подобных психоаналитических трудов со стороны самих буржуазных авторов продиктована прежде всего стремлением к «чистоте» психоанализа, она заставляет его приверженцев совершенствовать свой метод, проявляя, в частности, более серьезное внимание к разработке его теоретических основ.

Все чаще и настойчивее подчеркиваются познавательные возможности психоанализа в качестве единственного метода исторического исследования, способного решить вечную проблему взаимодействия индивидуального и общего, личности и социальной среды, преодолев традиционный разрыв между ними². Это обстоятельство и озабоченность реальными жизненными вопросами заставляют исследователей искать более приближенные к адекватному освещению действительности «сбалансированные» трактовки.

Существенную роль при этом играет изменившийся в буржуазной социологии взгляд на революцию, которая рассматривается уже не как «историческая аномалия» или случайный в жизни общества разрыв социальных связей, но как один из методов общеисторического процесса модернизации (метод хотя и дорогостоящий и потому нежелательный, но объяснимый и даже правомерный в определенных конкретно-исторических условиях). Характеристика революционеров как патологических личностей, движимых лишь наиболее низменными подсознательными импульсами, подавляющими их интеллект и определяющими поведение, уже не соотносится с новым подходом к интерпретации революции.

Что касается истории русского революционного движения, то здесь стремление «психоисториков» к совершенствованию своего метода исследования находит дополнительный стимул в отказе от прежних трактовок революционной интеллигенции как исключительно национального феномена. Появляется тенденция глубже осмыслить сущностные черты психики революционной личности с учетом ее социального опыта. Это приводит к признанию значительной роли сознательного в мотивации революционной деятельности. Так, в частности, ряд историков (Н. Перейра, А. Мастере, Д. Харди, Э. Акстон) интерпретируют сейчас причины обращения передовых представителей русской демократии к революционной борьбе.

При этом не просто учитывается, но даже особо подчеркивается влияние социокультурной среды на подсознание всякой исторической личности³. Утверждается, что биопсихическая натура человека не вытесняет интеллект, но функционирует в сбалансированной с ним форме, беря верх лишь в определенных конкретно-исторических условиях, когда личность в силу ряда объективных причин утрачивает способность адекватно осмыслить сложившуюся ситуацию и правильно оценить свою собственную роль в обществе. Под этим углом зрения «психоисторики» оценивают причины обращения представителей русской революционной демократии к революционной борьбе.

Учитывая новейшие социологические трактовки русской революционной интеллигенции как универсального исторического феномена, возникшего на опреде-

¹ Izenberg G. Op. cit. P. 139.

² Подробнее см.: *Pois R. Historicism, Marxism, and Psychohistory*. P. 83, 87, 90.

³ В этом состоит основное отличие современных новейших психоаналитических направлений от ортодоксального фрейдизма, обосновывающего тезис о врожденном характере подсознательного (см.: *Подопригоренко С. Проблемы «психоистории» в западногерманской литературе* // Материалы региональной научно-практической конференции. Томск, 1980. С. 113).

ленной стадии социокультурного развития, они рисуют революционеров-демократов деятелями, движимыми глубокой верой в конструктивные силы науки и убежденностью в возможности «рациональной организации» общества. Соответственно этому существенно пересматривается психологический облик революционной личности. Признается, что она неординарна, сложна, импульсивна, но всегда талантлива и способна к глубокому проникновению в смысл исторических событий. Мотивы ее действий всегда гуманны и высоконравственны. Однако объективные обстоятельства (единоборство с жестоким и мстительным миром) приводят к нарушению баланса в соотношении сил интеллекта и подсознания. Последнее берет верх. В результате личность, стремясь реализовать свои гуманные социальные идеалы, прибегает к ошибочным негуманным, насильственным средствам борьбы.

Теоретически этот вывод формулирует, в частности, американский историк Н. Перейра¹. Анализируя взгляды и деятельность Н.Г. Чернышевского, он рисует великого русского мыслителя деятелем, глубоко вобравшим в себя и отразившим специфические черты своей эпохи. Типичный представитель передовой русской интеллигенции середины XIX в., нашедший в науке единственно доступную себе сферу деятельности и потому погрузившийся в нее с особой страстью и энергией, Чернышевский, в изображении Перейры, в силу своеобразных обстоятельств ранних лет своей жизни наиболее рельефно и полно воплотил присущую русской интеллигенции веру в возможность построения «рационального», теоретически обоснованного общества.

«Одинокое детство» в условиях высоконравственной и интеллектуальной атмосферы семьи Чернышевских, сильная до болезненности любовь и привязанность матери, а также глубокая религиозность и напряженная умственная работа одаренного мальчика – все это привело к тому, что уже в ранние годы в Чернышевском были заложены те интеллектуальные и психические основы, которые определили облик революционера-мыслителя в пору его зрелости. Чувство справедливости, укorenившееся в нем в результате усвоения учения христианской церкви, и не по годам развитая ученость, которая не могла быть легко достигнута, как и не могла остаться без последствий, обусловили в нем, по мнению Перейры, убежденность в собственном моральном и интеллектуальном превосходстве.

Эти качества развились в Чернышевском особенно мощно и сильно, явившись своеобразной «психологической защитой» от присущего ему с детства чувства неуверенности и застенчивости как следствий явной задержки эмоционального развития (феномен «старого-молодого» человека)². С одной стороны, «интеллектуальная воинственность» и «претенциозность» и даже «окрашенное паранойей» бахвальство, с другой же – полное отсутствие «социальности», как если бы мир оканчивался на грани «собственного видения», а все то, что было за его пределами, выглядело «туманным» и «потенциально враждебным»³.

Столь противоречивые свойства натуры обусловили в конечном счете, полагает историк, специфику Чернышевского как революционного мыслителя, в котором «чувство отчужденности от людей» оказалось прямо пропорциональным силе чувства «сопричастности с абстрактным человечеством»⁴, и в этом Чернышевский был типичной фигурой поколения 60-х гг., являя собой «микрокосм» русской интеллектуальной жизни в целом. Однако, оговаривается исследователь, Чернышевского, как и разнотинцев вообще, отнюдь нельзя считать мизантропом, лишь скрывающим под маской социальной философии любви свою поглощающую ненависть ко всему⁵.

¹ *Pereira N. The Thought and Teaching of N.G. Chernyshevsky. Mouton: The Hague-Paris, 1975.*

² *Ibid. P. 15, 20, 21, 24.*

³ *Ibid. P. 94.*

⁴ *Ibid. P. 95.*

⁵ *Ibid. P. 108.*

Ключ к разгадке его личности, как и всего поколения революционеров-шестидесятников, следует искать, по мнению автора, «во внутренней зависимости социального и психологического факторов», механизм взаимодействия которых довольно прост. Неизбежное в социальной борьбе нарушение общепринятых норм и столь же неизбежное последующее осуждение действий участников этой борьбы со стороны общества в добавление к несправедливым гонениям властей на этих и без того необычайно чувствительных личностей, еще более укрепляло в них психологическую установку к мятежу¹. В результате, утверждает Перейра, история русской революционной демократии явила собой «классический пример максимы», состоявшей в том, что чем ужаснее реальность, тем «грандиознее и разрушительнее панацея», ибо в революционной борьбе в конечном счете всегда происходит перевес психологических (био психических) сил над интеллектом².

В данном случае мы сталкиваемся с таким примером «психоисторических» построений, когда автор пытается уравновесить действие «внутренних» и «внешних» факторов, дополняя бессознательные психологические импульсы осознанными мотивами поведения революционера. Однако, поскольку теоретическое осмысление революционерами социальных проблем изображается слишком абстрактным, оторванным от реальной почвы, в этих построениях подсознательные мотивы поведения одерживают верх над сознательной деятельностью, определяя в итоге ее смысл и направленность.

Подобного рода рассуждения есть не более чем разновидность «методологического плюрализма», в рамках которого, как отмечают сами буржуазные исследователи, автор может давать одно объяснение, не исключая в то же время, а в случае необходимости даже используя, и другое³.

В таком же плане интерпретируются истоки революционных воззрений и причины деятельности М.А. Бакунина английским историком А. Мастерсом⁴. Политическое кредо автора, определившее его подход к объекту своего исследования, вполне отчетливо проявляется в рассуждениях о содержании понятия «анархия». Трактую этот термин как синоним неограниченной политической свободы, Мастерс разделяет убеждение тех, кто считает анархизм целью «самоотверженных» и «искренних гуманистов». К числу последних он относит не только «новых левых», выступающих под девизом бакунинских строк: «Страсть к разрушению есть в то же время созидательная страсть», но и всех тех, кто не приемлет «авторитарную», по его мнению, марксистскую идеологию. Естественно в этой связи, что авторская концепция окрашена выраженной симпатией к Бакунину, который рисуется исключительно яркой индивидуальностью, наделенной особой «идейной чистотой» и благородством убеждений.

Анализируя причины, побудившие Бакунина к революционной деятельности, Мастерс в типичной для «психоисторика» манере обращается прежде всего к условиям жизни революционера в детские годы, которые-де определили его психический тип. Однако рассуждения Мастерса своеобразны. Это своеобразие заключается в том, что он подчеркивает главным образом позитивное влияние условий детского воспитания на формирование будущего революционера.

Высокодуховная атмосфера Премухина (родового гнезда семьи Бакуниных), царивший здесь культ музыки и поэзии («Мы родились в России, но под небом Италии», – скажет позже брат Павел), глубоко укоренившаяся привычка к аналитическим дискуссиям, в которых участвовали часто гостившие здесь выдающиеся деятели русской литературы и искусства, воспитали в его обитателях сильную тягу

¹ *Pereira N.* The Thought and Teaching... P. 108.

² *Ibid.* P. 104.

³ *Izenberg G.* Op. cit. P. 140.

⁴ *Masters A.* Bakunin the Father of Anarchism. London, 1974.

к прекрасному, возвышенному. Вместе с тем деспотизм матери и действия отца, человека широко образованного и гуманного, но в то же время типичного русского барина, ценившего превыше всего материальное благополучие своих детей и отнюдь не всегда считавшегося при этом с их влечениями и чувствами, заставили Бакунина решительно восстать против докучливой родительской опеки. Физиологические особенности личности Бакунина (огромная энергия и сексуальная неудовлетворенность) еще более усилили заложенный в нем с детства «инстинкт свободы», который превратился во всепоглощающую страсть, определившую собою всю последующую деятельность революционера. Начав свою революционную карьеру дома, «семейный освободитель», пишет автор, вскоре уже был готов шагнуть за его пределы, чтобы использовать свою «разрушительную тактику» в более широких масштабах и с большим эффектом¹. Присущее русской интеллигенции влечение к интеллектуальным поискам в сочетании с личностными чертами характера привели Бакунина к тому, что он уже не мог довольствоваться относительными истинами. Выраженное стремление к «абсолюту» спасло его от бесплодных абстрактных умствований и спекулятивных действий, выведя на открытую дорогу борьбы за идеалы анархизма².

В исследовании Мастерса, как и в других, подобных ему, не остается места для действительно научного, социального анализа генезиса революционных воззрений и практики Бакунина. В авторском освещении революционер со свойственной ему «внутренней простотой» выбирает социальную ориентацию в своей политической деятельности произвольно, а если и испытывает влияние социальной среды, то лишь той, которая вследствие лучшего знакомства с условиями ее жизни вызывает в нем больше сочувствия и симпатий³.

Психоаналитический подход Мастерса отчетливо проявляется также в трактовке всегда привлекавшего пристальное внимание буржуазных авторов вопроса о взаимоотношениях Бакунина и Маркса. Их характер освещается в традиционной для буржуазной историографии манере: острая идеологическая борьба между ними сводится лишь к соперничеству за руководство международным революционным движением и представляется обусловленной в своем содержании сугубо личностными чертами. Если «тщеславный», «мстительный» и «педантичный», в изображении Мастерса, Маркс был «централистом», «авторитаристом» и сторонником государственности, то человек «широкой души» и «открытого ума», каким рисуется Бакунин, должен был стать и стал приверженцем «федерализма», «свободы» и полного уничтожения государственности⁴.

Естественно, что идейные и организационные разногласия между Марксом и Бакуниным оцениваются автором как «чисто силовая борьба», а исход ее трактуется не как следствие самой логики развития международного революционного движения, закономерно приведшего к победе марксистского направления над разного рода мелкобуржуазным революционаризмом, но в полном противоречии с фактами – единственно как результат более решительных действий энергичного Маркса, якобы не гнушавшегося никакими средствами в борьбе с Бакуниным и бакунистами⁵.

Этот вывод, как и все другие, содержащиеся в работе Мастерса, демонстрирует научную несостоятельность метода психоанализа в истории, замкнутого изучением индивидуальной психической структуры. И все же работа Мастерса, как и Перейры, интересна изложенной в ней новой концепцией революционной личности, концепцией, в которой нет одномерного ее определения. Эта личность противоречива,

¹ Masters A. Bacunin the Father... P. 7, 8, 14, 38.

² Ibid. P. 53–54.

³ Ibid. P. 140.

⁴ Ibid. P. 193.

⁵ Ibid. P. 227.

в чем-то даже патологична, но всегда талантлива и гуманна. Она не боится вступить в единоборство с внешним миром и обстоятельствами во имя реализации своих высоконравственных идеалов. Но, как правило, методы ее действий неоправданны и ошибочны.

Заслуживает внимания с точки зрения выявления новых тенденций в «психоистории» и работа английского исследователя Э. Актона о Герцене¹. Она представляет собой пример особенно утонченного использования психоаналитического метода для обоснования тезиса о нецелесообразности революционной борьбы, являющейся лишь следствием аберрации социального сознания. На примере генезиса и эволюции политических воззрений выдающегося русского революционного мыслителя Актон пытается показать, что в данном случае революционность была лишь следствием и проявлением социальной незрелости ее носителя. Подосновой же незрелости являлись как врожденные, так и сформировавшиеся в годы детства личные качества мыслителя, обусловившие искаженные представления о мире и путях его развития.

Актон признает влияние на социально-политические воззрения Герцена «условий внутренней жизни России»². Однако социальный опыт мыслителя, в освещении исследователя, не просто преломляется через неосознаваемые им самим психологические импульсы, но фактически полностью снимается ими.

Лишенные социальных детерминант политические идеалы Герцена представляются лишь порождением эмоциональной фантазии революционера, его «огромного, кипучего Я». Яркая одаренность Герцена, любовь и восхищение им со стороны родственников, признание и поклонение друзей – все это, по утверждению Актона, воспитало в нем высокую самооценку и веру в свои возможности. Они-то и обусловили появление социального идеала мыслителя и убежденность в его неизбежном торжестве³. Хотя, считает автор, этот идеал был всего лишь мечтой, притом слишком возвышенной, чтобы воплотиться в действительности.

Естественно, по логике Актона, никакие внешние общественно-политические перемены и катаклизмы не могли изменить социальной позиции Герцена, пока ощущение своего собственного бессилия в результате пережитой им личной трагедии не изменило созданный им образ самого себя, а вместе с тем и представление о природе человека и, соответственно, всю его «политическую философию». Личный кризис вывел Герцена из состояния «эмоциональной эйфории», подорвав его веру в историю и существенно изменив представления о социальном идеале, который теперь приблизился к реальной жизни, найдя свое земное воплощение в крестьянской общине⁴. Только в этой ситуации, считает Актон, Герцен смог по-иному оценить политические уроки 1848 г. Соотнеся жертвы революции с радикально изменившейся социальной утопией, он усомнился в целесообразности революционного способа решения общественных проблем и в дальнейшем, по мере обретения жизненного опыта, все более утверждался в своем мнении⁵.

Доказательство этому Актон видит в теории «общинного социализма» Герцена, в которой, по его мнению, община трактуется как «альтернатива» революционному методу социальных преобразований. Поэтому, вопреки действительным историческим фактам, исследователь и отодвигает начало оформления «общинной» теории к 1852 г., соотнося ее с «личным крушением» революционера, повлекшим пересмотр им своих идейно-теоретических и социально-политических воззрений⁶. Со-

¹ *Acton E. Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary*. Cambridge; London; N.Y.; Melbourne, 1979.

² *Ibid.* P. 11.

³ *Ibid.* P. 5, 6.

⁴ *Ibid.* P. 66, 82, 107–108.

⁵ *Ibid.* P. 71.

⁶ *Ibid.*

держание работ, написанных Герценом между 1848 и 1851 гг. (в том числе «О развитии революционных идей в России»), в которых были заложены основы теории «общинного социализма», Акстон сводит лишь к доказательству общности исторических перспектив России и Запада и утверждает, что та «внутренняя сила» России, на которую Герцен возлагал надежды, была не более чем «социальным эквивалентом» его уважения к самому себе¹.

В этой связи заслуживает особо быть отмеченным вывод Актона о том, что «наиболее эффективную политическую роль» А.И. Герцен сыграл в период подготовки крестьянской реформы, поскольку разочарование в революции значительно сузило сферу его деятельности, обратив ее на пользу практического дела².

Мы видим, таким образом, что Акстон исходит из тезиса об обусловленности взглядов мыслителя только его субъективным восприятием событий и процессов, восприятием, в основе которого, в свою очередь, лежат сугубо личностные психологические черты. Бессилие (или нежелание) понять сложные, а иногда и противоречивые изгибы герценовской мысли, обусловленные крахом его надклассовых иллюзий и неспособностью встать на позиции материалистического истолкования наблюдаемых исторических событий, приводит «психоисторика» к объяснению природы социально-политических взглядов мыслителя, его личными переживаниями. Здесь отчетливо обнаруживается свойственное современному психоанализу стремление подчеркнуть особую роль сферы подсознательного, которая якобы доминирует или даже полностью вытесняет рациональные мотивы в деятельности человека³. Отсюда особенно ясно, насколько «удобно» для современных буржуазных исследователей освещать социальную деятельность революционера с позиций психоаналитического метода.

Работа Э. Актона являет яркий образец такого анализа. Нельзя не заметить, что необычайная глубина, динамичность и подчас противоречивость взглядов Герцена, а также недостаточная изученность сложной эволюции его мысли в советской историографии делают личность выдающегося русского мыслителя и революционера особо привлекательной для современных приверженцев «психоистории», поскольку создают более широкие возможности для искаженной интерпретации мотивов его революционной деятельности.

Рассмотренные работы Перейры, Мастерса, Актона достаточно убедительно свидетельствуют о наметившейся сейчас в «психоистории» тенденции уравновесить роль подсознательного и социального (рационально осознанного) в мотивации революционной деятельности, опираясь на исходное в психоанализе положение о принципиальном единстве человеческой психики, — положение искаженное или совершенно отброшенное в «психоисторической» практике под влиянием идеологических наслоений. Однако, поскольку революционно-демократические теории по-прежнему изображаются (в угоду той же идеологии) абстрактными, полностью лишенными исторической почвы социальными утопиями, причина их появления усматривается в том, что в конкретных исторических условиях подсознательное может полностью вытеснить осознанные мотивы деятельности, определив, таким образом, ее общественный смысл и идейно-теоретическое обоснование. В результате наметившаяся новая тенденция в эволюции «психоисторических» концепций революционного движения означает в действительности лишь очередную модификацию исходных положений психоаналитических трактовок причин революционной деятельности. Определяющую роль в ней, как и прежде, играют идеологические позиции авторов.

¹ *Acton E. Alexander Herzen and the Role...* P. 68, 71.

² *Ibid.* P. 127.

³ См. об этом подробнее: *Салов В.И. Историзм и современная буржуазная историография.* М., 1977.

2. Новые трактовки истоков и национального своеобразия революционно-демократической мысли

Стремление глубже осмыслить происхождение и социальную природу русской революционной демократии логически приводит буржуазных авторов к попыткам пересмотреть также истоки и содержание ее идейно-теоретического наследия. Авторы новейших исследований проявляют все возрастающий интерес к проблеме социально-политической детерминированности передовой общественной мысли России, стремясь выйти за рамки традиционных в буржуазной историографии схем, согласно которым факторы, определявшие генезис и поступательное развитие революционных теорий, усматривались лишь в национальном своеобразии русской интеллигенции, ее узкогрупповых, сектантских интересах и психологии.

Понимание важности более глубокого осмысления передовых социальных теорий России обусловлено, кроме того, осознанием острой необходимости объективного анализа политических событий современного мира, тем более что в идеологии развивающихся стран обнаруживаются несомненные аналогии с рядом положений русского революционного демократизма¹. В этой связи острее, чем раньше, проявляется стремление буржуазных исследователей понять историю революционной общественной мысли и решить вопрос о том, в какой степени ее генезис, содержание и эволюция детерминированы историческими условиями, каков механизм воздействия этих условий на процессы духовной жизни общества. Новый подход буржуазных авторов к рассмотрению русской революционно-демократической мысли проявляется в стремлении соотнести интеллектуальную историю России с развитием страны в целом, которое вписывается авторами в общее русло мирового исторического процесса. Соответственно и вся духовная история России рассматривается как неотъемлемая составная часть духовного развития Европы.

К числу работ, в которых обнаруживается этот подход, следует отнести исследования Р. Мак-Нэлли, Э. Актона, Д. Харди, Э. Мастерса, Н. Рязановского, А. Вусинича. Чувство основанного на фактах эмпирического историзма дало возможность этим авторам анализировать социальные теории русских революционных демократов с позиций общности и универсальности законов эволюции общественной мысли, учитывая в то же время их национальное своеобразие, детерминированное конкретными историческими условиями своей страны.

Прежде всего, заметно корректируются представления о социальной роли радикальной интеллигенции. Все более и более утрачивают свое значение традиционные утверждения о том, что революционные теории были лишь следствием социальной изоляции интеллигенции и отнюдь не определялись общественными национальными проблемами. На смену им приходят другие концепции, по-иному освещающие социальное содержание и роль общественно-политической мысли революционной демократии. В частности, М. Малиа в своих последних работах особо подчеркивает способность русской революционной интеллигенции к конструктивному решению стоящих перед страной проблем. К такому заключению он приходит, основываясь на признании значительной роли неких общих имманентно присущих ей черт, свойственных самой природе интеллектуальной деятельности; скептицизма, критичности, творческого отношения ко всем существующим социальным и политическим установлениям и институтам.

Отмеченные качества как раз и формировали, согласно его утверждениям, способность всякой интеллигенции вырабатывать не только научную, но и нравствен-

¹ Об этом свидетельствуют изданные в Лондоне в 1969 г. материалы дискуссии о современном «популизме» (идеология и движение народнического типа), организованной лондонской школой экономических и политических наук (см. подробнее: *Хорос В.Г.* Народничество вчера и сегодня // Вопросы философии. 1971. № 10. С. 173–179).

ную истину, которая всегда социальна по своей природе и поэтому может обеспечить создание рациональных политических теорий¹. Элементы отмеченного «синдрома характеристик» Малиа обнаруживает во взглядах французских энциклопедистов и всего «левого, крыла» европейского общества XIX в.² Однако полнее всего этот «синдром», по его мнению, проявился в русской интеллигенции, которая по ряду своих внутренних национальных причин являла собою группу, «систематически ставившую под сомнение все традиционные ценности во имя разума, прогресса и социальной справедливости»³.

Точку зрения Малиа в общих чертах разделяет А. Гелла. Он также считает, что русская революционная интеллигенция никогда не выступала только во имя своих собственных, групповых, узко понятых интересов. Ее «духовные вожди», формулируя идеологию, цементирующую интеллигенцию в единое целое, всегда руководствовались одним общим девизом – «служу своему отечеству»⁴. Это обстоятельство и обусловило, считает он, традиционную роль русской радикальной интеллигенции – роль «коллективного героя», в течение всего XIX столетия «господствовавшего над духом и политическим развитием нации»⁵. Наиболее отчетливо данный вывод звучит в работе Э. Актона о Герцене. Русский революционный мыслитель показан в ней великим гуманистом, радетелем всеобщих гуманистических стремлений к «полноте жизни»⁶.

Таким образом, в исследованиях последнего времени русская революционно-демократическая мысль рассматривается уже не в качестве отражения лишь узкогрупповых («сектантских») стремлений и интересов интеллигенции, но как выражение общенациональной оппозиции по отношению к существовавшему государственному и социальному порядку, как теоретическое воплощение неких общечеловеческих нравственных ценностей.

Однако этот подход также является следствием игнорирования классовой обусловленности революционной идеологии. Она продиктована стремлением извратить действительный смысл и характер общественных противоречий, изобразив их, как и раньше, лишь в качестве проявления антагонизма между существовавшей формой государственной власти, с одной стороны, и всеми слоями и группами населения – с другой.

Естественно, что перед буржуазными исследователями снова встает старая проблема, а именно: какова та действительная основа, которая обуславливала содержание революционного социального идеала, и в какой степени были реалистичными его позитивные требования. Содержание новейших буржуазных исследований убеждает, что поиски ответа на этот вечный вопрос при всей их активности и многообразии остаются бесплодными, поскольку внеклассовый подход исключает уже самое возможность его научного решения.

Сослемся в качестве показательного примера на рассуждения Э. Актона относительно причин и обстоятельств формирования социального идеала Герцена. Эти рассуждения поучительны как пример непоследовательности и противоречивости, свойственных буржуазной исторической мысли. Как уже отмечалось, Актон принадлежит к числу тех исследователей, которые, являясь приверженцами психоаналитического подхода, не разделяют позиций ортодоксального фрейдизма и пытаются подкрепить его социальным анализом. Рассматривая поведение человека, Актон исходит из признания первенствующей роли социальных детерминант в дея-

¹ *Malia M.* The Intellectuals: Adversary or Clerisy? P. 107.

² *Ibid.* P. 107.

³ *Ibid.* P. 107–108.

⁴ *Gella A.* An Introduction to the Sociology of the Intelligentsia // *The Intelligentsia and the Intellectuals. Theory, Method, and Case Study* / Ed. by A. Gella. Beverly Hills, 1976. P. 15.

⁵ *Ibid.* P. 15, 16.

⁶ *Acton E.* Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary. P. 9.

тельности всякой исторической личности. Это обстоятельство позволило ему приблизиться к правильному решению некоторых частных вопросов. Так, решительно отвергая утвердившийся в буржуазной историографии тезис о возникновении русской революционной идеологии как следствии отчужденности радикальной интеллигенции или ее национального мессианства, Актон утверждает, что только осознание факта глубокой вовлеченности Герцена в проблемы, поставленные условиями русской жизни, может пролить свет на «источник» и «природу» его социально-политического идеала¹.

Однако в связи с тем, что представление автора о социальном факторе и его роли в жизни общества размыто, лишено своей классовой определенности, он приходит в конечном счете к совершенно ошибочным выводам. Подчеркивая зависимость взглядов Герцена от внутрисполитических условий России, Актон трактует ее как проявление сугубо личного, полностью лишённого классовой ориентированности восприятия жизни. Реальная ситуация в стране – деспотизм самодержавия и крепостничество, обрекавшие Россию на застой, а подавляющую часть ее населения на бесправие, имела, по его мнению, лишь весьма приблизительное отношение к формированию политических настроений Герцена.

Актон утверждает, что мечты Герцена «парили» над такими «земными» вопросами, как крепостное право². Если, замечает он, сам Герцен и верил в то, что положение крестьян укрепляло в нем стремление к свободе, то это основывалось лишь на его брезгливом, чисто снобистском нежелании считать себя сопричастным к праву своего отца владеть крепостными³. Что же касается неприятия Герценом существовавшей государственной власти, то оно было только следствием осознания им того, что в глазах русского государства он был «незаконнорожденным»⁴. В результате социальные идеалы мыслителя изображаются историком сначала как плод чисто эмоциональной фантазии революционера, а позже, в его зрелые годы, как следствие отвлеченных, сугубо рационалистических исканий.

Мы встречаемся здесь не только с конкретным проявлением вполне определенных методологических установок, но и с упорным нежеланием автора считаться с действительными историческими фактами, которые убедительно свидетельствовали о решительном неприятии Герценом российских самодержавно-крепостнических порядков, его страстном стремлении видеть свою страну и народ свободными от крепостнических оков и гнета деспотической власти. Уместно сослаться в данном случае на слова самого Герцена, высвечивающие действительный смысл всех его идейно-теоретических исканий: «Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, это – наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему... желание деятельно участвовать в его судьбах»⁵.

Свой вывод об абстрактности социально-политических взглядов Герцена Актон пытается обосновать, искаженно интерпретируя философско-исторические воззрения революционера. Исходным пунктом его анализа является совершенно ошибочный тезис о том, что представления Герцена об историческом процессе были лишены каких-либо определенных социальных коррелятов и что он полностью отрицал существование в истории объективной закономерности. Поэтому понимание Герценом истории как поступательного процесса основывалось будто бы только на подкрепляемой его личными качествами субъективной вере в природную порядочность и добродетельность человека⁶.

¹ *Acton E. Alexander Herzen and the Role...* P. 11.

² *Ibid.* P. 13.

³ *Ibid.* P. 6.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Герцен А.И.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. XVIII. С. 376.

⁶ *Acton E. Op. cit.* P. 10.

Так, в частности, рассматривается в книге отношение русского мыслителя к философии истории Гегеля. Разделяя вывод советских исследователей о том, что Герцен обратился к Гегелю в поисках философского обоснования своего социалистического идеала, Актон совершенно неверно интерпретирует смысл его критики гегелевской философии. Он утверждает, что Герцен отвергает пантеизм Гегеля не с материалистических позиций, а вследствие того, что абсолютный идеализм Гегеля противоречил герценовскому признанию примата личности в историческом процессе. При этом, как утверждает исследователь, Герцен вообще «не решил для себя спор между материализмом и идеализмом». (Его не смущает при этом, что уже «Письма об изучении природы» – середина 40-х гг. – не оставляют сомнений относительно материалистического характера мировоззрения А.И. Герцена). Что же касается гегелевской диалектики, то она, по мнению Актона, лишь упрочила мысль Герцена о превратностях истории и тем самым не укрепила, а, напротив, ослабила его веру в исторический прогресс¹.

В чем же при такой трактовке понимания Герценом процесса исторического развития и отношения к российским порядкам автор усматривает влияние на его взгляды «атмосферы русской жизни»? Оказывается, оно проявляется лишь в том, что в России идеи были единственной видимой сферой перемен. Поэтому здесь, а не в области экономики или социальных институтов русские революционные деятели (и Герцен не был исключением) искали решения волновавших их проблем².

Мы видим, что все рассуждения Актона приводят его в конечном итоге к противоречию с самим собой. Он приходит к выводу, от которого пытался отмежеваться, – выводу о будто бы абстрактном, лишенном реальной исторической почвы теоретизировании русских радикальных мыслителей.

С построениями Актона сходна концепция М. Раева, также пытающегося связать общественно-политические взгляды русской радикальной интеллигенции с конкретными историческими условиями в стране и столь же закономерно терпящего неудачу. Социальный опыт интеллигенции, определивший ее взгляды, не имеет, в интерпретации американского ученого, никакой связи с общественными отношениями и расстановкой классовых сил в стране. Он ограничен лишь рамками опыта, полученного в результате воспитания и образования самого дворянства, из среды которого вышла в своей подавляющей массе интеллигенция.

Начиная с XVIII в., пишет Раев, дети дворян, помещенные в школы, надолго отрывались от родного дома, посещая его раз в год, а иногда и реже, так как школ было мало и они были обычно сильно отдалены от родных мест³. Это обстоятельство в сочетании со строгой казарменной дисциплиной учебных заведений способствовало не только разрыву со своей семьей, близкими, но и отделяло от страны в целом. Тем более что полученное в школе западное образование не было связано с ее традициями и культурой⁴.

Кроме того, как считает Раев, русским дворянам недоставало крепких корней и чувства привязанности к какому-либо одному определенному месту вследствие раздробленности и разбросанности их имений, полученных от государства за службу. Поэтому в их патриотизме отсутствовала «конкретная специфичность». Мысли о своей стране ассоциировались у них с некими туманными, расплывчатыми образами⁵. Результатом всего этого и явилось «незнание» интеллигенцией ре-

¹ Acton E. Op. cit. P. 10–11.

² Ibid. P. 13, 15.

³ Raef M. Home, School, and Service in the Life of Eighteenth century Russian Noblemen // The Structure of Russian History. N. Y., 1970. P. 216.

⁴ Ibid. P. 15, 16.

⁵ Ibid.

альной жизни своей страны и тяготение к абстрактным идеалам, когда весь «склад ума» ее становится в большей мере рационалистическим, нежели традиционным¹.

Итак, все рассуждения Раева о «социальном опыте» интеллигенции оборачиваются очередной вариацией традиционного в буржуазной историографии утверждения о социальной отчужденности интеллигенции и, следовательно, утопизме ее политической мысли. Любопытно, что особенно откровенно это звучит в последних работах Раева, где он совершенно недвусмысленно говорит о том, что передовая общественно-политическая мысль России XIX в. отразила в себе противоречие между «культурной вестернизацией» и «институциональным традиционализмом», т.е. явилась следствием отрыва интеллигенции от социально-политической структуры России². Более того, как утверждает историк в своей недавней рецензии на книгу польского исследователя А. Валицкого о славянофилах, термины «феодализм», «либерализм», «консерватизм» и др. являются лишь «банальными клише», которые ничего не могут дать для выяснения действительного содержания русской социально-политической мысли XIX в.³

Нельзя не сказать, что в данном случае мы сталкиваемся с очевидным проявлением отступления автора от своих позиций, выраженных ранее в призыве обратиться к анализу таких категорий, как «феодализм» и «капитализм»⁴. Факт этот, на наш взгляд, достаточно убедительно свидетельствует о чрезвычайно сложном, противоречивом развитии современной буржуазной историографии, лишенной подлинно научных ориентиров.

Рассуждения и выводы М. Раева, как и Э. Актона, являются примером того, что предпринятые в последнее десятилетие буржуазными учеными попытки пересмотреть прежние трактовки социальной природы и общественного звучания идейно-теоретических воззрений русской революционной демократии, скорректировав их с новыми оценками исторического места и роли радикальной интеллигенции, не приводят к принципиально новому решению проблемы.

Внесенные поправки остаются в рамках традиционных для буржуазной историографии представлений и методологических установок, состоящих в признании независимости общественной мысли от классовых отношений в обществе и в конечном счете подчинении ее лишь своим собственным внутренним законам. Особенно отчетливо такой подход проявился в исследованиях американского ученого А. Вусинича, посвященных истории развития науки и социально-политической мысли России второй половины XIX в.⁵

Работы Вусинича заслуживают специального рассмотрения. В них не только наиболее полно и рельефно выразились новые для современной буржуазной историографии тенденции в решении узловых вопросов истории русской революционно-демократической мысли, но и впервые предпринята попытка поставить проблему в теоретико-методологическую плоскость. Эрудиция автора, объективное изложение им событийной канвы, откровенные симпатии к представителям русского революционно-демократического движения – все это ставит его работы в ряд наиболее интересных и глубоких (а в конкретных наблюдениях и выводах даже весьма ценных) исследований по истории прогрессивной общественной мысли России.

¹ *Raef M. Home, School, and Service in the Life of Eighteenth century Russian Noblemen // The Structure of Russian History. N. Y., 1970. P. 19, 21, 22.*

² *Raef M. Imperial Russia. Peter I to Nicholas I // Introduction to Russian History. Cambridge; London; N. Y.; Melbourne, 1976. P. 128.*

³ *Canadien-American Slavic Studies. 1977. Vol. 11, № 3. P. 432.*

⁴ *Raef M. Russian Perception of Her Relationship with the West // The Structure of Russian History / Ed. by M. Cherniavsky. N. Y., 1970. P. 266.*

⁵ *Vucinich A. Science in Russian Culture. 1861–1917. Stanford, 1970; Idem. Social Thought in Tsarist Russia. The Quest for a General Science of Society. 1861–1917. Chicago; London, 1976.*

Исходным теоретико-методологическим положением работ Вусинича является тезис о социально-исторической детерминированности общественной мысли как непреложном законе ее развития. Универсальность и объективность этого закона определяется, по его мнению, единством конечной цели всякой политической теории как таковой – «концептуализировать динамику социальной интеграции», выявив предварительное место и связи личности в существующей общественной структуре¹. В этом своем предназначении социально-политическая мысль должна изучать и изучает прежде всего собственное общество, которое является для нее главным источником «эмпирической информации». Поэтому она всегда представляет собою не что иное, как «облачение» конкретного исторического материала в абстрактные социологические схемы, становясь тем самым неотъемлемой «интегральной частью» истории своей страны².

Отталкиваясь от этих установок, Вусинич и пытается осветить генезис и специфику русской революционно-демократической мысли, интерпретируя ее при этом таким образом, чтобы на конкретном историческом материале обосновать свой вывод, будто революционные социальные теории не могут стать действительно научными.

В духе новых тенденций, имеющих место в современной буржуазной историографии, исследователь рассматривает русскую общественно-политическую мысль и социологию, основываясь на безусловно верном положении об общности путей исторического развития России и стран Западной Европы. По его мнению, Россия болела теми же проблемами, над которыми бились передовые умы Запада: пути и движущие силы исторического прогресса, значение экономического фактора в социальной эволюции, роль личности в истории, различия между утопическим и научным социализмом.

Это были вопросы, поставленные самим ходом исторического развития страны. При этом, как, правильно отмечает историк, в пореформенной России они стояли более остро и более настоятельно требовали своего решения, поскольку страна позже других европейских государств вступила на путь капитализма и стремилась как можно быстрее достичь уровня их развития³.

Успешно приобщаясь к «современным формам» модернизации, освобожденная от уз крепостничества и разбуженная севастопольской трагедией, Россия совершила «скачок» в своей духовной эволюции, выразившийся главным образом в необычайно напряженном развитии общественно-политической мысли, в том числе социологии. Последнее обстоятельство, по мнению исследователя, было обусловлено не только более быстрыми темпами экономической эволюции пореформенной России и в связи с этим осознанием универсальности исторического процесса, но также и тем, что в прошлом она миновала «фазу социокультурного развития», пройденную странами Запада, когда вырабатывалось скептическое отношение к авторитетам, убежденность в созидательной способности человеческого разума и, соответственно, закладывались основы исторического знания⁴. Поэтому в условиях быстрого экономического роста и высокого духовного подъема, происходивших в XIX в., русское общество особенно настойчиво стремилось наверстать упущенное.

Однако, как отмечает далее Вусинич, само стремление к научному осмыслению развития общества отнюдь не всегда приводит к выработке действительно научной философии истории. Дело в том, что освещение объективных исторических процессов и событий, служащих реальной детерминантой всякой общественной мысли, всегда преломляется через их субъективное восприятие, которое, в свою оче-

¹ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. VIII.

² Ibid. P. IX.

³ Vucinich A. Science in Russian Culture. P. 6, 7.

⁴ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. 9.

редь, зависит от интеллектуальных способностей мыслителя и ситуативных моментов, но главное – от стоящих перед ним политических целей и задач¹. Другими словами, всякая социальная теория создается не только как научная, являющаяся результатом лишь строго логического анализа исторической действительности. В ней также всегда присутствует элемент идеологии, отражающий политические позиции ее творца и выражающийся, как правило, в критике существующих социальных ценностей и в разработке принципов общества будущего².

Вусинич признает определенную позитивную роль идеологии в выработке научного знания об обществе, считая, что она способствует динамизму общественной мысли, появлению новых социальных теорий, являющихся идейно-теоретическим руководством в социальной практике³. Однако, полагает он, идеологический элемент не должен довлеть над общественной мыслью, иначе социальная практика лишится верной научно-теоретической основы, поскольку сама социологическая мысль будет в этом случае опираться не на объективный анализ истории, а на чисто умозрительный социальный идеал. Другими словами, позитивная роль идеологии сохраняется в общественной мысли, по мнению Вусинича, лишь до того момента, пока не нарушается необходимый баланс в соотношении ее идеологического и научного компонентов, т.е. когда мыслитель рассуждает о прогрессе, равенстве и демократии лишь с точки зрения неких всеобщих абстрактных моральных принципов, не становясь на позиции какого-либо определенного общественного слоя. В противном случае идеология начинает теснить науку с ее законного места, подменяя собою методы строго логического анализа. И тогда, подчеркивает Вусинич, общественная теория утрачивает способность научно освещать реальные исторические факты, становится на службу узкогрупповым целям и дезориентирует общество, лишая его правильной, научно обоснованной перспективы⁴.

Таким образом, конкретное проявление закона социально-исторической обусловленности общественной мысли оказывается в конечном счете зависимым, по мнению американского автора, от того, способны ли ее создатели выработать научную реалистическую философию истории, не зависящую от политических устремлений какого-либо класса, или политические цели и амбиции возьмут в них верх, и тогда объективный научный анализ исторических процессов будет вытеснен идеологическими наслоениями.

Мы видим из приведенных рассуждений, что бесспорно верное исходное положение Вусинича о конкретно-исторической обусловленности общественной мысли остается чисто абстрактным. Оно понадобилось ему лишь для обоснования несостоятельного утверждения, будто политическая направленность социальных теорий пагубна уже сама по себе, ибо исключает возможность объективно истинной оценки исторических событий. Не понимая (или сознательно игнорируя) действительную суть исторического развития как процесса, в основе которого лежит классовая борьба, он, естественно, не может понять и классовой обусловленности общественной мысли, неизбежной детерминированности позиций мыслителя интересами и устремлениями определенного класса.

Более того, из всех рассуждений Вусинича видно, что этот вывод особенно пугает его, поэтому он пытается доказать, будто всякая политическая нацеленность мыслителя, независимо от его классовой ориентированности, мешает объективно научному осмыслению истории и, следовательно, выработке правильной социальной теории. Таким образом, автор стремится деидеологизировать общественно-политическую мысль путем обоснования тезиса о возможности существования не-

¹ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. 9.

² Ibid.

³ Ibid. P. 11.

⁴ Ibid. P. 11, 12.

коей чистой, далекой от классовых конфликтов и политической борьбы науки об обществе. Объективистская идея очищения социологии от идеологического и нравственного момента под лозунгом свободы исследований выступает здесь во всей своей неприкрытой очевидности.

С позиций этих исходных теоретических положений Вусинич и рассматривает историю русской революционно-демократической мысли. Он стремится доказать, что попытки русских революционных идеологов выработать научную философию истории в качестве идейно-теоретического руководства в своей социальной деятельности в силу объективных обстоятельств оказались тщетными. Причина этого, как следует из всех его дальнейших рассуждений, крылась в том, что в конкретных исторических условиях России в своих поисках научной социологии они руководствовались прежде всего идеологическими задачами и потому, выступая в качестве поборников научного взгляда на мир, фактически оказывались не в состоянии действовать как ученые. К обоснованию этого вывода и сводится основное содержание рассматриваемых нами работ историка.

Безусловно верный в целом тезис о том, что попытки русских революционных демократов создать научную философию истории были объективно обречены, доказывается исследователем с совершенно ошибочных позиций – позиций отрыва революционно-демократической мысли от направления и задач общественного развития, от социально-политических устремлений самого многочисленного и в то время единственно революционного в стране класса – крестьянства.

Отправным положением в системе доказательств Вусинича является тезис о том, что в силу ряда причин в пореформенной России создается своеобразная интеллектуальная атмосфера. Подъем науки и духовного развития личности оказался здесь в более сильной взаимосвязи и взаимообусловленности, чем где бы то ни было. В результате создавалась ситуация беспрецедентной тяги к науке, веры в нее. Больше чем в каком-либо другом обществе здесь видели в науке панацею от всех зол, «самый надежный метод» постижения смысла истории и «самый надежный показатель» социального и культурного прогресса¹.

Гипертрофированная вера в науку, считает американский ученый, имела свои особые последствия. Она рождала убежденность в эффективности волевых созидательных потенций человека, в том, что вооруженная научным знанием свободная личность может обеспечить поступательное развитие общества независимо от объективных исторических условий. Эта убежденность вполне отчетливо проявилась, по мнению автора, уже у «нигилистов» в их требовании создать теорию социального развития не только на основе непреложных объективных законов, но, как предлагал Д.И. Писарев, и на основе «техники наиболее рациональной мобилизации усилий человека достичь лучшего будущего»².

По мере эволюции революционно-демократических теорий вера в волевые усилия личности, подкрепленная успехами науки, становилась все сильнее и окончательно утвердилась, воплотившись в субъективной социологии народников, все старания которых создать конструктивную социологическую теорию, опираясь на широкую эмпирическую базу, оказались в этой ситуации тщетными³.

Нельзя не отметить, что Вусинич правильно уловил здесь тот механизм логической связи, который обусловил преемственность мысли «нигилистов» и революционных народников. Трактую нигилизм не в качестве философии лишь одного отрицания, но прежде всего как «философию сциентизма», подчиняющую науке все социальные, нравственные, этические ценности во имя позитивных целей орга-

¹ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. 9.

² Vucinich A. Science in Russian Culture. P. 30; *Idem*. Social Thought in Tsarist Russia. P. 7.

³ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. 6, 7.

низации нового общества, он справедливо считает, что такая позиция нигилистов способствовала складыванию субъективной социологии народников¹.

Однако, верно зафиксировав большое значение, которое придавалось науке в попытках революционных деятелей не только осмыслить исторический процесс, но и воздействовать на него, а также правильно отметив роль преемственности мысли в развитии их философско-исторических взглядов, Вусинич оказался не в состоянии решить основную из поставленных им проблем, а именно: раскрыть действительную историческую обусловленность революционной теории общественно-исторического прогресса, связать ее, как и всю революционно-демократическую идеологию, с реальными социальными процессами в стране. Неспособность Вусинича понять классовый смысл и содержание этих процессов обусловила и несостоятельность его попыток раскрыть подлинную социальную природу революционно-демократического движения и в связи с этим объяснить причину ненаучности его общественной мысли.

Игнорируя классовое содержание социально-экономических процессов, растворяя его в общих рассуждениях о «модернизации» страны, Вусинич, естественно, не мог осмыслить действительного значения проблем, оказавшихся в центре внимания социальной мысли России, понять основу их острого общественного звучания. Он оказывается не в состоянии объяснить тот огромный интерес к личности человека, его творческим потенциям и социальным связям, который был характерной чертой всех революционно-демократических теорий. Он полагает, что «необычный акцент» на личности как «категории социальной мысли» был лишь «реакцией на подавление» ее в социально-политических условиях России, а также выражением новой концепции социальной справедливости, возникшей в период подготовки и проведения в жизнь крестьянской реформы².

Характеризуя в этой связи 60–70-е гг. в России как время быстрого материального прогресса, бурного социального брожения и интенсивных интеллектуальных открытий, Вусинич утверждает, что все эти процессы никак не были связаны между собой, поскольку главным руководящим принципом в них являлся принцип «самостоятельности», в котором выражалось требование свободных, не руководимых официальной самодержавной властью действий и требование «несовместимости укоренившихся в стране авторитарных ценностей и науки»³. В этом стремлении общества к самостоятельности, как следствии принципиального неприятия господствовавшего в стране политического режима, и крылась, по мнению историка, главная опасность – опасность создания абстрактных, лишенных реальной социально-исторической основы теорий. Так, собственно, и произошло, считает он, в конкретных исторических условиях России второй половины XIX в.

Революционеры, по его мнению, рассматривали развитие науки об обществе в качестве процесса, «конгруэнтного» их идеологии, и не чувствовали в связи с этим необходимости ни в систематическом анализе внутренней логики научной мысли, ни в последовательном применении строгого научного метода исследования реальных исторических процессов⁴. Поэтому на деле их приверженность к науке была не более, чем приверженностью к своей идеологии. В результате же все социологические теории революционеров-демократов оказались основанными лишь на идеях, которые служили базисом их политической оппозиции авторитарному режиму⁵. Это означало, что социология вовсе не представляла собой теоретической платформы политической программы революционеров, а, напротив, сама являлась

¹ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. 6, 7.

² Ibid. P. 235.

³ Ibid. P. 5, 9.

⁴ Ibid. P. 64, 93.

⁵ Ibid. P. 427.

сложным (логически выведенным) следствием их социального идеала, который, в свою очередь, был лишь утопической мечтой, отразившей в гипертрофированной форме стремление русской интеллигенции к демократии, равенству и свободе, попорванным деспотизмом автократической власти¹.

Эти утверждения являются извращением реальных фактов. Хорошо известно, сколь напряженными были идейно-теоретические поиски революционных мыслителей в целях создания научной теории общественного развития, которые предваряли разработку ими программ социально-политических преобразований². И все же главный порок всех построений Вусинича заключается не в этом. В действительности причины, обусловившие состояние и развитие революционно-демократической общественной мысли, были совершенно иными, чем их рисует историк. Острое осознание передовой интеллигенцией тормозящей роли самодержавно-крепостнического режима являлось следствием происходившего распада феодальной системы и ускорения темпов капиталистического развития в стране, а отнюдь не результатом более интенсивного развития науки и понимания ее несовместимости с существовавшими автократическими ценностями, как пытается представить американский автор, переворачивая тем самым все с ног на голову.

Реальное содержание революционно-демократической социально-политической мысли в России определялось главным образом не своеобразием духовного и интеллектуального состояния русского общества (хотя, разумеется, следует учитывать и это обстоятельство), но прежде всего характером и степенью социально-экономического развития страны, которое и обусловило это своеобразие. Тем, что происходил процесс быстрого становления новых форм хозяйства, когда старое уже бесповоротно рушилось с «громкой быстротой»³ и происходило высвобождение личности от оков феодально-крепостного гнета, а в связи с этим и небывалое прежде развитие личной инициативы и деятельности.

В области социальных отношений это нашло отражение не только в росте активности личности, но и в общественных настроениях, проявившихся здесь, как отмечал В.И. Ленин, общим подъемом чувства личности, чувства собственного достоинства, «горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности»⁴. Раскрывая связь общественных настроений народных масс с происходившим в стране развитием капиталистических отношений, В.И. Ленин писал: «...Именно капитализм, оторвавший личность от всех крепостных уз, поставил ее в самостоятельные отношения к рынку, сделав ее товаровладельцем (и в качестве такового – равной всякому другому товаровладельцу), и создал подъем чувства личности»⁵.

Подъем чувства человеческого достоинства, развитие личной инициативы и предпринимательства являлись той основой («жизненной подкладкой»), которая, поставив проблему личности в центр внимания всей прогрессивной общественной мысли, питала субъективистские концепции исторического прогресса с их верой в действительную созидательную силу человека, переходившую в проповедь волюнтаризма. Что же касается социального идеала, то он имел своей основой вполне реальные жизненные требования крестьян (самого многочисленного слоя населения Российской империи) – требования национализации земли, неверно истолкованные революционными идеологами в качестве социалистической меры.

¹ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. 243, 433.

² Подробнее см.: Богатов В.В. Философия П.Л. Лаврова. М., 1972; Смирнова З.В. Социальная философия А.И. Герцена. М., 1973; Пантин И.К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М., 1973; Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. М., 1973; Шахматов Б.М. П.Н. Ткачев. Этюды к творческому портрету. М., 1981.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 433.

⁴ Там же. С. 433.

⁵ Там же. С. 434.

Не будучи способным связать историко-философские и социально-политические взгляды революционеров с происходившими в стране реальными общественно-историческими процессами, Вусинич пытается, как мы убедились, объяснить их содержание с точки зрения соответствия или несоответствия их объективно научному знанию об обществе, смысл которого он усматривает в признании исторической правомерности наличных социально-политических институтов. Это означало, что социальный идеал должен исходить, по его мнению, лишь из требования постепенного частичного усовершенствования традиционно сложившихся установлений и порядков. В противном случае, как это и произошло в России, социальный идеал может быть только не опирающейся на реальную почву фантазией.

В данном случае мы имеем дело с теми абстрактно-догматическими рассуждениями о социальных теориях в отрыве от конкретно-исторических условий, которые, как отмечал В.И. Ленин в своей полемике с Михайловским и Струве, являлись следствием свойственной буржуазной исторической мысли ненаучной методологии¹. Критикуя либеральных народников, В.И. Ленин отмечал, в частности, что в своих социологических построениях они исходили из признания «законности» общественного идеала с точки зрения «современной науки и современных нравственных идей». Марксист же, пишет он далее, формулирует этот идеал «не как требование «науки», а как требование такого-то класса, порождаемое такими-то общественными отношениями...», т.е. сличает его не с современной ему наукой и нравственными нормами, а с «существующими классовыми противоречиями»². Если же, продолжает В.И. Ленин, «не свести таким образом идеалы к фактам», то они (идеалы) останутся лишь «невинными пожеланиями без всяких шансов... на их осуществление»³.

Именно так, в качестве «невинной» абстрактной мечты Вусинич и пытается изобразить социальный идеал и философско-исторические взгляды революционеров-демократов. Причину этого он видит в том, что они основывались лишь на неверно понятом нравственном императиве – признании русской интеллигенцией своим моральным долгом осуществление радикальной ломки господствовавшей социальной системы. В результате при всей правомерности некоторых частных суждений и выводов (прежде всего – о приверженности революционной демократии к научному объяснению истории и политической нацеленности ее социологических построений) рассуждения ученого оказались ошибочными в своей основе.

Рассмотрев концепцию А. Вусинича, мы убедились, что она не выходит из рамки ограничений и догм, свойственных буржуазной историографии, и потому отнюдь не свободна от ошибочных выводов и заключений. Социально-классовые противоречия, обусловившие становление и развитие передовой общественной мысли России, подменяются у него конфликтом между «автократическими ценностями» (существовавшими социальными институтами и освящавшей их официальной идеологией) и интеллигенцией, пытавшейся вооружиться научным знанием. Причем наука, полагает он, подчинена самостоятельным законам развития, не зависящим от социально-исторического прогресса.

Отказ от классового анализа русской революционной мысли приводит к тому, что исходная посылка автора о ее детерминированности историческими условиями не только не получает своего развития и конкретизации, но и по существу повисает в воздухе, остается абстрактной. В результате он рассматривает эволюцию русских революционно-демократических социальных теорий в типичной для буржуазного ученого манере – лишь с точки зрения логической преемственности и развития их основных положений, т.е. трактует ее как процесс автономный, обусловленный имманентной логикой идей, движение которых стимулировалось лишь политиче-

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 434, 435.

² Там же. С. 436.

³ Там же.

скими амбициями интеллигенции, стремившейся обрести необходимые для всякого цивилизованного общества демократические свободы.

Отсюда вытекает предпринятое Вусиничем деление революционно-демократической идеологии на три последовательных этапа: нигилизм, народничество и бакунизм. Общим знаменателем, объединяющим их в единое целое, было, согласно его утверждению, то, что все они являлись ответом на официальную идеологию, обосновывавшую тезис об автократическом государстве как главной силе, осуществляющей модернизацию страны. В противоположность этому тезису представители революционной демократии особо подчеркивали созидательные возможности других творческих сил: науки («нигилисты»), критически мыслящей личности (народники) и, наконец, стихийных действий инстинктивно революционного народа. Последний вывод, сделанный Бакуниным, представлял собой, считает Вусинич, крайнюю формулировку антиправительственной ориентации. Бакунин защищал уже не просто «экспансию» общества за счет государства, но более радикальную идею – идею его полного уничтожения¹.

Таким образом, по мере, того, как социальный идеал становился более экстремистским, менялись и представления революционеров об историческом процессе, его движущих силах. Вдохновляемые гуманными целями борьбы за гражданские права человека, они начинают рассматривать социологию уже не просто как науку о развитии общества, но прежде всего в качестве идеологического оружия в борьбе с самодержавной властью². В результате их социальные идеалы не получили научно-теоретического обоснования. В действительности они отражали лишь надуманные представления о благе некоей абстрактной личности и сами служили «ключом» к оценке исторических фактов³.

Нетрудно догадаться, что рассуждения историка направлены не только на то, чтобы показать беспочвенность революционно-демократической программы социальных преобразований. Они преследуют и другую, более важную для него цель – обосновать вывод о том, что марксизм в России также не являлся научной социальной теорией, ибо, как утверждает американский автор, какое бы знамя ни несла русская революционная интеллигенция – нигилизма, анархизма или марксизма, традиционным для нее было «подчинение науки идеологии». Следовательно, и общественное влияние революционеров определялось не научной обоснованностью их теорий, а лишь силой гуманности их социальной мечты⁴.

Таким образом, Вусинич приходит фактически к тому же выводу, который особенно широко варьировался в концепциях буржуазных авторов в 50–60-е гг. Он отстаивает старый тезис об абстрактности, умозрительности революционного социального идеала; его полной оторванности от задач общественного развития России. Отличие состоит лишь в том, что прежде этот тезис выводился будто бы из полной отчужденности интеллигенции от социально-политической структуры страны, в работах же Вусинича он обосновывается путем доказательства того, что тяготение революционеров к абстрактному рационализму было детерминировано конкретно-историческими условиями России. Вследствие этого они не могли мыслить иначе, чем с позиций идеологической заданности, в чем и заключалась, по убеждению автора, причина их неудач.

Своеобразие этого подхода хорошо сформулировано Раевым, разделяющим в основных узловых моментах взгляды Вусинича. В уже упоминавшейся нами рецензии на книгу Валицкого он, как и Вусинич, видит основную трагедию России «в утопии ее общественной мысли». Однако, признавая это, он вместе с тем счита-

¹ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. 75.

² Ibid. P. 26.

³ Ibid. P. 93.

⁴ Ibid.

ет, что созданные передовыми русскими мыслителями социальные проекты отнюдь не являлись тем родом утопии, который находится за пределами реального, но представляли собой такую утопию, которая при известных условиях могла стать альтернативой существовавшему порядку¹.

Поясняя свой вывод, Раев утверждает, что общественную мысль России XIX в. нельзя понять вне «политических измерений», поскольку она была тесно связана с социально-политическими задачами, стоящими перед страной. Поэтому, считает он, причину утопизма социальных идеалов следует искать не во внутренней структуре и имманентной диалектике идей, присущих русской мысли, а в отношениях между этими идеями и существовавшими в стране политическими институтами, в том конкретно, что русские политические деятели недостаточно учитывали в своих социальных проектах институционные рамки России².

Таким образом, рассмотренные концепции представляют собой известный шаг вперед в исследовании буржуазными историками русской революционной общественно-политической мысли, поскольку они основываются на признании самого факта исторической обусловленности ее содержания. Тем не менее игнорирование авторами классового принципа анализа приводит их к неспособности понять действительную внутреннюю детерминированность социально-политических теорий русской революционной демократии.

3. Проблема идейных влияний Запада

Одной из проблем, вызывающих в последнее время особенно большой интерес и пристальное внимание буржуазных исследователей, является проблема идейных влияний Запада. Она основывается на старой и прочной традиции в современной буржуазной историографии русской общественно-политической мысли и подобно всем другим вопросам столь важной и многоплановой темы имеет свою судьбу, заслуживающую специального рассмотрения.

Следует отметить к тому же, что советские историки ограничиваются лишь беглой констатацией факта широкого признания буржуазными исследователями тезиса о прямой зависимости и производном характере передовой русской мысли от общественно-политических теорий Запада. При этом они не вдаются в более детальный анализ вопроса и не принимают во внимание своеобразие трактовок буржуазными авторами других проблем интеллектуальной и общественно-политической истории России³.

Между тем по целому ряду причин, в числе которых отметим как одну из главных стремление буржуазных историков обосновать неизбежность складывания в будущем некоей глобальной наднациональной доктрины⁴, вопрос о взаимоотношении общественной мысли России и стран Западной Европы приобретает сейчас особо актуальное значение и вызывает все возрастающий интерес рассматриваемых авторов. Не случайно здесь, как и в исследовании ряда других проблем истории общественной мысли России, отчетливо выступают новые позитивные тенденции более глубокого и объективного подхода, находящиеся в непосредственной связи с попытками буржуазных историков дать сравнительно адекватное освещение прошлого.

¹ *Canadien-American Slavic Studies*. 1977. Vol. 11, № 3. P. 432.

² *Ibid.* P. 436, 437.

³ В качестве исключения назовем лишь цитированную работу М.Д. Карпачева, в которой принята попытка связать трактовку английскими и американскими авторами проблемы идейных влияний Запада с решением ими вопроса об истоках и своеобразии идеологии русского революционного народничества.

⁴ См. подробнее: *Смолянский В.* От «конвергенции» к «планетарному сознанию» // *Коммунист*. 1978. № 8. С. 101–113.

Вместе с тем, как мы проследили на примере исследования ими целого ряда других проблем история русской революционно-демократической мысли, наметившиеся здесь сдвиги отнюдь не означают, что старые традиционные трактовки полностью утратили свою роль и значение.

Ранее уже было показано, что методологической основой исследования буржуазными авторами русских социально-политических теорий была и остается абсолютизация общественной мысли, ее отрыв от всех остальных проявлений жизни страны. Отсюда логически следует вывод о том, что общественная мысль развивается главным образом в силу своих собственных законов, не зависящих или почти не зависящих от социально-экономического развития общества, его классовых отношений и конфликтов.

В результате такого подхода общественно-политические теории лишаются своего конкретно-исторического содержания. Они наделяются рядом неизменных, якобы изначально присущих свойств, определявших их социальную роль и значение. В ряду таких свойств русской общественной мысли одним из наиболее примечательных буржуазные исследователи всегда считали ее тесную зависимость от идейно-теоретического наследия Запада. Изображая русскую радикальную интеллигенцию оторванной от своей исторической почвы и потому произвольно конструирующей социальные идеалы, рассматриваемые авторы приходят к выводу, что в своих теоретических поисках она должна была неизбежно обратиться к более передовому Западу, заимствуя там теории и идеалы, которые казались ей наиболее подходящими с точки зрения нравственности или рационального обоснования.

Тезис о производном характере русской общественной мысли, долгое время безраздельно господствовавший в буржуазной историографии, рождал противоречивые выводы, ставив исследователей перед проблемами, которые невозможно решить с этих позиций. В их числе наиболее острой оказалась проблема конечных результатов идейных влияний Запада на русскую общественную мысль. Положение о тесной идейной зависимости интеллектуального развития России от европейских социально-политических теорий логически приводило к отрицанию тезиса об «уникальном», «исключительно русском» характере революционного движения в стране, что совершенно не соответствовало идеологическим задачам буржуазной историографии – доказать национальную исключительность Октябрьской революции и большевизма.

Вставал вопрос: если европейские влияния были следствием и составной частью естественного процесса «вестернизации» отсталой страны, какою была Россия, то как в этом случае объяснить тот, говоря словами С. Бэрона, «достаточно парадоксальный факт», что заимствованные социальные теории привели здесь к иным, чем на Западе, последствиям. Почему эти теории не только не способствовали интеграции русской интеллигенции в социальную структуру «вестернизированной» страны, но, напротив, усилили, как полагают буржуазные авторы, ее отчуждение, окончательно противопоставив ее обществу и государству¹.

Следует отметить, что эти противоречия уже давно были подмечены самими буржуазными историками. Так, еще в 50-е гг. Р. Хэйр писал, в частности, что лишь «тупые русские патриоты» (идеологи и адепты самодержавия) пытались утешить себя, изображая революционеров чуждыми национальной почвы, «несчастливыми жертвами» разлагающего влияния Запада². Варианты иных решений проблемы с целью устранить эти смущающие несоответствия чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Однако все они не выходят за пределы ненаучной буржуазной методологии и вследствие этого не могут дать удовлетворительного ответа на появляющиеся вопросы.

¹ *Baron S. Plechanov. The Father of Russian Marxism. Stanford, 1963. P. 3.*

² *Hare R. Portraits of Russian Personalities between Reform and Revolution. London; N. Y.; Toronto, 1959. P. 17.*

В их ряду заслуживают внимания рассуждения Б. Вольфа, предпринявшего попытку дать более гибкую, «сбалансированную» трактовку проблемы идейных влияний Запада с учетом конкретных социально-политических условий в России.

Вольф отказывается от примитивной интерпретации влияния европейской культуры как простой трансплантации готовых идейных систем на чуждую им почву. «Не только заимствованные институты, — пишет он, — но также заимствованные идеи и доктрины претерпевают радикальные изменения»¹. По его мнению, инонациональные влияния представляют собой чрезвычайно сложный процесс культурной «имитации», результаты которого определялись не столько источником влияния, сколько спецификой объекта влияния. С помощью этого тезиса Вольф пытается обосновать вывод о якобы в корне отличном способе заимствования русскими инонациональных идей. Согласно его утверждениям в странах Запада, отличающихся сложной социальной структурой (автор называет их «плюралистическими»), такие идеи усваивались творчески, без каких-либо ограничений, во взаимодействии с другими противоречащими им идеями и теориями. По-другому дело обстояло в России, обладавшей характерной только для нее упрощенной социальной структурой. Чужие теории воспринимались здесь выборочно, в отрыве от всего многообразия идейных связей и потому упрощенными. Вырванные из контекста породившей их интеллектуальной и духовной атмосферы, они не могли быть реализованы во всей своей полноте и усваивались обедненно, утилизируясь лишь в качестве решения неверно понятых интеллигенцией своих национальных задач.

В итоге, считает Б. Вольф, заимствованные социальные идеалы (равно как и их идейно-теоретическое обоснование) оказывались искаженными в своей сути. Более того, не соотносясь с потребностями развития «вестернизирующейся» страны, они усиливали социальную отчужденность интеллигенции, поскольку «в буквальном смысле овладевали теми, кто думал владеть ими»².

Так, говоря о влиянии «духа мятежной Франции» на воображение «бессильной русской интеллигенции», Вольф замечает, что «с тех пор, как в старой России только начинали мечтать и в мечтах не думали о последствиях, уже не было причин воздвигать прозаические ограничения в своих мечтах»³.

Таким образом, мы убеждаемся, что рассуждения Вольфа не имеют ничего общего с действительно научным подходом к проблеме идейных связей и влияний. Они понадобились автору лишь для того, чтобы показать своеобразный характер усвоения русской интеллигенцией проникавших в ее среду европейских теорий. Другими словами, Вольф не просто приходит к выводу о слепом заимствовании русскими чужих идей и идеалов, выводу, от которого он, казалось, пытался отмежеваться, но и расцвечивает его националистическими тонами.

Аналогичными оказались конечные результаты не менее сложных построений и М. Малиа, который также пытался дать более объективную (т.е. не столь глубоко извращенную) трактовку проблемы идейных влияний Запада. М. Малиа развивает свою концепцию, анализируя влияние известного немецкого поэта и мыслителя Фридриха Шиллера на русскую общественную мысль 30–40-х гг. XIX в. Отводя Шиллеру необыкновенно большую роль в формировании «ранней русской левой» (В.Г. Белинский, Н.П. Огарев, А.И. Герцен), он утверждает, будто влияние взглядов Шиллера было столь велико, что определило отношение Герцена к буржуазным порядкам Запада и его разочарование в революции 1848 г. во Франции (не воплотившей в жизнь шиллеровские идеалы), кроме того, оно объясняет и то, почему либеральные институты Англии, которые Герцен имел возможность так долго наблюдать, не произвели на него должного впечатления. Причина этого, как полагает

¹ *Wolf B.* Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought. P. 184–185.

² *Ibid.*

³ *Ibid.* P. 178.

М. Малиа, заключалась в том, что те, кто находился под чарующим впечатлением шиллеровских идей, уже не могли довольствоваться требованиями одной политической свободы¹.

Столь значительное влияние Шиллера (пример того, как чужие идеи становятся руководящими во взглядах деятелей, их воспринявших), по мнению Малиа, объясняется тем, что требование политических свобод облекается у него в нечто «более личностное» и «более абстрактное», сублимируясь в эстетический идеал «прекрасной души» («Die Schöne Seele»), идеал, который был особенно близок «широкой натуре» русского человека².

Почему же шиллеровская «комбинация» оказалась так близка «русской левой?» Ответ на этот вопрос Малиа видит в специфике социальной структуры России. Чем дальше на Восток, считает он, тем более централизованным и бюрократическим становится государство. Тем сильнее его давление на личность и больше препятствий для проявления ее независимости. Это обстоятельство, пишет он далее, приводит к тому, что социальный идеал человека становится здесь более абстрактным и отличным от всех других подобных идеалов. Поэтому-то русские радикальные мыслители и находили определение свободы у немцев более родственным, а следовательно, и более приемлемым для себя, чем, например, у французов или англичан. Хотя, оговаривается он тут же, русская радикальная мысль все же «существенно» отличалась от немецкой, поскольку именно немцы создали «великие идеалы», русские же просто заимствовали эти идеалы, так и «не ставшие им родными»³.

В построениях Малиа, как и Вольфа, характер идейных влияний в России определяется положением интеллигенции в социальной структуре страны – ее отчужденностью от общества и государства. Таким образом, их концепции оборачиваются в итоге лишь очередными упражнениями по части обоснования тезиса о социальной изоляции русской интеллигенции.

Мы убеждаемся, что попытки дать «сбалансированную» трактовку проблемы влияния вовсе не выходят за рамки положения о механическом заимствовании русскими чужих идей и теорий. Абсолютизируя общественную мысль, отрывая ее от конкретного социально-исторического развития страны, буржуазные авторы оказываются не в состоянии объяснить возникающие противоречия. В результате они приходят к традиционному в буржуазной историографии выводу о теоретической несостоятельности русской «интеллектуальной элиты» и неспособности ее к творческому усвоению заимствованных теорий.

В данном случае выдвинутый авторами тезис о внутренней подготовленности страны к усвоению заимствованных идей не имеет ничего общего с признанием общественных потребностей, обусловленных уровнем социально-экономического развития, и сводится фактически к идеалистическим рассуждениям о том, что каждая нация тяготеет к своему специфическому комплексу идей. Для России этот комплекс (согласно концепции Малиа) включал склонность к утопизму, к абстрактным, далеким от реальной жизни идеалам.

Более развернутое обоснование тезиса о подверженности русских мыслителей влиянию западных теорий дает американский ученый С. Утехин. Он попытался подкрепить его утверждением о сходстве обычного права России и стран Западной Европы, а также об общности истоков их законодательства, которое он усматривает в римском праве. Эти обстоятельства, по его мнению, обусловили «поразительную похожесть» политического мышления России и Запада и объясняют, почему

¹ *Malia M. Shiller and the Early Russian Left // Russian Thought and Politics. Cambridge, 1957. P. 197.*

² *Ibid. P. 174, 198.*

³ *Ibid. P. 199, 200.*

общественная мысль отсталой в экономическом и культурном отношении страны так тяготела к философским и социальным теориям более развитого Запада¹.

Подобное истолкование связей и взаимодействия различных национальных культур не могло привести к удовлетворительному решению проблемы западноевропейских идейных влияний и устранить все возникающие противоречия, ибо этот подход, подобно всем другим, базируется на последовательном игнорировании социально-экономических основ исторического процесса, оказывающих определяющее воздействие на генезис и развитие социальной мысли и обуславливающих созвучие общественных задач, т.е. ту почву, на которой разворачивается взаимодействие разнонациональных идей и теорий.

Расширение интернациональных связей в условиях нарастания темпов революционных преобразований заставляет буржуазных историков все настойчивее искать ответы на вопросы, возникавшие в результате рассмотренной трактовки проблемы западного влияния. В том числе ответ не только на уже указанный нами ранее вопрос о том, почему в России заимствованные теории усиливали социальную изоляцию радикальной интеллигенции, но и на вопрос, почему теории, которые на Западе не привели к победе революции, здесь стали основой революционного преобразования общества. Эти вопросы ставят под сомнение обоснованность прежних историографических концепций и схем, вызывая у буржуазных авторов постоянную потребность в их переосмыслении.

Растущая неудовлетворенность «привычным» истолкованием проблемы, а также освещением революционных событий в России только как следствия влияний революционной идеологии Запада находит свое выражение даже в работах, авторы которых стоят на откровенно реакционных позициях. В частности, Г. Роггер в своих попытках представить Октябрьскую революцию в качестве обособленного уникального явления² с целью умалить ее международное значение обращает внимание на недостаточную обоснованность трактовки революции как результата западного влияния. Он полагает, что ее историю невозможно понять, исходя лишь из признания факта влияния общественной мысли Запада, ибо характер революции не может быть осмыслен «только через изучение интеллектуальной истории»³.

Позиция Роггера весьма симптоматична, она свидетельствует о нарастающем несогласии с традиционной трактовкой проблемы западного влияния, даже в ее «сбалансированной» форме.

Следует подчеркнуть, что было бы неверно связывать обозначившуюся в последнее время потребность в новой интерпретации проблемы идейного влияния Запада только с задачами современной политической практики и идеологической борьбы. В значительной степени это объясняется и тем, что история духовного развития России изучена в настоящее время буржуазными авторами гораздо полнее, чем полтора-два десятилетия тому назад.

Доказательством этому служит появление целого ряда достаточно глубоких монографических исследований, авторы которых обнаруживают несравненно более обстоятельное знакомство с реальными историческими фактами, чему немало способствует лучшее знание ими работ советских исследователей. Факты же убедительно свидетельствуют о том, что влияние Запада на передовую русскую мысль несомненно. При этом оно шире и вместе с тем не столь глубоко, как трактуют его современные буржуазные авторы. Шире в смысле его неоднозначности. Это сложный и многогранный процесс, предполагающий не простое усвоение идей и теорий

¹ Utechin S. Russian Political Thought. A concise History. N. Y.; London, 1964. P. XIII.

² Он считает Октябрьскую революцию сугубо «локальной, провинциальной и специфической» (Rogger H. October 1917 and the Tradition of Revolution // The Russian Review. 1968. Vol. XXVII, № 4. P. 400, 408).

³ Ibid. P. 399.

Запада, но их творческое переосмысление на основе опыта социально-политической истории и революционной практики как самой России, так и европейских стран.

Революционное движение России и революционное движение Европы всегда были тесно связаны между собою. В частности, декабристы не только интересовались социально-политическими теориями Запада с целью выработки своих программ, но вплоть до восстания 14 декабря 1825 г. обращались и к опыту европейских революций, чтобы наметить тактику революционных действий применительно к условиям своей страны¹.

Хорошо известно также, какую важную роль сыграли, например, теория и практика европейского революционного движения в эволюции идейно-теоретических воззрений А.И. Герцена. Известно, однако, и то, что это оказалось возможным лишь вследствие его настойчивого стремления осмыслить революционные события во Франции, чтобы понять своеобразие своих национальных проблем и найти приемлемые пути их решения. Теория «русского социализма», сформулированная под влиянием революции 1848 г. во Франции, основывалась на той почве русской действительности, какою ее видел и осмысливал сам А.И. Герцен. Поэтому идейная эволюция революционера была органически связана с эволюцией самой России, с ее главными болезнями проблемами. А.И. Герцен имел полное право сказать: «Сколько ни декларировали о нашей подражательности, она вся сводится на готовность принять и усвоить формы, вовсе не теряя своего характера, – усвоить их потому, что в них шире, лучше, удобнее может развиваться все то, что бродит в уме и в душе, что толчется там и требует выхода, обнаружения»².

Факты истории свидетельствуют о том, что связь между революционным движением России и Европы не была односторонней. Русская передовая общественная мысль не только не являлась производной, но внесла немалый вклад в развитие мировой революционной идеологии. При этом по мере совершенствования русской революционной теории все отчетливее обнаруживается ее влияние на революционное движение западных стран. Так, глубокий след в духовной жизни Европы оставили идеологи революционного народничества. Их роль в революционном движении Запада определяется не только мерой непосредственного участия в нем, но и тем, что осмысленный ими опыт мирового исторического процесса и революционной борьбы в современной им Европе способствовал организации революционно-демократических сил России и Запада. Достаточно вспомнить, что деятельный участник Парижской коммуны П.Л. Лавров был также и ревностным пропагандистом ее идей. Его корреспонденции в брюссельской газете «Интернационал», органе бельгийской секции «Международного товарищества рабочих», были первой информацией о парижских событиях в европейской социалистической прессе³. Их отличали не только симпатии и сочувствие к великим деяниям коммунаров, но и глубоко реалистические оценки происходящего, которые способствовали научному осмыслению исторического опыта Коммуны ее современниками. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют встречи П.Л. Лаврова (после прибытия его в Лондон из осажденного версальцами Парижа) с К. Марксом и Ф. Энгельсом и их несомненная заинтересованность в беседах с ним⁴.

В центре многих выдающихся событий истории европейского революционного движения находился М.А. Бакунин. И хотя его деятельность нанесла значительный вред I Интернационалу, нельзя не признать тот вклад, который он внес в критику европейского капитализма и развитие революционно-демократического движения

¹ См. подробнее: Орлик О.В. Западноевропейские революции 20-х годов XIX в. и декабристы // Вопросы истории. 1975. № 11. С. 140–153.

² Герцен А.И. Письма из Франции и Италии // Герцен А.И. Собр. соч. Т. V. С. 24.

³ Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы: В 3 т. М., 1934. Т. 1. С. 449–450.

⁴ См.: Книжнич-Ветров И.С. П.Л. Лавров. М., 1925. С. 37.

в странах с преобладающей ролью мелкотоварного производства. Популярность Бакунина в кругах европейской революционной демократии, интеллектуальная одаренность и яркий полемический талант сделали этот вклад весьма существенным¹.

Пристально наблюдал ход общественно-политических событий в Европе и изучал ее историю П.Н. Ткачев, отличавшийся особой проницательностью социального видения. Сопоставляя опыт революционных исканий России и Запада, он пришел к глубоко верному выводу об интернациональных истоках и характере социалистических (утопических) теорий. «Социальная истина, – писал Ткачев, – как истина математическая, как и всякая вообще истина, может быть только одна – строго научная, вечная и непреложная; она не изменяется под влиянием каких бы то ни было географических, этнографических и племенных особенностей»².

Эти факты подтверждают вывод, давно и убедительно доказанный советскими исследователями, о глубокой самостоятельности русской социально-политической мысли, которая коренилась в реальных условиях самой страны и определялась задачами ее социально-экономического развития. В.И. Ленин писал: «Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»³.

Именно на реальной почве русской действительности и в тесном взаимодействии с Западом Россия создала оригинальные социальные теории, которые не были простым слепком западных идей. Отношения России и Запада вовсе не сводились к отношению ученика и учителя. Россия выступала в качестве равноправного партнера в интеллектуальной истории Европы, а ее общественная мысль была неотъемлемой составной частью мировой мысли в целом. В настоящее время в той или иной степени это признают и многие буржуазные авторы.

Лучшее знакомство с историей России вынуждает английских и американских исследователей искать новые концептуальные схемы, способные более адекватно, с учетом выявления исторического материала, объяснить взаимодействие общественной мысли России и Запада. Существенное значение при этом имеет то обстоятельство, что заметно меняются представления буржуазных авторов о русской революционной интеллигенции как таковой, о ее определяющих характеристиках и свойствах.

В связи с тем, что все настойчивее обозначается тенденция квалифицировать революционную интеллигенцию в качестве универсального исторического феномена, русская интеллигенция уже не всегда изображается изолированной сектой, лишенной творческих потенций и импульсов⁴.

Соответственно заметной корректировке подвергается и проблема ее отношений с западноевропейской мыслью. Она ставится в иную плоскость – как проблема взаимовлияния и взаимообогащения, что позволяет исследователям решать ее, в отличие от прежнего, не столь грубо однолинейно. Интерес русской общественной мысли к политическим теориям Запада рассматривается сейчас не как результат

¹ Итальянский историк Ф. Дамиани отмечает, например, что активное участие М.А. Бакунина в революционном движении Италии и тесные связи с ее радикальными слоями имели «огромное значение» в развитии и распространении здесь утопического социализма и росте революционно-демократического движения в целом (*Damiani F. Bacunin nell Italia Postunitaria. 1864–1867. Anticlericalismo, democrazia, questione operaia a contadina negli anni del Soggiorno italiano di Bacunin. Milano, 1977*).

² Ткачев П.Н. Избранные сочинения на социально-политические темы: В 6 т. М., 1937. Т. 3. С. 429.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 8.

⁴ См., напр.: *Mc Nally R. Chaadaev and his Russian Contemporaries. Tallahassee, 1971; Masters A. Bacunin the Father of Anarchism; Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. The Quest for a General Science of Society; Riasanovsky N. A Parting of the Ways. Government and the Educated Public in Russia. 1801–1855; Pereira N. The Thought and Teaching of N.G. Chernyshevsky.*

простой тяги ко всяким новым теориям, но как проявление стремления к глубокому самостоятельному осмыслению собственных национальных проблем. Суть нового подхода хорошо выражена А. Вусиничем. «Русские, – пишет он, – не были просто имитаторами западной мысли, они существенно перерабатывали западные теории, чтобы приспособить их к специфической реальности истории своей страны»¹.

Следует заметить, что такой подход в большей мере согласуется с попытками буржуазных авторов свести русскую историю XIX в. к процессу «модернизации», который все чаще трактуется не как простое пересаживание европейских институтов на почву России, но как их приспособление к традиционным национальным формам жизни².

Естественно, не следует считать, что старые концепции уже полностью изжили себя. В целом ряде работ история русской общественной мысли по-прежнему изображается лишь как история «принятия и впитывания» всего того, что поступало извне³. При этом утверждается, что чем более Россия развивалась интеллектуально, тем сильнее она оказывалась восприимчивой к инонациональным влияниям. И все же новая оценка отношения русской общественной мысли к идейно-теоретическому наследию Запада становится все распространеннее. Она основывается на возрастающем понимании универсальности исторического процесса и, соответственно, на осознании того факта, что духовную историю какой-либо страны невозможно понять до конца, поместив ее лишь в узкие национальные рамки.

Непосредственным выражением этих позитивных сдвигов является признание того, что отношение передовых русских мыслителей к духовному миру и культуре Запада не было однозначным. Нередко принятие западных идеалов и даже восхищение ими сочеталось в русской мысли с негативным отношением к европейским общественным институтам и «формам жизни»⁴. Это обстоятельство уже само по себе исключало возможность слепого, некритического заимствования политических теорий Запада.

Ряд американских и английских авторов все более склонны трактовать взаимоотношения общественной мысли России и Европы как углубляющийся и активизирующий процесс интеллектуальных и культурных связей, способствовавший росту самосознания русского передового общества и сосредоточению его внимания на своих внутренних проблемах. Вместе с тем отмечается, что эта сосредоточенность на судьбах России не имела ничего общего с узким национализмом, ибо все передовые мыслители России XIX в., независимо от их отношения к Западу, были глубоко «европеизированными» людьми, не только интересующимися, но и хорошо знающими прошлую и современную им историю Европы⁵.

Чтобы не впасть в явное противоречие с действительными историческими фактами, буржуазные авторы вынуждены признать, что выдающиеся деятели и теоретики русской революционной демократии А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров были глубокими и оригинальными мыслителями, обладавшими широкими познаниями и высоким творческим потенциалом. Историки считают их личностями, стоявшими вровень с величайшими мыслителями века и внесшими немалый вклад в мировую науку и культуру. Так, например, по мнению Р. Мак-Нэлли, аргументированно изложенному в его интересном исследовании о П.Я. Чаадаеве (одном из наиболее глубоких и содержательных в современной буржуазной историографии по истории русской об-

¹ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. 23.

² Подробнее см.: Зырянов П.Н., Шелохов В.В. Первая русская революция в американской и английской буржуазной историографии. М., 1976. С. 11, 12.

³ Monas S. Introduction // Essays on Russian Intellectual History / Ed. by J. Fuhrman. London, 1971. P. 14.

⁴ Berlin I. Russian Thinkers. London, 1978. P. 180

⁵ См.: Miller M. Kropotkin. Chicago, London, 1979; McNally R. Op. cit.; Riasanovsky N. Op. cit.

щественной мысли), социально-политические теории западных мыслителей служили П.Я. Чаадаеву, как и его друзьям-славянофилам, лишь отправной точкой для решения своих национальных проблем¹. Именно поэтому, считает Мак-Нэлли, Чаадаев был наиболее критичен к взглядам тех представителей передовой западноевропейской мысли (Кант, Фихте, Шеллинг), труды которых особенно интересовали его².

Талантливым, оригинальным мыслителем, обладавшим тонким историческим чутьем и глубоким пониманием социальных процессов, показан в ряде работ А.И. Герцен. В частности, в книге английской исследовательницы М. Партридж он представлен признанным авторитетом в кругах прогрессивной европейской общественности³. При этом решительно отвергается давно и прочно укоренившаяся в буржуазной историографии традиция изображать А.И. Герцена либералом. М. Партридж характеризует его убежденным революционером, понимавшим особенности конкретно-исторической ситуации в России и внесшим большой вклад в развитие мировой социалистической теории⁴. Человеком, богато одаренным, наделенным проницательным и критическим умом, характеризует А.И. Герцена также и Т. Самуэли. Разделяя иронию М. Малиа по поводу «непонятного интереса» Герцена и остальных русских эмигрантов 40-х гг. XIX в. к Западу в ситуации, когда перед ними стояло множество собственных нерешенных проблем, Т. Самуэли признает, что именно наблюдение социально-политической жизни Европы (в частности, событий 1848 г.) привело А.И. Герцена к коренному пересмотру своих ранних посылок. В результате социализм Герцена явился, по его мнению, своего рода синтезом европейских политических концепций и русских национальных теорий⁵.

Сходным образом рассматривает вопрос о взаимоотношении общественной мысли России и Европы один из наиболее наблюдательных и объективных исследователей Н. Рязановский. Анализируя русские передовые социально-политические теории XVIII–XIX вв., он приходит к выводу, что Россия всегда была внутренне близкой западноевропейским странам и что ее духовное развитие составляло неотъемлемую часть интеллектуальной истории Запада⁶.

Глубокую и интересную оценку А.И. Герцену дает И. Берлин. Он считает, что Герцена следует отнести к великим европейским просветителям, ибо его политические идеи были уникальными не только по русским, но и по европейским стандартам, а его публицистический талант не имел себе равных⁷. Русские передовые деятели, утверждает И. Берлин, могли стать ревностными учениками и последователями европейских мыслителей, но, обратив внимание на свои внутренние проблемы и осознав, что готовые импортированные теории были бы лишь искусственным их решением, направили свои способности на создание новых доктрин применительно к внутренним проблемам России. Так, подчеркивает историк, Герцен решительно восстал против «интеллектуальной славы века», которой аплодировала восхищенная Европа (доктрины Гегеля), и создал свою собственную оригинальную философию⁸.

И все-таки попытки нового освещения проблемы не означают полного отказа от старых схем. Как и прежде, отношение к общественной мысли Запада неизменно связывается с некими надуманными своеобразными чертами, приписываемыми

¹ McNally R. Chaadaev and his Friends. P. 180, 181, 182.

² Ibid. P. 195.

³ Partridge M. Alexander Herzen. His Last Phase // Essays in Honour of E.H. Carr / Ed. by C. Abramsky. London and Basingstoke, 1974.

⁴ Ibid. P. 36, 40.

⁵ Szamuely Th. The Russian Tradition. London, 1974. P. 201.

⁶ Riasanovsky N. Op. cit. P. 264.

⁷ Berlin I. Introduction // Alexander Herzen. From the Other Shore. London, 1976; *Idem*. Russian Thinkers. P. 180.

⁸ Berlin I. Russian Thinkers. P. 5.

русской интеллигенции. Так, в ряде работ интерес русской интеллигенции к передовой мысли Запада ставится в прямую связь с ее особым гипертрофированным влечением к науке и трактуется как непосредственное следствие этого влечения. В частности, американская исследовательница Д. Харди пишет (имея в виду эпоху 60-х гг.), что в условиях, когда становилось «модой» все объяснять с точки зрения науки и в научных терминах, сам воздух был «напоен интересом к новым тенденциям западной науки»¹.

Авторы, разделяющие вывод об особой приверженности русской интеллигенции к науке, рассматривают идейно-теоретические влияния Запада в качестве отправной точки или своеобразного стимулятора русской общественной мысли, роль которого с особой силой проявилась в начальный период ее становления. Так, Вусинич утверждает, что народничество «впитало» в себя рационализм Канта, эволюционизм Дарвина и историзм Маркса, подчеркивая далее, что именно эти «комбинированные влияния» привели народников к поискам общего и особенного в историческом развитии страны, а в конечном счете – к созданию собственной социологии². Отмечая, что П.Л. Лавров был «ранним гегельянцем», а Н.К. Михайловский «прошел фазу поклонения мысли Прудона», Вусинич заключает, что оба они «скоро поднялись выше этих начальных влияний» и выработали свою оригинальную философию. В целом же, считает он, влияние западной мысли было столь велико, что «большинство» русских социологических теорий являли собой лишь либо «эхо», либо результат полемики с нею³.

Для понимания сути новых тенденций в решении проблемы западных идейных влияний особого внимания заслуживает работа Э. Актона, в которой дано чрезвычайно интересное решение ее на примере анализа взглядов А.И. Герцена. Историк анализирует деятельность А.И. Герцена в самый напряженный период его жизни за границей (1847–1863 гг.). Убежденный революционер и социалист, А.И. Герцен предстает в работе большим гуманистом, творчески одаренной оригинальной личностью, чья духовная биография необычайно драматична и интересна. Страстные этические поиски революционера, глубокая вовлеченность в решение «проклятых вопросов» своего времени, а также его конфронтация с социальной действительностью и общественной мыслью стран Запада дают основание Актону поместить Герцена в первую шеренгу мыслителей с мировым именем.

Актон в целом правильно ставит проблему места и роли Герцена в общемировом революционном процессе. Он решительно возражает тем исследователям, которые стремятся представить идейно-теоретические воззрения А.И. Герцена «пассивным воссозданием западных идеалов»⁴. Признавая большой интерес русских революционных деятелей к интеллектуальному миру Запада, автор считает, что их идеи и теории не были «простым отражением западной мысли»⁵. «Русская интеллигенция в целом, – пишет он, – заимствовала у западных мыслителей лишь те положения, которые помогали ей решать свои собственные проблемы». В частности, утверждает Актон, те мрачные выводы о «социальной несправедливости» и «нищете», о «необузданном индивидуализме», к которым пришел Герцен, наблюдая Запад и познакомившись с его общественной мыслью, укрепили в нем стремление к солидарности и привели к осознанию противоположности интересов дворянства и крестьянской массы⁶.

¹ Hardy D. Peter Tkachev. The Critic as Jacobin. Seattle and London, 1977. P. 43.

² Vucinich A. Science in Russian Culture. P. 26.

³ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. P. 15, 424. 196.

⁴ Acton E. Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary. P. 13.

⁵ Ibid. P. 9.

⁶ Ibid. P. 9, 11, 12.

Однако эти бесспорно верные положения не приводят Актона к правильной трактовке проблемы западного влияния. Будучи неспособным связать мировоззрение и общественный идеал Герцена с российской исторической действительностью, он, естественно, оказался также не в состоянии правильно осмыслить отношение революционера к идейно-теоретическому наследию и социальному опыту Запада. Историк определяет это отношение как следствие своеобразной психологической реакции представителя европеизированной элиты.

Следует сказать, что такой подход впервые довольно явно наметился у Э. Шилза в его трактовке причин и содержания революционно-народнического движения. Оценивая ориентацию народников на крестьянство, «восхваление» присущих ему качеств, Шилз квалифицирует эти проявления «популизма» как своеобразный «выход» европеизированной интеллигенции из своего «внутреннего конфликта», вызванного «сложной реакцией притяжения-отталкивания» русской интеллигенции на влияние «западной культуры»¹.

Более развернутое изложение этой точки зрения было дано позже Н. Перейрой, в работе которого особенно отчетливо проявились как новые тенденции в интерпретации проблемы западного влияния, так и старые, давно укоренившиеся схемы. Подчеркивая способность русских радикальных мыслителей к оригинальной, творческой деятельности и отмечая их упования на позитивную роль науки, Перейра в традиционном для буржуазной историографии духе объясняет появление указанных свойств гипертрофированной верой русской интеллигенции в преобразующую силу идей². Эта вера изображается им буквально граничащей с фанатизмом, мешающим понять относительность человеческого знания и приводящим к переоценке роли и значения социальных наук в историческом процессе³.

Стремясь обосновать данный вывод, историк утверждает, что убежденность русских радикальных мыслителей в преобразующей социальной роли науки была обусловлена не иррациональностью существовавшего социального порядка в России, а своеобразием положения самой интеллигенции, отчужденной от общества и государства⁴. В этих условиях, считает он, ставший необычайно популярным в Европе середины XIX в. в связи с быстрым развитием наук «социальный неотоцизм» приобрел в России особенно прочные позиции. Больше чем в какой-либо другой стране радикально мыслящие слои России уверовали в возможность использования науки как орудия в достижении «рационального строя». Конечным же результатом, согласно его утверждению, было то, что радикальная интеллигенция отсталой страны, какою была Россия, неизбежно становилась «пленником» идеологии передового Запада и, оставляя ученье за порогом жизни, полностью утрачивала связи с самой жизнью⁵.

К такому же заключению приходит в своих рассуждениях и Н. Рязановский. Более того, развивая этот вывод о конечной зависимости русской интеллигенции от передовых социальных теорий Запада, он утверждает, что восприимчивость русских к инациональным влияниям возрастала по мере развития самой русской общественной мысли⁶.

Точка зрения, намеченная Э. Шилзом и получившая развитие у Н. Перейры, нашла свое законченное теоретическое обоснование в работах И. Берлина и особенно Э. Актона. Отмечая неоднозначную, двойственную оценку русскими мыслителями интеллектуального и духовного наследия Запада (принятие, даже восхище-

¹ Shills E. The Intellectuals and the Power. Some Perspective and Comparative Analysis. P. 48.

² Pereira N. Op. cit. P. 15.

³ Ibid.

⁴ Ibid. P. 16.

⁵ Ibid.

⁶ Riasanovsky N. Op. cit. P. 153.

ние им и в то же время отрицание), они определяют такое отношение не как следствие творческого, критического подхода к нему, продиктованного желанием глубже осмыслить собственные социальные проблемы (хотя, как мы видели, это и признается ими на словах), но как своеобразный психологический результат отсталости своей страны¹.

Наиболее четко эта мысль выражена Э. Актоном. Он считает такого рода отношения следствием стремления русской элиты определить собственное место и место России относительно «чужого источника» своей культуры, полагая, что это стремление могло проявиться прежде всего в политическом и социальном национализме. Природу такого национализма Актон квалифицирует как своего рода «защитную реакцию» «вестернизированных» представителей отсталой страны при встрече с «культурным» Западом, проявившуюся во враждебной завистливости русских, возведенной ими в критерий своего личного достоинства². Ибо, иронизирует историк, на деле они защищали не более чем право нации выражать свой «особый гений» всего лишь через признание превосходства Запада³.

Таким образом, в рассуждениях Актона наиболее отчетливо обнаруживается суть наметившегося в последние годы «нового» решения проблемы западного влияния. Оно представляет собою на деле лишь перепевы старого мотива извечной отсталости России, определявшей-де собою всю ее духовную историю, в том числе и отношение ее общественной мысли к интеллектуальному наследию Запада.

Теоретико-методологическую основу нового подхода к проблеме попытался раскрыть М. Раев. Сложное, неоднозначное отношение русской интеллигенции к западноевропейской социальной мысли оценивается им как результат противоречий между «культурной вестернизацией» и «институциональным традиционализмом» России, обусловивших не только абстрактность ее социальных теорий, но и характер реакции на социальный опыт и политическую мысль Запада⁴. «Отчужденная от своего народа и своего прошлого», русская европеизированная интеллигенция, пишет Раев, не могла «идентифицировать» себя также и с Западной Европой, поскольку последняя не соответствовала ее абстрактному «идеализированному образу будущего» и потому уже «не являлась воплощением ее надежд и стремлений»⁵.

Таким образом, все рассмотренные варианты новых трактовок проблемы идейных влияний Запада на Россию представляют собой лишь слегка модифицированные в соответствии с требованием времени старые традиционные схемы. Их смысл сводится в итоге к признанию неспособности русской общественной мысли к самостоятельной творческой деятельности и в силу этого нуждающейся в постоянном воздействии внешних источников для своего развития.

Естественно, что и новый подход приводит исследователей к противоречиям, которые они оказываются не в состоянии понять и устранить в рамках своей концепции. Так, например, Э. Актон, оценивая запечатленное в знаменитых письмах Герцена из Франции и Италии его негативное отношение к западной буржуазии как «аристократическую реакцию» на «суетное, неудобное путешествие среди толп представителей социальных низов», не может, да и не пытается объяснить, на чем же в таком случае основывались недвусмысленно выраженные здесь симпатии революционера к пролетариату⁶.

Мы убеждаемся в итоге, что общая идейно-методологическая ограниченность концепций буржуазных исследователей, игнорирование ими классово-историчес-

¹ *Berlin I.* Russian Thinkers. P. 180–181.

² *Acton E.* Op. cit. P. 27–28.

³ *Ibid.* P. 28.

⁴ *Raev M.* Imperial Russia. Peter I to Nicholas I. P. 128.

⁵ *Raev M.* Russias Perception of Her Relationship with the West. P. 263.

⁶ *Acton E.* Op. cit. P. 26.

кой обусловленности общественной мысли и, как следствие, абсолютизация ее, а также переоценка роли неких надуманных национальных традиций приводят к тому, что при отдельных правильных догадках и наблюдениях они не способны решить проблему западного влияния.

Справедливо отрицая роль инациональных идейных влияний как главного источника, обеспечивающего динамизм и поступательное развитие русской социальной мысли, историки не видят (или намеренно игнорируют) действительные факты, обуславливавшие это развитие, и поэтому оказываются не в состоянии правильно осветить вопрос об отношении русских мыслителей к идейно-теоретическому наследию Европы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МЕСТО И РОЛЬ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДЕМОКРАТИЗМА В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ БУРЖУАЗНЫХ ИСТОРИКОВ

В пестром многообразии концепций русского революционного демократизма, созданных английской и американской буржуазной историографией, прослеживаются два основных течения, особенно отчетливо обозначившиеся в оценке его исторического места и социальной роли. Одни авторы, выступающие с откровенно реакционных позиций (Б. Вольф, М. Фейнсод, Л. Хэймсон, Р. Дэниельс, Л. Шапиро, С. Томпкинс, Р. Пайпс, А. Улам и др.), изображают представителей русской революционной интеллигенции фанатиками, которыми двигало «чувство мессии»; они склонны считать ее приверженность к социальным идеям не более чем симптомом умственной или нравственной патологии и поэтому полагают, что ее теоретическая и практическая деятельность была, изначально ошибочной по своему содержанию и даже антисоциальной. Обделенная собственными оригинальными идеями и искажающая заимствованные на Западе теории, смысл которых она была не в состоянии понять, русская революционная интеллигенция как исторический феномен, по их мнению, вообще не представляла особого интереса. Если она и привлекает внимание историков, то лишь в связи с тем, что сыгранная ею историческая роль была сугубо деструктивной в социальном плане, поскольку она своею деятельностью «вымостила дорогу» к революции, предопределив тем самым весь последующий ход русской истории.

Сторонники другого, более объективного подхода (И. Берлин, Э. Карр, Э. Акстон, Р. Мак-Нэлли, А. Вусинич, Д. Харди, Н. Перейра, Е. Лэмперт и др.), напротив, утверждают, что русская передовая интеллигенция заслуживает не только внимания, но и признания, поскольку она внесла весьма заметный вклад в мировую историю духовного развития. Ее страстная приверженность к нравственно-этическим идеалам рождала почти религиозные стремления к поискам истины, приводившие нередко к «пророческим» проникновениям в великие проблемы своего времени. Однако эти авторы, как и представители первого течения, считают, что, будучи лишена реальной социальной и политической почвы в своей стране, интеллигенция оказывалась неспособной к объективному рациональному решению собственных национальных общественных задач.

Отмеченные течения довольно отчетливо выкристаллизовались в рассматриваемой нами историографии сравнительно давно. Со временем лишь существенно менялось реальное соотношение между ними. Так в 50–60-е гг. явно доминировал откровенно реакционный, грубо извращающий действительную природу и содер-

жание революционно-демократического движения подход. Он более соответствовал политической ситуации времен «холодной войны», а также состоянию изученности проблемы, когда особенно большое влияние в буржуазной историографии имели откровенно политически ориентированные белоэмигрантские концепции и схемы, в основе которых лежали веховские идеи.

В последующие годы набирало силу второе течение, отличающееся более объективным подходом к исследуемой проблеме. Как и первое, оно в своем существенном содержании обусловлено стоящими перед буржуазными идеологами политическими задачами, решение которых значительно усложняется в новых исторических условиях и вследствие этого требует более убедительного, чем прежде, обоснования путем более адекватного освещения прошлого.

Таким образом, эти две противоборствующие тенденции в освещении западными авторами истории русского революционного демократизма выступают следствием объективных потребностей современного буржуазного общества, диктующих повышение социальной активности исторической науки. В равной мере они – суть отражения самой логики развития исторического знания, столь же тесно связанного с запросами и потребностями господствующего социального порядка. Поэтому исход противоборства между двумя указанными течениями трудно предсказуем, поскольку зависит от различных привходящих факторов, хотя и укладывающихся в рамки главных социально-политических задач современного буржуазного общества.

Общая идеологическая направленность сближает приверженцев того и другого течения в решении проблемы исторического места русского революционного демократизма. Они сходятся в обосновании одного и того же положения, смысл которого заключается в том, что социальные идеалы революционной демократии, равно как и их идейно-теоретическое обоснование, были изначально лишены исторической почвы и потому являлись недемократическими и утопическими, не отражающими интересов и чаяний народа России. В обоих случаях социально-политические теории революционной демократии трактуются лишь как выражение волюнтаристски-релятивистских представлений интеллигенции о социальной реальности как о чем-то целиком и полностью зависящем от воли и желания человека.

Это бездоказательно конструируемое буржуазными авторами «своеобразие» передовой общественной мысли России XIX в. представляется ими одной из главных идейных традиций, обуславливавших развитие русского революционного движения на протяжении всей его истории и связывавших это движение в единое целое.

В русле таких надуманных трактовок русских революционных традиций рассматриваемые авторы анализируют происхождение ленинизма, стремясь ограничить его историческое значение узкими национальными рамками. Используя неоспоримый факт, что исторический опыт революционной демократии действительно помог передовым деятелям России «выстрадать» правильную революционную теорию, осветившую большевикам путь борьбы и способствовавшую победе Великой Октябрьской социалистической революции, буржуазные авторы сиюминутно обосновать тезис о тесном генетическом родстве и полной преемственности между идейно-теоретическим наследием революционеров-демократов и ленинской революционной теорией. Таким образом, они пытаются представить ленинизм в качестве одной из многочисленных теоретических моделей социализма, наиболее недемократической и потому менее всего желательной.

Не отрицая творческое развитие В.И. Лениным марксизма и признавая марксизм не просто как политическую доктрину, но как «нечто, существующее в реальности»¹, они пытаются доказать, будто вклад Ленина представлял собой что-то

¹ *Ulam A. The Unfinished Revolution. An Essay on the Sources of Influence of Marxism and Communism. N. Y., 1960. P. 10.*

принципиально отличное, не вписывавшееся в марксистскую теорию исторического процесса. Так, известный американский советолог А. Улам считает одной из важнейших проблем современности проблему выяснения того, «какого рода марксизм существует в Советском Союзе»¹. По мнению Н. Хир, ленинскую интерпретацию марксизма нельзя свести просто к «апологии во имя тактических решений». Ленин, считает она, фактически «заново переписал» марксизм, доказывая в духе русской интеллектуальной традиции, что «историческое движение рождается скорее как политическое, нежели экономическое»². Конкретное приложение этот вывод нашел, согласно утверждению буржуазных авторов, в большевистской теории и практике революционной борьбы. Сводя ленинскую теорию революции к одной из ее составных частей – учению о партии и извращая его подлинное содержание, которое усматривается в признании партии единственной творческой силой революции, они утверждают, что в ленинизме наиболее четко проявилась сектантская традиция русской революционной мысли, воплотившаяся затем в Октябрьской революции³.

Хорошо известно, как именно буржуазная историография определяет свое отношение к этому величайшему событию XX в. Оно выражается в тезисах о случайном захвате власти, верхушечном перевороте, в котором массы либо не участвовали вовсе, либо являлись «жертвой» пропаганды левых. В связи с этим наиболее распространенным приемом истолкования победы Октябрьской революции была и остается попытка объявить революцию результатом волюнтаристских действий большевиков, и прежде всего В.И. Ленина, якобы поставившего народ России, дезорганизованный войной и лишенный способности к сопротивлению, перед актом насильственной ломки старого социального режима. В обосновании этого тезиса состоял, например, лейтмотив всех докладов на международном симпозиуме, организованном в апреле 1964 г. Русским исследовательским центром при Гарвардском университете⁴.

Отсюда следует, что ленинизм как воплотившаяся в практику революционная теория существенным образом отличается от марксизма. Это отличие, согласно утверждению большинства рассматриваемых исследователей, коренится в укреплении и развитии национальных традиций, присущих русской революционной мысли домарксистского этапа. Поскольку одна из них заключалась в утопии социальных идеалов, их полной оторванности от реальной исторической почвы, то осуществление этих идеалов оказывалось возможным только путем насильственного переворота.

Идея неизбежности устранения социальных противоречий с помощью радикальной ломки существовавшего режима, сформулированная в русской общественной мысли еще в дореформенный период и нашедшая затем широкое обоснование в теории и практике революционного демократизма, явилась, по мнению буржуазных ученых, другой важнейшей традицией русского радикального общественного движения. «Эмоциональная сила идеи революции, – пишет Р. Дэниельс, – была одним из всепоглощающих факторов русской традиции»⁵.

Убежденность в революционном пути решения социальных противоречий как единственно верном и явилась, по мнению буржуазных исследователей, тем главным звеном, которое связало ленинскую теорию революции с марксизмом. Таким образом, согласно их концепциям, ленинизм воспринял в марксизме лишь

¹ *Ulam A. The Unfinished Revolution. An Essay on the Sources of Influence of Marxism and Communism.* N. Y., 1960. P. 10.

² *Heer N. Politics and History in the Soviet Union.* Cambridge, 1971. P. 6.

³ *Meyer A. Leninism.* Cambridge, 1957. P. 19.

⁴ Материалы симпозиума опубликованы в отдельном сборнике под названием «Революционная Россия» (см.: *Revolutionary Russia* / Ed. by R. Pipes. Cambridge, 1968).

⁵ *Daniels R. Lenin and the Russian Revolutionary Tradition // Russian Thought and Politics.* Cambridge, 1957. P. 344, 349.

то, к чему оказался наиболее подготовленным, – положение об исторической неизбежности социалистической революции, но совершенно игнорировал в то же время тезис о детерминированности революции зрелостью социально-экономических предпосылок как непременном условии ее победы и тем самым искажил суть и дух марксизма.

А. Мейер в работе с весьма выразительным заглавием «Ленин: пролетарская революция должна быть осуществлена неизбежно» утверждает в частности, что для В.И. Ленина «соль» марксизма заключалась прежде всего «в непрестанном стремлении к революции», а быть марксистом означало принять «аксиому моральной и действительной неизбежности пролетарской революции»¹. То же утверждает Р. Дэниельс, заявляя, будто В.И. Ленин лишь на словах провозгласил себя марксистом, оставаясь «русским революционером в душе и сердце»². Другими словами, русские социал-демократы нашли в марксизме теоретическое обоснование своим специфическим национальным традициям, и поэтому он оказался для них наиболее подходящей и удобной теорией.

В оценке буржуазными авторами Октябрьской революции как заговора меньшинства нельзя не видеть определенной последовательности. Она логически вытекает из отрицания ими объективной закономерности общественного развития как радикальной ломки устаревших социальных форм, неприятия принципа повторяемости в историческом процессе. Тем настоятельнее с течением времени встает перед буржуазными идеологами и обществоведами задача более убедительно обосновать вывод о том, что революция была случайным событием, не связанным с действительными социальными потребностями и устремлениями народа.

Задача эта становится все сложнее, ее решение требует более обстоятельной аргументации, поскольку ход мировых событий приносит все новые неопровержимые свидетельства в пользу признания революции закономерной, исторически обусловленной формой социального прогресса. В этой связи отнюдь не случайным является тот факт, что все без исключения исследования современных буржуазных авторов преследуют одну цель – отыскать новые, более убедительные доказательства для обоснования тезиса о недемократическом характере октябрьских событий. Поскольку же эта цель заведомо обречена и, следовательно, задача неразрешима, они вынуждены проявлять необыкновенную активность и изобретательность (не гнушаясь и откровенно фальсификаторских приемов), чтобы доказать недоказуемое.

В ряду такого рода приемов главную роль играет стремление буржуазных ученых обосновать вывод об отсутствии принципиальных отличий ленинизма от революционного демократизма и прежде всего от его народнического этапа, непосредственно предшествовавшего социал-демократическому движению. Характеризуя социальные идеалы революционной демократии как лишённые реального исторического содержания утопические прожекты, они стремятся доказать идейно-теоретическую преемственность ленинизма и революционного демократизма и дискредитировать ленинизм, изобразив его столь же утопичной, основанной на ненаучных субъективистских посылах революционной теорией. Главной целью авторов становится задача представить деятелей русского радикального движения с их «неразумной ненавистью» к существовавшему строю и тяготению к негуманным насильственным методам борьбы прямыми предшественниками Ленина и большевиков³.

¹ Meyer A. Lenin: Proletarian Revolution has to be made Inevitable // Imperial Russia after 1861. Boston, 1961. P. 18.

² Daniels R. Op. cit. P. 350.

³ См., напр.: Barghoorn F. Nihilism, Utopia, and Realism in the Thought of Pisarev // Russian Thought and Politics. Cambridge, 1957. P. 231; Pravdin M. Unmentionable Nechaev. Key to Bolshevism. London, 1961. P. 121; Bachman J. Recent Soviet Historiography of Russian Revolutionary Populism // Slavic Review. 1970. № 12. P. 599.

Особенно большое внимание буржуазных историков в связи с этим привлекает П.Н. Ткачев. Им представляется заманчивым найти во взглядах этого крупного теоретика народнического движения, яркого представителя бланкистского направления, нечто общее с ленинизмом и попытаться убедить читателя в приверженности большевиков к недемократическим, заговорщическим методам борьбы. Во всех без исключения работах английских и американских авторов о Ткачеве внимание сфокусировано на доказательстве того, что он предопределил большевизм по целям и средствам революционной борьбы¹. Выводы, к которым приходят авторы этих работ, весьма недвусмысленны. «Деятели, подобно Ткачеву, Нечаеву и... Писареву, – пишет, например, И. Берлин, – чьи последователи известны как нигилисты, предвосхитили Ленина в своем презрении к демократическим методам»². Ту же мысль мы находим у В. Фишмэна. «Совершенно очевидно, – утверждает он, – что Ленин руководствовался традициями домарксистского бланкизма, популяризатором которого в России был Ткачев»³.

Обращает на себя внимание, что с течением времени оценка места и роли Ткачева не меняется. Показательно при этом, что она остается неизменной не только в работах историков, занимающих явно реакционную позицию⁴, но и у авторов, которых можно отнести к числу более объективно настроенных исследователей⁵.

Заслуживает быть отмеченным, что в последних исследованиях о Ткачеве в полной мере проявилась тенденция, характерная для буржуазной историографии русской общественной мысли в целом, а именно: значительное расширение круга привлеченных источников и литературы. При этом если раньше буржуазные авторы основывались в своих обобщающих построениях преимущественно на выводах историков-белоземigrants, а из работ советских исследователей использовали лишь вышедшие в 20–30-е гг., то в последнее время литературу такого рода заметно потеснили труды современных советских историков. Не столь односторонне и выборочно, как прежде, изучаются труды самого П.Н. Ткачева.

Все это позволило авторам последних работ о П.Н. Ткачеве полнее и глубже изучить его взгляды и сделать правильные выводы по некоторым частным вопросам. И все же то новое, что проявляется в этих исследованиях, вполне укладывается в русло развития всей буржуазной историографии. Отмеченные новации не меняют общей историографической картины, основные выводы буржуазных ученых остаются прежними. Тем не менее представляется интересным на конкретном примере исследования буржуазными авторами взглядов Ткачева проследить, как менялась со временем система доказательств в обосновании тезиса о генетической преемственности теории революции В.И. Ленина и воззрений революционной демократии.

Первым, кто попытался представить П.Н. Ткачева в качестве предшественника Ленина, был М. Карпович, опубликовавший в 1944 г. статью под весьма интригующим названием «Предшественник Ленина: П.Н. Ткачев»⁶. По мнению Карповича, Ткачев представляет собою чрезвычайно интересную фигуру для исследователя. И не только потому, что первый выступил с программой «прямого штурма» правительства силами революционного меньшинства, но потому, главным образом,

¹ О содержании работ свидетельствуют их весьма выразительные названия: *Фишмэн В.* Петр Никитич Ткачев – наставник большевизма (*Fishman W. Peter Nikhitich Tkachev – Tutor of Bolshevism // History to day. 1965. Vol. 15, № 2. P. 118–127*); *Уикс А.* Первый большевик. Политическая, биография Петра Ткачева (*Weeks A. The First Bolshevik. A Political Biography of Peter Tkachev. N. Y., 1968*); *Харди Д.* Ткачев и марксисты (*Hardy D. Tkachev and Marxists // Slavic Review. 1971. № 3. P. 22–34*).

² *Berlin I.* Introduction to: Ventury F. Roots of Revolution. N. Y., 1966. P. XIII.

³ *Fishman W.* Op. cit. P. 125, 127.

⁴ См., напр.: *Ulam A.* In the Name of the People. N. Y., 1977.

⁵ См., напр.: *Hardy D.* Peter Tkachev. The Critic as Jacobin. Seattle, 1977.

⁶ *Karpovich M.A.* Forerunner of Lenin: P.N. Tkachev // Review of Politics. 1944. Vol. 6, № 3. P. 336–350.

что дал развернутое теоретическое обоснование своей программе, заимствованное позже в его существенной части большевиками¹. Стержневой в статье Карповича была мысль о том, что В.И. Ленин многое взял от «домарксистской революционной традиции». Дополнив заимствованными положениями марксизм («привив» их к марксистской теории) и тем самым существенно искажив его, он создал таким образом свою, отличную от марксистской революционную теорию².

Статья Карповича не лишена отдельных заслуживающих внимания наблюдений. Так, он считал несостоятельной оценку Ткачева как первого русского марксиста, данную советскими историками 20–30-х гг., в частности М.Н. Покровским и Б.П. Козьминым. Однако верно ссылаясь на коренное отличие историко-философской концепции русского революционера от теории исторического развития К. Маркса, даже противопоставляя их взгляды, Карпович в то же время пытался не просто сблизить, но и отождествить идейные позиции Ткачева и Ленина, чтобы доказать прямое родство их революционной стратегии³. Ее коренная суть обнаруживается, по мнению историка, прежде всего в идее «превентивной» революции, осуществляемой в условиях, когда капитализм еще не успел пустить свои корни в русскую почву и, следовательно, буржуазия еще не стала экономически и политически господствующей силой⁴.

Нетрудно понять, что в основе всех построений Карповича лежало отрицание исторической обусловленности социалистической революции в России, стремление представить ее плодом волюнтаристских взглядов и действий, присущих всему русскому революционному движению. При этом бланкизм, представлявший собою одно из течений в движении революционного народничества, искусственно трактовался в качестве доктрины, господствовавшей в революционной идеологии на протяжении ряда десятилетий начиная с 60-х гг. XIX в.

Положения Карповича становятся отправными и получают дальнейшее развитие во всех последующих исследованиях о П.Н. Ткачеве. Среди них заслуживают быть особо отмеченными уже упомянутые работы В. Фишмэна и А. Уикса. Названные авторы берут исходным моментом как «раз и навсегда доказанный» вывод Карповича о тесном генетическом родстве революционной стратегии Ленина и Ткачева, по-разному варьируя этот ставший в современной буржуазной историографии основополагающим тезис.

Согласно, например, утверждениям В. Фишмэна, П.Н. Ткачев, будучи первым адептом и популяризатором марксизма в России, явился важнейшим звеном в цепи «великих мятежников» от Бабефа до Ленина⁵. Эту роль своего рода передаточного механизма в революционном элитаризме как самой яркой русской революционной традиции, нашедшей свое наиболее полное практическое воплощение в Октябрьской революции, П.Н. Ткачев выполнил благодаря признанию им экономической теории К. Маркса⁶, что будто бы и позволило позже В.И. Ленину взять на вооружение его революционную концепцию, приспособив ее к новым историческим условиям.

Нельзя не отметить, что Фишмэн в данном случае явно пошел назад в сравнении с Карповичем, откровенно фальсифицируя действительные факты, чтобы подогнать их под заданную схему. Хорошо известно, что трактовка П.Н. Ткачевым процесса исторического развития, его движущих сил не имеет ничего общего с философско-историческими взглядами К. Маркса. Словесное признание Ткачевым того, что в основе исторического процесса лежит экономический фактор, отнюдь

¹ *Karpovich M.A.* Forerunner of Lenin: P.N. Tkachev // *Review of Politics*. 1944. Vol. 6, № 3. P. 336.

² *Ibid.* P. 337.

³ *Ibid.* P. 350.

⁴ *Ibid.* P. 347.

⁵ *Fishman W.* *Op. cit.* P. 127–128.

⁶ *Ibid.* P. 119.

не означало действительного принятия им исторического материализма. Это убедительно показано в статьях Ф. Энгельса из серии «Эмигрантская литература», написанных в плане полемики с Ткачевым¹. Развенчивая революционную теорию П.Н. Ткачева, отвергая его уверенность в возможности легкой скорой социалистической революции, Энгельс подчеркивал, что эта необоснованная и опасная иллюзия была порождена ненаучными идеалистическими представлениями о сути общественно-исторического процесса, представлениями, не имеющими ничего общего с материалистическим пониманием истории².

Попытка дать более развернутую и обстоятельную аргументацию ошибочному положению о тесном родстве революционной теории В.И. Ленина и П.Н. Ткачева предпринята в работе американского историка А. Уикса³, которая заслуживает более подробного рассмотрения. И не только потому, что, как отмечается в редакционном введении к ней, она является первым в западной литературе монографическим исследованием о П.Н. Ткачеве⁴ и в целом положительно оценена буржуазными исследователями⁵, но и потому прежде всего, что в ней наиболее рельефно и законченно выражены господствующие в современной буржуазной историографии тенденции в освещении исторического места революционного демократизма.

Уикс идет гораздо дальше своих предшественников, в том числе М. Карповича, которого называет своим учителем⁶. Он утверждает, что идеи Ткачева не только во многом предопределили ленинскую теорию социалистической революции, но и стали руководящими во всей внутривнутриполитической жизни Советского государства на протяжении его более чем полувековой истории⁷.

Как и подавляющее большинство исследований, проведенных в 50–60-е гг., книгу А. Уикса отличают узкая источниковая база и поверхностное знакомство с литературой по проблеме⁸. Это обусловило неточное и небрежное изложение им фактов и событий⁹, большое число описок в именах, названиях, транслитерации¹⁰.

Вместе с тем в работе Уикса содержится ряд верных выводов и наблюдений, придающих ей до некоторой степени (по крайней мере чисто внешне) объективный характер. Так, отказавшись от распространенной в зарубежной буржуазной литературе трактовки русской революционной идеологии в качестве результата прямого заимствования западных идей, американский ученый вопреки утверждениям многих других исследователей (в том числе Карповича) не склонен рассматривать Ткачева как простого последователя О. Бланки. По его мнению, взгляды Ткачева глубоко национальны. Концепция политического заговора, утверждает историк, укрепилась в России со времени декабристов и в революционной теории Ткачева сли-

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 522.

² Эти ошибочные взгляды, писал Энгельс, создавали ложную надежду на то, будто революции вообще «можно делать по заказу, как кусок узорчатого ситца или самовар» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 547, см. также С. 537–538, 544).

³ Weeks A. Op. cit.

⁴ Ibid. P. V.

⁵ См.: Hardy D. Tkachev and Marxists // Slavic Review. 1970. № 3. P. 22 и рец. Н. Рязановского (Slavic Review. 1969. № 5. P. 331–332).

⁶ Он отмечает, что интерес к Ткачеву возник у него «после прочтения и обдумывания» упомянутой нами статьи Карповича (Weeks A. Op. cit. P. VII).

⁷ Ibid. P. 191–192.

⁸ Уикс лишь выборочно ссылается на работы самого Ткачева, а из работ советских исследователей о нем использует только те, что были опубликованы в 20–30-е гг. Более того, он беззастенчиво утверждает, что в библиотеке им. В.И. Ленина нет ни одной работы советских историков, кроме ранних работ Б.П. Козьмина, и ни одного из шести томов сочинения самого Ткачева (Ibid. P. 186).

⁹ Примером является утверждение Уикса о том, что высылка Ткачева в Великолуцкий уезд Псковской губернии навсегда разлучила его с женой, участницей народнического движения А.Д. Дементьевой. В действительности же она добилась перевода из места своей ссылки (Новгород) в место ссылки мужа, а позже вслед за ним уехала за границу.

¹⁰ На это обращает внимание в своей рецензии Н. Рязановский (Slavic Review. 1969. № 5. P. 331).

лась с волюнтаристскими тенденциями, ведущими свое начало от революционно-демократической мысли 60-х гг.¹ Далее эта традиция идейной преемственности нашла свое продолжение в ленинизме, который-де оказался, по сути лишь повторением основных положений революционной теории П.Н. Ткачева².

В отличие от Фишмэна Уикс, как и Карпович, не пытался преуменьшить различия во взглядах К. Маркса и П.Н. Ткачева. Он безусловно прав, когда утверждает, что разногласия между К. Марксом и Ф. Энгельсом, с одной стороны, и П.Н. Ткачевым – с другой нельзя сводить только к тактическим вопросам революционной борьбы в России, но что следует прежде всего учитывать совершенно разное понимание ими сути исторического процесса. Испытывая известное влияние марксизма и признавая формально экономическую детерминированность общественно-исторического развития, Ткачев, как правильно отмечает Уикс, оставался на позициях недиалектического, вульгарно-экономического материализма и понимал роль экономического фактора лишь как «гаранта» революционных преобразований³. Положения отнюдь не служат Уиксу основанием для правильного освещения вопроса о месте Ткачева, как и всего революционного народничества, в истории русского общественно-революционного движения. Они потребовались ему лишь для того, чтобы извратить суть ленинизма, поместив его в русло главной русской революционной традиции – традиции заговора. Оторвав ленинизм от марксизма и объявив Ткачева «первым большевиком», Уикс тщится представить Ленина не продолжателем дела Маркса, но прямым последователем Ткачева. Согласно его утверждению, признание Ткачевым, хотя и чисто формальное, экономического материализма дало возможность В.И. Ленину «оживить» и «укрепить» бланкистскую тенденцию в русской революционной мысли, дополнив ее «более разработанным», научным социализмом, и таким образом создать свою, в корне отличную от марксизма революционную теорию⁴.

В результате, считает Уикс, Ленин оставался марксистом лишь на словах, действительную же суть его революционной теории составляла традиция старого русского заговора. Поэтому, утверждает он далее, главные принципы теории и практики большевизма (требование создания централизованной революционной организации и твердого, осознанного курса послереволюционных преобразований общества на социалистических началах) представляли собой не что иное, как развитие основных теоретических положений Ткачева, базировавшихся на идеалистической волюнтаристской трактовке исторического процесса⁵.

Важнейшим из этих положений, составляющих основу всех других, был вывод о возможности для России миновать стадию капиталистического развития путем осуществления «превентивной» революции, которая бы предотвратила дальнейшее развитие буржуазии и этим облегчила социалистическую перестройку общества. «Концепция превентивной революции, – читаем мы в работе Уикса, – ...предвосхитила подобное ленинское учение о том, что ждать – значит затруднить победу социалистической революции, если не сделать ее невозможной вообще»⁶. По мнению автора, мысль Ткачева об организации немедленной революции, пока государство «висит... в воздухе», не успев еще обрести моральную и материальную силу, нашла свое логическое завершение и «домашнее приложение» в ленинском выводе о «слабом звене» в цепи империалистических держав⁷.

¹ Weeks A. Op. cit. P. 27–28, 31.

² Ibid. P. 168.

³ Ibid. P. 128–129.

⁴ Ibid. P. 32.

⁵ Ibid. P. 127.

⁶ Ibid. P. 109.

⁷ Ibid. P. 86, 106.

Итак, Уикс пошел дальше своего учителя. Если Карпович считал, что ленинизм явился результатом «привития» к марксизму отдельных положений народничества, то Уикс утверждает, будто в основе ленинизма лежала народническая революционная теория, дополненная некоторыми выводами Маркса. В рассуждениях американского ученого мы сталкиваемся с непониманием (или, скорее, намеренным извращением) истории развития социалистической мысли в целом, с отрицанием коренных различий между утопическим и научным социализмом и откровенной фальсификацией ленинской мысли. В них полностью игнорируется принципиальное отличие революционных теорий Ленина и Ткачева, заключающееся в совершенно разной трактовке условий осуществления и движущих сил социалистической революции.

В представлении Ткачева революция являлась волюнтаристским актом, воплотившимся в идее политического заговора как начального этапа революционных преобразований, успех которого определялся политической слабостью правительственной власти (пресловутый тезис о «висящем в воздухе» самодержавии) и наличием организованного, сплоченного революционного меньшинства. В ленинской же теории победа революции обуславливалась прежде всего развитостью социально-экономических противоречий капиталистического общества и наличием политически зрелого революционного класса – пролетариата. Вследствие этого теория «слабого звена» у Ленина имеет совершенно иной смысл, нежели упомянутая идея Ткачева о непрочности правящей власти. Она явилась выводом из всестороннего анализа капитализма как мировой системы, ее противоречий, возникающих на империалистической стадии, в то время как концепция Ткачева основывалась на неверном понимании и толковании им своеобразия социально-политической ситуации в пореформенной России, заключавшейся, по его мнению, в оторванности государства от всех классов и слоев русского общества.

Произвольно манипулируя известными фактами, свидетельствующими о большом интересе В.И. Ленина к взглядам П.Н. Ткачева¹, а также руководствуясь собственными домыслами на этот счет (например, говорится о сходстве названий работ Ленина и Ткачева и на этом основании делаются выводы об идентичности их содержания)², Уикс подменяет поверхностными, а чаще надуманными аналогиями действительно научный сравнительный анализ содержания революционных воззрений В.И. Ленина и П.Н. Ткачева, возможный единственно лишь на основе выявления их классовой природы. Только такое исследование, учитывающее коренные социально-экономические перемены, происшедшие в России в последней четверти XIX – начале XX в. и сыгравшие решающую роль в развитии социализма «от утопии к науке», дало бы возможность выяснить подлинное место П.Н. Ткачева, как и других идеологов революционно-демократического этапа борьбы, в истории русского освободительного движения.

Софизмы Уикса, пытающегося игрой в термины подменить глубокий объективный анализ изучаемых явлений, свидетельствуют не только о вполне определенной политической направленности его построений. В равной мере они суть выражение научной несостоятельности его исследования, обусловленной порочностью методологических установок историка.

Мы не случайно подробно остановились на книге А. Уикса. В ней особенно полно отразились политические устремления и идейно-методологические пороки, свойственные современным буржуазным исследователям русской революционно-демократической мысли.

¹ Уикс ссылается, в частности, на воспоминания В.Д. Бонч-Бруевича, где говорится о том, что В.И. Ленин настойчиво рекомендовал своим соратникам читать работы П.Н. Ткачева и других идеологов народнического движения (см.: *Бонч-Бруевич В.Д.* Избр. соч. М., 1961. Т. 2. С. 314–315, 316).

² *Weeks A.* Op. cit. P. 100–101.

Сходную позицию занимает американская исследовательница Д. Харди. В серии работ, посвященных П.Н. Ткачеву¹, она, как и А. Уикс, ставит своей задачей доказать коренную противоположность теоретических воззрений Ткачева и Маркса. Еще более решительно Харди возражает тем исследователям, которые считают Ткачева первым русским марксистом. Признавая кажущуюся близость философско-исторических воззрений Ткачева историческому материализму Маркса, она отмечает принципиальные различия между ними и подчеркивает, что тем более далекой от марксизма была революционная теория Ткачева². На первый взгляд создается впечатление, что Харди действительно пытается дать научный анализ взглядов Ткачева, для чего она обращается к их истокам, уходящим в революционное движение 60-х гг., – периоду начала его революционной деятельности. Однако главная цель этого экскурса, как выясняется в итоге, заключается в том, чтобы на примере революционной теории и деятельности Ткачева как можно доказательнее обосновать мысль о строгой приверженности русских революционеров (включая и Ленина) к зародившейся в те годы сектантской заговорщической традиции. Это убедительно подтверждается авторской сентенцией, что, проживи Ткачев дольше, «он стал бы сотрудничать с Лениным»³.

Все рассмотренные здесь работы объединяет одна общая черта – стремление доказать внутреннее родство ленинизма с революционно-демократической идеологией посредством обоснования заведомо ложного тезиса об идентичности революционной теории В.И. Ленина и П.Н. Ткачева. Наиболее распространенным аргументом, к которому при этом прибегают исследователи, является интерес Ленина к идейно-теоретическому наследию Ткачева, как, впрочем, и других идеологов революционной демократии. Однако действительно большой и неоспоримый интерес В.И. Ленина и его соратников к теориям идеологов освободительного движения революционно-демократического этапа (включая народничество) свидетельствует вовсе не о том, что тщетно пытаются доказать буржуазные авторы.

Этот интерес отнюдь не был вызван просто желанием русских марксистов заимствовать революционно-демократические теории, но явился следствием их стремления глубоко осмыслить эти теории, чтобы лучше понять отразившиеся в них реальные социально-экономические процессы. Остро стоящая перед русскими марксистами задача выработать правильную научную революционную теорию обязывала их не просто обосновать историческую закономерность капитализма, но и показать также всю сложность и противоречивость его развития в конкретно-исторических условиях пореформенной России, а это требовало, в свою очередь, проникновения в коренную суть социально-политических процессов, глубокого понимания реального соотношения классовых сил, их творящих. Кроме того, было исключительно важно осмыслить революционный опыт прошлого, чтобы использовать его в новых исторических условиях, в том числе и опыт практической борьбы и организационных исканий⁴. Именно этот опыт нашел свое практическое применение в создании марксистами-ленинцами революционной партии нового типа. Эти обстоятельства и объясняют тот большой интерес к передовой общественно-

¹ *Hardy D.* Tkachev and Marxists; *Idem.* Consciousness and Spontaneity. 1875: The Peasant Revolution, seen by Tkachev, Lavrov, and Bakunin // *Canadian Slavic Studies*. 1970. Vol. IV, № 4. P. 703–716; *Idem.* The Lonely Emigry. Peter Tkachev and Russian Colony in Switzerland // *The Russian Review*. 1976. Vol. 35, № 4. P. 400–416; *Idem.* Peter Tkachev. The Critic as Jacobin. Seattle, 1977.

² *Hardy D.* Tkachev and Marxists. P. 34.

³ *Hardy D.* Peter Tkachev. The Critic as Jacobin. P. 340.

⁴ В данном случае мы имеем дело с практическим применением ленинского исторического метода исследования, требующего изучать всякое общественное явление не изолированно и не просто во временных рамках, но во всем многообразии его связей с другими явлениями и процессами. (Подробнее см.: *Могильницкий Б.Г.* Исторический метод в произведениях В.И. Ленина: Дюктябрьский период // *Проблемы истории русского общественного движения и историческая наука*. М., 1981. С. 155–163).

политической мысли предшествовавшего этапа, который неизменно сопровождал теоретическую деятельность русской социал-демократии.

Следует помнить также, что интерес и внимание русских социал-демократов к революционно-демократическому движению всегда сопровождалась острой полемикой с народниками, развенчиванием их ненаучных идеалистических трактовок процесса исторического развития, значительно утративших к концу XIX в. свою относительную прогрессивность и историческое оправдание.

Таким образом, попытка извратить суть ленинизма, оторвав его от марксизма и изобразив непосредственным преемником идейно-теоретического багажа русской революционной демократии, является основной целью современных буржуазных ученых, занимающихся исследованием истории русского революционного освободительного движения XIX в. Этот доминирующий в западной историографии подход, разумеется, не исключает полностью наличия других концепций, по-иному трактующих коренную суть ленинизма¹.

Так, в частности, существует точка зрения, согласно которой ленинская революционная теория укладывается в русло «ортодоксального» марксизма. Однако и в этом случае остается неизменной главная политическая задача – дискредитировать ленинизм как теорию и большевизм как политическое течение. Лишь несколько меняются акценты, а именно: исследователи стремятся изобразить саму марксистскую теорию ненаучной, софистической доктриной, обладающей способностью существенно изменяться в своем содержании в зависимости от конкретных исторических условий².

Задаче дискредитировать ленинизм, изобразив его проявлением чисто русской сектантской революционной традиции, лежащей в стороне от движения масс, служат также попытки буржуазных авторов характеризовать русское революционно-демократическое движение как нигилистическое. Такая оценка революционного демократизма преследует в настоящее время также и другую цель – доказать, что, будучи негативистским в своей основе, оно несло в себе истоки современного политически немотивированного провокационного терроризма. Не случайно с течением времени все более выраженной становится тенденция распространить понятие «нигилизм» на все революционно-демократическое движение в целом, зачислив в ряды «нигилистов» всю русскую радикальную интеллигенцию.

Так, если М. Карпович, например, считал возможным относить к «нигилистам» лишь отдельных представителей революционного движения 60-х гг., которые, по его мнению, ставили своей целью только «освобождение личности» и вовсе не занимались поисками решения социальных проблем³, то Р. Хингли склонен употреблять термин «нигилист» в качестве синонима понятий «радикал» и «революционер»⁴, утверждая при этом, что такое определение нигилизма является «общепризнанным» в западной историографии⁵.

Конечно, интерпретация содержания понятия «нигилизм» у разных ученых неодинакова. Она прямо соотносится с основными течениями, обозначившимися в современной буржуазной историографии русского революционного демократизма. Одни исследователи (Р. Хингли, С. Томпкинс, А. Улам, Б. Пейерс, Р. Пайпс) представляют его прежде всего как явление в своей основе антисоциальное, заключающее в себе пафос всеобщего негативизма (отрицание ради отрицания) и не содер-

¹ Подробнее см.: *Игрицкий Ю.И.* Против ложного истолкования ленинизма // Вопросы истории. 1977. № 1. С. 195–196.

² См., напр.: *Ulam A.* The Unfinished Revolution. P. 3; *Idem.* The Bolsheviks. The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia. N. Y.; London, 1965. P. 145.

³ *Karpovich M.* Imperial Russia. 1801–1917. N. Y., 1932. P. 44.

⁴ *Hingley R.* Nihilists: Russian Radicals and Revolutionaries in the Reign of Alexander II (1855–1881). N. Y., 1969. P. 121.

⁵ *Ibid.*

жащее никаких позитивных потенций. Для других (И. Берлин, Н. Рязановский, А. Вусинич) нигилизм – одна из черт революционного демократизма, одно из проявлений его, вылившееся в отрицание существовавшей нравственности во имя торжества неких новых (весьма туманно определенных теоретически) этических норм, присущих столь же туманно представляемому будущему. В обоих случаях, однако, авторы отталкиваются от характеристики революционно-демократической идеологии как беспочвенного неприятия действительности во всех ее проявлениях с целью осуществления некой абстрактной и потому не выражающей интересы народа и государства мечты.

Трактовка нигилизма как всеобщей отрицающей силы, силы мрака и разрушения содержится в работах, авторы которых стремятся изобразить как нигилистическое все русское революционное освободительное движение. Они видят в нигилизме полное отрицание морали и этики, самонадеянную и циничную в своей слепоте и самообмане силу, которая не могла принести России ничего, кроме вреда¹, проявление «мелодраматической истории», отразившей столь же мелодраматический страх правительства перед народом².

Пытаясь изобразить русское революционно-демократическое движение как движение нигилистическое по своей сути, буржуазные авторы проявляют необычайную изобретательность, переходящую в откровенную фальсификацию революционного прошлого России.

Наиболее распространенным приемом такой фальсификации является стремление представить С.Г. Нечаева типичной в истории русского революционного движения фигурой, выражающей его реальную нравственную суть³. Этот тезис широко варьируется в работах современных буржуазных исследователей, настойчиво стремящихся доказать, что «иезуитские методы» действий Нечаева оказали большое влияние на революционно-демократическое движение. Вопреки хорошо известным фактам⁴ они утверждают, что «техника» Нечаева использовалась революционерами (хотя и не всегда осознанно) в своих практических акциях и что позже эти методы были заимствованы большевиками⁵.

Для достижения своих целей (не только изобразить большевиков в качестве преемников Нечаева, но и доказать, будто в русском революционном движении коренятся истоки современного политического терроризма) буржуазные историки не ограничиваются одним лишь изложением неверного тезиса о широком распространении методов Нечаева в революционно-демократической среде. Они пытаются дать своего рода теоретическое обоснование этому выводу, утверждая, что «нечаевщина» не была и не могла быть чем-то принципиально чуждым революционному движению своего времени, но, напротив, явилась доведением революционной этики до ее логического конца⁶. Причины этого заключались, по их мнению, в том, что исходные теоретические позиции Нечаева были не просто обобщением («рационализацией») его личностного опыта, но, как утверждает М. Конфино, опыта, имевшего социальное значение, поскольку Нечаев представлял типичную для ре-

¹ *Tompkins S. The Triumph of Bolshevism. Revolution or Reaction? Norman, 1967. P. 297.*

² *Ibid.*

³ М. Правдин утверждает, в частности, что русское революционное движение имело больше общего с Нечаевым, чем с каким-либо другим деятелем, восприняв его технику конспирации, тактику и методы действий (*Pravdin M. The Unmentionable Nechaev. A Key to Bolshevism. P. 7*).

⁴ Нельзя не удивляться при этом той настойчивости, с которой они игнорируют эти факты, а также выводы, содержащиеся в работах советских ученых, убедительно доказавших, что одной из традиций русского революционного движения была традиция борьбы с «нечаевщиной» (*Володин А.И., Корякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Чернышевский или Нечаев? М., 1976. С. 274*).

⁵ См., напр.: *Wren M. The Course of Russian History. N. Y., 1958. P. 428; Pravdin M. Op. cit. P. 7; Methvin E. The Rise of Radicalism. The Social Psychology of Messianic Extremism. Arlington House, 1973. P. 196; Ulam A. In the Name of the People. P. 142.*

⁶ *Carr E. Bacunin. N. Y., 1961. P. 391.*

волюционного движения фигуру – фигуру разночинца, поэтому его руководящие принципы заключали в себе начала, общие для всего революционно-демократического движения¹. Развивая мысль Конфино, другой американский ученый, В. Мак-Клеллан, усматривает причину популярности Нечаева в том, что его взгляды представляли собой «неустойчивую амальгаму» (историк называет ее «демократическим деспотизмом»), которая вобрала в себя элементы многих течений в революционной демократии, поэтому-то они и отвечали вкусам и требованиям разных представителей движения².

Любопытную попытку дать историческое обоснование трактовки русского революционного нигилизма как всеобщего, абсолютного, иррационального негативизма предпринял в своей недавней работе А. Улам. Он утверждает, что в своем начальном проявлении нигилизм революционеров-демократов был чужд всеобщего отрицания и анархии³. «Стереотип» нигилиста начала 60-х гг. – революционер, которого отличало не только и не столько следование принципу «цель оправдывает средства», сколько сама цель, заключающаяся в стремлении установить новое общество, светлый, но химерический образ которого был нарисован Чернышевским в романе «Что делать?»⁴. Однако с течением времени в авторитарной России все более крепнет убежденность, обернувшаяся «бесспорной догмой», что правительство является «естественным врагом общества»⁵. И тогда нигилизм с логической неотвратимостью превращается в культ мятежа, подчинившего своим целям все революционно-демократическое движение во имя бескомпромиссного отрицания существовавших институтов, политических установлений и узаконенной морали. В ситуации, когда не было и не могло быть реальной позитивной программы, это стремление к мятежу столь же неотвратимо вылилось в практику политического террора и насилия, воспринимаемых временами русским обществом как «естественные события жизни»⁶. Последнее утверждение особенно отчетливо раскрывает главную цель и смысл приведенных рассуждений А. Улама. Они заключаются в том, чтобы доказать, будто насилие и террор изначально предопределены в России ее политическим устройством, иррациональным в своей основе.

Характеристика русского революционного нигилизма как абсолютного негативизма, полностью лишенного конструктивных потенций, совершенно ошибочна. Она не отражает его коренную суть. В действительности в нигилизме русской революционной демократии нашло свое выражение неприятие ею устаревших и отживающих форм общественной жизни ради утверждения новых гуманистических социальных ценностей. Он не имел ничего общего с философским течением нигилизма, пронизанным настроениями безысходности и пессимизма (Ницше, Шопенгауэр и др.), которое оформилось в западноевропейской общественной мысли второй половины XIX в. как отражение социального и духовного кризиса буржуазного общества, ошибочно осознававшегося в качестве кризиса всех общечеловеческих гуманистических ценностей и идеалов⁷. Конструктивный социальный смысл революционного нигилизма был обусловлен общим подъемом духовной жизни русского общества, освободившегося от оков крепостничества и рожденных им предрассудков. Эту действительную суть революционно-демократического нигилизма, его позитивный заряд видели и хорошо понимали современники, воспринимавшие его

¹ *Confino M.* Introduction to: Natalie Herzen and the Bacunin – Nechaev Circle. London, 1974. P. 22, 23.

² *Mc.Clellan W.* Revolutionary Exiles: The Russians in the First International and the Paris Commune. London; Totova, 1979. P. 194.

³ *Ulam A.* In the Name of the People. P. 131.

⁴ *Ibid.* P. 135.

⁵ *Ibid.* P. 19, 21, 23.

⁶ *Ibid.* P. 142.

⁷ *Кузнецов Ф.* «Нигилизм» и нигилизм. О некоторых новомодных трактовках творческого наследия Писарева // Новый мир. 1982. № 4. С. 229–253.

прежде всего как «очистительную, беспощадную критику» господствовавших в России крепостнических нравов¹. «Настоящий нигилизм, – писал С. Кравчинский, – каким его знали в России, был борьбою за освобождение мыслей от уз всякого рода традиций, шедших рука об руку с борьбой за освобождение трудящихся классов от экономического рабства»². Та же мысль выражена и у А.И. Герцена, с присущей ему наблюдательностью и меткостью называвшего «нигилизм» революционеров-шестидесятников «взрывом смеха» – «...странного смеха, страшного смеха, смеха судорожного, в котором был и стыд, и угрызение совести, и, пожалуй, не смех до слез, а слезы до смеха»³. И наконец, Д.И. Писарев, первый и главный представитель и идеолог нигилизма в России, писал, выражая основу и смысл своих воззрений: «Не имея возможности переделать жизнь, люди вымещали свое бессилие в области мысли: там ничто не останавливает разрушительной критической работы, суеверие и авторитеты разбиваются вдребезги и мирозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений»⁴.

Мы убеждаемся, что стремление буржуазных авторов изобразить русское революционное движение как движение негативистское в своей основе представляет собой очередную попытку извратить действительный смысл русских революционных традиций. Эти усилия преследуют уже более широкую, чем прежде, цель – дискредитировать не только ленинизм и советскую социалистическую систему, но и все международное коммунистическое движение.

Ускорение темпов и необычайная противоречивость развития современного мира, все сильнее обнаруживающие нестабильность капиталистического общества, заставляют буржуазных политиков и социологов настойчивее искать более убедительное теоретическое обоснование его мнимой жизнестойкости и способности к дальнейшему поступательному движению.

В этой связи особенно возрастает их заинтересованность в таком освещении истории, которое бы полнее учитывало социальный опыт настоящего, трактуемый соответственно собственным представлениям об историческом процессе, и тем самым укрепило бы веру в будущее. «Процесс истории уникален, но тем не менее вразумителен», – поучает в частности Р. Дэниельс, один из представителей реакционного крыла американской историографии⁵. Еще более откровенно высказывается по этому поводу другой американский исследователь – Д. Филд. «Профессиональные историки, – пишет он, – создают свою продукцию сообразно субъективным и профессиональным императивам, но также и согласно требованиям общества. Оно нуждается в продукции историка, поскольку ищет подтверждения выношенным им представлениям о самом себе»⁶.

Эта характеристика относится не только к прошлой истории капиталистических стран. В равной мере она приложима и к исследованию истории социалистических государств и прежде всего истории России, которая препарируется западными авторами соответственно классовым целям современной буржуазной историографии и пронизана антисоветскими тенденциями.

Связь буржуазной историографии с антисоветизмом обусловлена ее главной социальной функцией – решать стоящие перед обществом идеологические задачи, формируя его социальное сознание. В этой ситуации классовая направленность буржуазной историографии неизбежно рождает двоякую цель: стремление на опыте прошлого доказать жизнеспособность капиталистического строя с логической

¹ Крпоткин П.А. Записки революционера. М., 1966. С. 267.

² Кравчинский С.М. Соч. М., 1958. Т. 1. С. 3, 67.

³ Герцен А.И. Собр. соч. М., 1960. Т. XX. Кн. 1. С. 348.

⁴ Писарев Д.И. Собр. соч. М., 1955. Т. 2. С. 12.

⁵ Daniels R. Studing History. How and Why? Englewood Cliffs. 1966. P. 105.

⁶ Field D. Reforms of the 1860-s // Windows on the Russian Past. Essays on Soviet Historiography since Stalin. Columbus, 1977. P. 92.

неустрашимостью приводит также к попыткам обосновать мысль о грядущем крахе или, по крайней мере, перерождении его антипода – социализма¹.

Такой подход особенно отчетливо проявляется в работах буржуазных русистов и советологов, посвященных истории нашей страны. Круг проблематики в сфере исследования русской истории определяется прежде всего антисоветской целевой заданностью. При этом наибольшим вниманием пользуются сюжеты, исследование которых диктуется непосредственными задачами политической практики. (Обстоятельство, лишний раз подчеркивающее смысл социальной функции исторической науки). К их числу относится история революционного движения. Все исследования в этой области неизменно направлены на достижение одной общей цели – скомпрометировать революционную борьбу как метод социальной деятельности, доказав ее вред и, следовательно, предпочтительность мирных реформистских преобразований. Заведомая невыполнимость этой задачи заставляет буржуазных ученых искать новые концептуальные схемы, чтобы придать своим исследованиям более убедительный характер. В этой связи симптоматичным является рост внимания буржуазных ученых к работам советских историков, обусловленный спросом на конструктивную информацию с целью создания своей собственной исторической теории, которую они пытаются сформулировать на основе междисциплинарных связей и прежде всего связи истории и социологии.

Влияние советской историографии, отчетливо прослеживаемое сейчас в трудах буржуазных ученых, проявляется главным образом в обращении к исследованию общественных отношений, динамике и борьбе социальных классов и групп. Однако, как свидетельствует конкретная историографическая практика, заимствуя из работ советских авторов отдельные выводы и наблюдения, буржуазные историки пытаются приспособить их для опровержения самого марксистского метода классового анализа истории русского революционного движения. Своего рода теоретическим обоснованием такого отношения является тезис известного буржуазного социолога Р. Дарендорфа. Призывая историков сомневаться даже в очевидных истинах, он утверждает, что «позиция, которая не пытается оспаривать другую, ей противостоящую, обнаруживает этим лишь свою собственную слабость»².

Продиктованные потребностью в более объективном освещении русской истории, отмеченные новации обусловлены в своей основе не только стремлением западных историков придать своим исследованиям более действенный характер в обострившейся идеологической борьбе, но также и состоянием самой буржуазной историографии, не способной дать адекватные ответы на возникающие в мире проблемы. «Никогда прежде, – утверждает в частности профессор Иельского университета Дж. Хакстер, – историки не писали так компетентно, серьезно и вдумчиво»³, и в то же время никогда занятие историей не было столь «пустым и бесплодным»³.

Новые концепции английских и американских историков, возникшие в последние годы как следствие идейно-теоретического перевооружения антисоветизма, вовсе не означают радикального пересмотра старых теорий периода «холодной войны». И это закономерно. Буржуазная историческая наука в силу своей природы оказывается не в состоянии преодолеть концептуальные рамки классово ограниченного подхода к исследуемым проблемам.

Рассмотренный материал убеждает, что те новые сдвиги, которые наблюдаются в последнее время в буржуазной исторической науке, есть лишь тщетное выраже-

¹ Подробнее см.: *Кризис антисоветизма*. С. 8; *На фронтах идеологических битв* // Проблемы идеологической борьбы на современном этапе. М., 1979. С. 170.

² *Darendorf R. The Intellectual and Society: (The Social Function of the «Fool» in the Twentieth Century)* // *On Intellectuals. Theoretical Studies, Case Studies*. N. Y., 1970. P. 55.

³ *Hexter J. Some American Observations* // «The New History» Trends in Historical Research and Writings since World War II. N. Y. and Ewanstone, 1967. P. 5.

ние стремления сбалансировать историографию как целостную систему, чтобы обеспечить недостающую ей стабильность и увеличить эффективность ее идеологической роли.

Исследование буржуазными учеными истории русского революционного демократизма подтверждает кризис теоретико-методологических основ современной буржуазной историографии, что, в частности, нашло свое выражение в их неспособности осмыслить на концептуальном уровне новые факты, положения и отдельные выводы, полученные ими в процессе изучения поставленных проблем. Это привело к тому, что, несмотря на возросшую активность буржуазных исследователей, разрыв между фактологической базой и ее теоретическим обобщением не только остается непреодоленным, но еще более возрастает. Политическая ангажированность буржуазной историографии неизменно порождает ситуацию, когда все ее претензии на беспристрастность и объективность, какими бы широковещательными они ни были, заканчиваются там, где дело касается коренных интересов породившего ее общества. Отсюда следует, что общие суждения о состоянии буржуазной историографии на том или ином этапе ее развития должны в первую очередь учитывать ее подход к наиболее «горячим» для общества проблемам.

И, наконец, анализ работ рассматриваемых здесь историков, которые, надо отдать им должное, сумели актуализировать свои сюжеты, лишний раз подтверждает научное значение классового анализа, отрицание которого неизменно мстит за себя.

**ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА
НА РУССКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ МЫСЛЬ
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ
БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ***

Развитие мирового революционного процесса и обострение идеологической борьбы активизируют поиски западными историками-русистами новых концепций и схем, претендующих на более адекватное освещение прошлого нашей страны, чтобы эффективнее решать задачи в области современной политики. Особенно наглядно это проявляется в исследовании передовой русской общественной мысли. Интерес к ней обусловлен стремлением не только осмыслить со своих классовых позиций Октябрьскую революцию и последующий путь социалистического строительства¹, но и предугадать перспективы развития отношений между противоположными социальными системами.

Поиски нового проявляются прежде всего в отказе от традиционных, ставших одиозными характеристик и заключений и в обращении к более гибким «сбалансированным» концепциям, а также в заимствовании отдельных выводов советских исследователей. Хотя, как мы увидим, это отнюдь не означает пересмотра главных теоретико-методологических принципов, свойственных буржуазной исторической науке в целом².

Отмеченные новации особенно наглядно проявляются в современной американской и английской буржуазной историографии³. В кругу проблем, привлекающих внимание английских и американских русистов, как и прежде, особенно устойчивый интерес вызывает история передовой общественно-политической мысли России XIX в.

Отправным моментом их исследования является тезис о том, что в социальной мысли кроется главный механизм, обеспечивающий преемственность исторического развития страны, и поэтому в ней наиболее полно выразилась специфика рус-

* Ранее опубликовано: Сухотина Л.Г. Проблема влияния запада на русскую общественную мысль в современной английской и американской буржуазной историографии // Методологические и историографические вопросы исторической науки: Сб. статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1982. Вып. 16. С. 17–28.

¹ Наиболее обстоятельно это показано в работах: Марушкин Б.И. История и политика. Американская буржуазная историография советского общества. М., 1969; Романовский Н.В. Современная буржуазная историография Великой Октябрьской социалистической революции // Вопросы истории. 1977. № 10; Игрицкий Ю.И. Мифы буржуазной историографии и реальность истории. Современная американская и английская историография Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1974; Соболев Г.Л. Октябрьская революция в американской историографии. 1917–1970-е годы. Л., 1979; Марушкин Б.И., Иоффе Г.З., Романовский Н.В. Три революции в России и буржуазная историография. М., 1977.

² На наш взгляд, именно в сохранении главных мировоззренческих и методологических позиций, а отнюдь не в «монотонности» и «одноцветности», как считает М.А. Маслин, проявляется консерватизм современной буржуазной историографии русской общественной мысли. (См.: Маслин М.А. Просчеты и предубеждения американского чернышевсковедения // Философия Н.Г. Чернышевского и современность. (К 150-летию со дня рождения). М., 1978. С. 168.

³ По мнению исследователя из ГДР Р. Эспенхайна, «решающие методологические и идеологические импульсы», определяющие на современном этапе состояние всей буржуазной исторической науки, исходят от американской чернышевсковедения // *Espenhayn R. Socialismuskritik in der Defensive* // Die Wirtschaft. 1978. S. 35.

ской истории¹. Отсюда, по их логике следует, что те, кто хочет понять нашу страну сегодня и предугадать ее будущее, должны обратиться к исследованию ее «исторических корней» в политической мысли прошлого.

Одной из составных частей этой большой и сложной проблемы является вопрос о влиянии социально-политических теорий Запада на русскую общественную мысль. Этот вопрос имеет давнюю и прочную традицию в современной буржуазной историографии. Представляется важным поэтому проследить новые тенденции в подходе к нему, наметившиеся в последние годы в связи с попытками буржуазных историков преодолеть кризисное состояние своей науки.

Следует отметить, что советские авторы ограничиваются, как правило, лишь беглой констатацией факта широкого признания буржуазными исследователями вывода о прямой зависимости и производном характере передовой русской мысли от общественно-политических теорий Запада².

Между тем по целому ряду причин, в числе которых отметим как одну из главных стремление буржуазных авторов обосновать неизбежность складывания в будущем некоей глобальной наднациональной доктрины³, вопрос о взаимоотношении общественной мысли России и Европы становится сейчас остро актуальным и вызывает все возрастающий интерес западных исследователей.

Следует подчеркнуть вместе с тем, что наметившиеся сдвиги в решении буржуазными историками проблемы идейных влияний Запада отнюдь не означают, что старые традиционные трактовки полностью утратили свою роль и значение.

Методологической основой в анализе буржуазными авторами русских социально-политических теорий является абсолютизация общественной мысли, ее отрыв от остальных сторон жизни общества. Отсюда проистекает вывод о том, что социальная мысль развивается в силу своих собственных законов, не зависящих от социально-экономического развития, и находит в самой себе необходимые источники движения.

В результате анализ общественной мысли лишается конкретно-исторического подхода. Она наделяется рядом неизменных, якобы изначально присущих свойств, определяющих ее социальное содержание и эволюцию.

В числе таких константных характеристик русской общественной мысли едва ли не первостепенная роль отводится ее беспрецедентной способности к некритическому восприятию философских и политических теорий Запада. Русская интеллигенция, пишет в частности американский исследователь Р. Даниельс, всегда самоотверженно следовала «каждой новой радикальной или утопической доктрине», появлявшейся в Европе⁴. Другой американский исследователь, К. Тидмарш, утверждает вслед за веховцем М. Гершензоном, что в русской социально-политической мысли не было и подобия самостоятельного национального развития, и поэтому в ее истории следует выделять не этапы внутренней эволюции, а периоды преобладания той или иной иностранной доктрины⁵. По мнению известного специалиста в области исследования общественной мысли России Ф. Помпера, в истории русского революционного движения отыщется немного эпизодов, которые «прямо или

¹ *Utechin S. Russian political thought. A concise History. London, 1963. P. XII.*

² В качестве исключения назовем книгу М.Д. Карпачева, в которой предпринята попытка связать трактовку английскими и американскими авторами проблемы идейных влияний Запада с решением ими вопроса об истоках и своеобразии идеологии русского революционного народничества. (См.: *Карпачев М.Д. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. М., 1979*).

³ См. подробнее: *Смолянский В. От «конвергенции» к «планетарному сознанию» // Коммунист. 1978. № 8.*

⁴ *A documentary History of communism from Lenin to Mao / Ed. with an Introduction by R.V. Daniels. N. Y., 1960. P. XXVII.*

⁵ *Tidmarsh K. Lev Tikhomirov and a Crisis in Russian Radicalism // The Russian Review. 1961. Vol. 20, № 1. P. 45.*

косвенно не были бы связаны с заграничными событиями¹. Помпер утверждает, например, что П.И. Пестель, создавая «Русскую Правду», исходил не из опыта русской истории (он-де лишь использовал русскую терминологию), а из опыта Французской революции и Североамериканской республики². Хотя, замечает далее исследователь в соответствии со своей трактовкой истории русского революционного движения как истории усиления западного влияния, П.И. Пестель еще не утратил окончательно связи с общественными задачами и потребностями своей страны, как это произошло позже с представителями последующих поколений революционеров³.

Тезис о прямой зависимости общественной мысли России от социально-политических теорий Запада имеет своей гносеологической основой традиционное в буржуазной историографии ненаучное представление об извечной отсталости России, побуждавшей ее с самого начала к заимствованию «образцов Запада». Процесс социально-экономического развития страны предстает под этим углом зрения как процесс ее «вестернизации», охватившей все сферы национальной жизни⁴. Он-то и обусловливает, как утверждает американский историк М. Раев, внешне парадоксальный факт (учитывая выраженное национальное своеобразие страны) влияния общественной мысли Запада на русскую интеллектуальную элиту⁵.

Развивая это положение, известный американский советолог Р. Пайпс предложил любопытную схему, объясняющую, по его мнению, необычайную восприимчивость русской социальной мысли к инациональным влияниям. Пайпс выделяет в содержании понятия «вестернизация» два аспекта: широкий – «культурная вестернизация», означающий принятие Россией европейского образа жизни в целом, и узкий – «философская вестернизация» – заимствование западных теорий и идейных течений⁶. «Культурная вестернизация», в его трактовке, привела к формированию в стране значительного слоя секуляризованного, либерально мыслящего дворянства, заметно возросшего численно во второй половине XVIII в. (после отмены обязательной службы дворян в 1762 г.) и превратившегося в праздный класс, способный к широкому восприятию разного рода европейских идейных влияний⁷.

Таким образом, по мнению Р. Пайпса, особая восприимчивость русской интеллигенции к идейным влияниям Запада была прямым следствием и в то же время необходимой составной частью процесса «вестернизации» России. Американский исследователь Т. фон Лауэ, как бы подводя итог подобным теоретическим построениям, утверждает, что вообще все основные устремления русского государства и общества могут быть осмыслены «только в европейском контексте» как «это западных тенденций»⁸.

Другим основанием для заключения английских и американских исследователей об особой приверженности русской общественной мысли к заимствованию инациональных влияний является неверное истолкование ими специфики русского исторического процесса. Определяющая роль в нем отводится государству как некоей самостоятельной силе, противостоящей всему гражданскому обществу в целом и являющей собою движущее начало в историческом развитии страны. В

¹ Pomper Ph. The Russian revolutionary Intelligentsia. N. Y., 1970. P. 11.

² Ibid. P. 23.

³ Ibid.

⁴ Концепция «вестернизации» России получила неоспоримое признание в современной буржуазной историографии Запада. Возникшая позже теория «модернизации», трактуемая как универсальное обновление экономических, социальных и политических структур, является лишь ее осовремененным вариантом. (См. подробнее: Крупина Т.Д. Теория модернизации и некоторые проблемы развития России конца XIX – начала XX в. // История СССР. 1971. № 1).

⁵ Raeff M. Origins of the Russian Intelligentsia. N. Y., 1966. P. 150.

⁶ Pipes R. The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia // Daedalus. 1960. Summer. P. 487.

⁷ Ibid. P. 488.

⁸ Laue Th. von The State and Economy // Russian Economic Development from Peter The Great to Stalin. N.Y., 1974. P. 200.

итоге классовые конфликты подменяются борьбой двух главных антагонистических традиций – государственной и революционной. При этом революционная традиция изображается как унаследовавшая присущие своему антиподу авторитарные методы действий, которые проявлялись якобы в сектантской изолированности революционной интеллигенции от масс и игнорировании ею роли демократических учреждений в сфере социально-политической деятельности¹.

Трактуя русскую революционную интеллигенцию оторванной от общества и государства социальной группой, а ее теоретическую мысль замкнутой на себя, буржуазные авторы приходят к выводу о якобы неизбежной потребности революционной идеологии во внешних стимулах для активизации своего развития. Таким стимулом, по их мнению, и являлся идейно-теоретический опыт Запада. Отсюда необычайная подверженность русской общественной мысли западным влияниям². Как утверждает в частности Л. Хаймсон, на протяжении всего XIX в. русская интеллигенция занималась поисками «философской панацеи», переходя от одного «интеллектуального бога» к другому, поскольку ритмы ее исканий были более быстрыми, чем темпы эволюции европейской мысли³.

Согласно утверждению рассматриваемых авторов, интеллектуальная история России в целом являла собою ряд сменявших друг друга заимствованных культур, ибо вследствие имманентно присущего русской интеллигенции «побуждения к идеальному» и неспособности создать собственные теоретические ценности, тяготение к духовному миру Запада становится одной из важнейших национальных особенностей страны⁴. При этом, как считают некоторые авторы, русские революционные мыслители почти без разбора хватались за всякую новую западную теорию, будучи далеко не всегда способными разобраться в ее содержании⁵.

Рассмотренная западнцентристская схема решения вопроса об инациональных влияниях ненаучна в своей основе. Она исходит не только из отрицания возможности самостоятельного экономического и культурного роста России (как и любой другой «азиатской» страны) без заимствования европейских форм жизни, но и из игнорирования материальной основы зарождения и развития духовной культуры общества в целом.

Ошибочные методологические посылки приводят исследователей к противоречивым выводам и ставят перед ними ряд проблем, требующих своего решения. Одной из них является проблема результатов идейных влияний Запада. Возникает вопрос: если влияния были следствием и составной частью естественного процесса «вестернизации» отсталой страны, то как объяснить тот «достаточно парадоксальный» факт, что заимствованные теории привели здесь к иным, чем на Западе, последствиям?⁶. Почему эти теории не только не способствовали интеграции прогрессивной интеллигенции в социальную структуру страны, но, напротив, усилили, как полагают английские и американские авторы, ее отчуждение от общества и государства, окончательно противопоставив их друг другу.

¹ По мнению Э. Крэншоу, автократическая система власти настолько развратила общество, что стала ему просто необходимой. (*Cranchow E. The Shadow of the Winter Palace. The Drift to Revolution 1825–1917. London, 1976. P. 35*). См. также: *Roos H. Verhältnis von Autokratie und Anarchie als universalhistorisches Problem // Probleme der Geschichtswissenschaft. Düsseldorf, 1973. S. 82*.

² К. Тидмарш утверждает, что «политический экстремизм» и «импортированная идеология» были главными чертами, отличавшими русскую радикальную интеллигенцию. (*Tidmarsh K. Op. cit. P. 45*).

³ *Haimson L. The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism. Cambridge, 1955. P. 8*.

⁴ *Pomper Ph. Op. cit. P. 8*.

⁵ К числу некритически заимствованных, а потому якобы не понятых и даже искаженных теорий некоторые авторы относят марксизм, пытаясь тем самым подтвердить свой тезис о его беспочвенности в России. (См., напр.: *A documentary History of communism from Lenin to Mao. P. XXVII; Wolf B. Backwardness and Industrialization in Russian History and Thought // Slavic review. 1967. Vol. XXVI, № 2. P. 185; Szamuely T. The Russian Tradition. London, 1973. P. 179*).

⁶ *Baron S. Plekhanov. The Father of Russian Marxism. Stanford, 1963. P. 3*.

Попытки ответить на этот вопрос многочисленны и разнообразны. Однако все они не выходят за пределы буржуазной методологии. Абсолютизируя общественную мысль, отрывая ее от социально-экономического развития страны, буржуазные историки оказываются неспособными объяснить возникающие противоречия. В конечном счете они приходят к обоснованию традиционного в буржуазной историографии тезиса о теоретической несостоятельности русской «интеллектуальной элиты» и соответственно неспособности ее к творческому усвоению заимствованных теорий.

Так, известный американский советолог, признанный на Западе специалист в области истории русской общественной мысли, Б. Вольф считает возможным говорить о принципиально отличном способе усвоения русской интеллигенцией проникающих в ее среду европейских теорий. Характер заимствования определяется, по его мнению, спецификой самого объекта влияния, а не его источником. Поскольку же русская радикальная интеллигенция была отчужденной от своего общества и государства группой, то заимствованные ею идеи воспринимались обедненными, упрощенными в своем содержании. Вырванные из контекста породившей их интеллектуальной и духовной атмосферы, они не могли реализоваться во всей полноте, а усваивались лишь в качестве средства решения неверно понятых интеллигенцией национальных задач¹.

В итоге, считает Б. Вольф, заимствованные теоретические идеалы оказывались искаженными. Не соотносясь с потребностями развития «вестернизирующейся» страны, они еще более усиливали социальную отчужденность интеллигенции². М. Малиа подтверждает этот вывод, ссылаясь на то, что русские мыслители не создавали, а просто перенимали западные идеи, которые поэтому так и не стали для них родными³.

В связи с возникшими противоречиями некоторые авторы пытаются дать более развернутое обоснование тезиса о подверженности русских мыслителей влиянию западных теорий. Американский ученый С. Утехин старается в частности подкрепить его утверждением о сходстве обычного права России и стран Западной Европы, а также общности истоков их законодательства, которые он усматривает в римском праве. Эти обстоятельства, считает он, обусловили поразительную похожесть политического мышления России и Запада, объясняющую, в свою очередь, то, почему общественная мысль отсталой в экономическом и культурном отношении России так тяготела к философским и социальным теориям Запада⁴.

Подобное истолкование связей и взаимодействия различных национальных культур не может привести к удовлетворительному решению проблемы идейных влияний Запада и устранить все возникающие противоречия. В его основе лежит последовательное игнорирование социально-экономических основ исторического процесса вообще и русской истории в особенности, оказывающих определяющее воздействие на генезис и развитие социальной мысли и в конечном счете обуславливавших созвучие общественных задач – основу взаимодействия разнорациональных идей и теорий.

Рост темпов революционных преобразований, а также постоянное расширение интернациональных связей еще острее ставят перед буржуазными историками проблему инонациональных идейных влияний. Они оказываются вынужденными искать ответ не только на вопрос, почему в России заимствованные теории якобы усиливали социальную изоляцию радикальной интеллигенции, но и на вопрос, почему эти теории привели здесь к иным, чем на Западе, последствиям, обусловив победу революционных социалистических преобразований.

¹ *Wolf B.* Op. cit. P. 184–185.

² *Ibid.*

³ *Malia M.* Shiller and the Early Russian Left // *Russian Thought and Politics*. Cambridge, 1957. P. 200.

⁴ *Utechin S.* Op. cit. P. XIII.

Эти вопросы ставят под сомнение обоснованность прежних концепций и схем, вызывая у буржуазных авторов настоятельную потребность в их переосмыслении.

Нарастающая неудовлетворенность «привычным» истолкованием революционных событий как следствия влияния революционной идеологии Запада находит свое выражение даже в работах, авторы которых стоят на откровенно реакционных позициях. В частности, Г. Роггер в своих попытках представить Октябрьскую революцию в качестве уникального явления¹ с целью умалить ее международную роль и значение вместе с тем обращает внимание на недостаточную обоснованность ее трактовки как результата западного влияния. Он полагает, что историю революции невозможно понять, исходя лишь из признания факта влияния прогрессивной общественной мысли Запада, ибо характер революции не может быть осмыслен «только через изучение интеллектуальной истории»².

Позиция Г. Роггера весьма симптоматична. Она свидетельствует о нарастающем несогласии с традиционной трактовкой проблемы западного влияния даже в ее «сбалансированной» форме.

Было бы неверно, однако, связывать наметившиеся изменения в интерпретации проблемы идейного влияния Запада только с задачами современной политической практики. В значительной степени это объясняется и тем, что история духовного развития России изучена в настоящее время буржуазными авторами гораздо полнее, чем полтора-два десятилетия тому назад. Доказательством этому служит появление целого ряда достаточно глубоких монографических исследований, авторы которых обнаруживают несравненно более обстоятельное знакомство с реальными историческими фактами (чему немало способствовало лучшее знание ими работ советских исследователей). Факты же убедительно свидетельствуют о том, что влияние Запада на передовую русскую мысль несомненно, но при этом оно шире и вместе с тем не столь глубоко, как трактуют его современные буржуазные авторы. Шире в смысле его неоднозначности. Это сложный и многогранный процесс, предполагающий не простое усвоение идей и теорий Запада, но их творческое переосмысление на основе опыта революционной практики как самой России, так и европейских стран.

Революционное движение России и революционное движение Европы всегда были тесно связаны. В частности, декабристы не только интересовались социально-политическими теориями Запада с целью выработки своих программ, но вплоть до восстания 14 декабря 1825 г. обращались и к опыту европейских революций, чтобы наметить тактику революционных действий применительно к условиям своей страны³.

Хорошо известно также, какую важную роль сыграли, например, теория и практика европейского революционного движения в эволюции идейно-теоретических воззрений А.И. Герцена. Известно, однако, и то, что это оказалось возможным лишь вследствие его настойчивого стремления осмыслить революционные события во Франции, чтобы понять своеобразие своих национальных проблем и найти приемлемые пути их решения. Теория «русского социализма», сформулированная под влиянием революции 1848 г. во Франции, основывалась на той почве русской действительности, какую ее видел и осмысливал сам А.И. Герцен, и поэтому идейная эволюция революционера в конечном счете была органически связана с эволюцией самой России, с ее главными большими проблемами. А.И. Герцен

¹ По его мнению, «русская революция» была сугубо «локальной, провинциальной и специфической». (*Rogger H. October 1917 and the Tradition of Revolution // The Russian Review. 1968. Vol. XXVII. № 4. P. 400, 408.*)

² *Ibid.* P. 399.

³ См. подробнее: *Орлик О.В. Западноевропейские революции 20-х годов XIX в. и декабристы // Вопросы истории. 1975. № 11.*

имел полное право сказать: «Сколько ни декламировали о нашей подражательности, она вся сводится на готовность принять и усвоить формы, вовсе не теряя своего характера, — усвоить их потому, что в них шире, лучше, удобнее может развиваться все то, что бродит в уме и в душе, что толчется там и требует выхода, обнаружения»¹.

Факты истории свидетельствуют о том, что связь между революционным движением России и Европы не была односторонней. Русская передовая общественная мысль не только не являлась производной, но и внесла свой немалый вклад в развитие мировой революционной идеологии. При этом по мере совершенствования русской революционной теории отчетливее обнаруживается ее влияние на революционное движение в западных странах.

Советскими исследователями давно и убедительно доказана глубокая самостоятельность русской социально-политической мысли, которая коренилась в реальных условиях самой страны и определялась задачами ее социально-экономического развития. В.И. Ленин писал: «Марксизм как единственно правильную революционную теорию Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»². Именно на реальной почве русской действительности и в тесном взаимодействии с Западом Россия создала оригинальные социальные теории, которые не были простым слепком западных идей. Отношения России и Запада вовсе не сводились к отношению ученика и учителя. Россия выступала в качестве равноправного партнера в интеллектуальной истории Запада, а ее общественная мысль была неотъемлемой составной частью мировой мысли в целом. В настоящее время это признают и многие буржуазные авторы³.

Более основательное ознакомление с историей России понуждает английских и американских исследователей искать новые концептуальные схемы, способные более адекватно, с учетом нового исторического материала, объяснить взаимодействие общественной мысли России и Запада. Существенное значение при этом имеет то обстоятельство, что в последние годы (особенно с начала 70-х гг.) заметно меняются представления буржуазных авторов о русской революционной интеллигенции, ее определяющих характеристиках и свойствах. Нарастающие темпы мирового революционного процесса все настойчивее опровергают привычные для буржуазных исследователей представления об ее национальной исключительности. В связи с этим подвергаются пересмотру традиционные определения интеллигенции как уникальной социальной группы, представлявшей изолированную секту, не связанную с реальными потребностями народа и поэтому лишенную необходимых творческих потенций и импульсов. Все настойчивее обозначается тенденция квалифицировать революционную интеллигенцию в качестве исторического феномена, закономерно возникающего не только в отсталых, подобно дореволюционной России, странах, но и во всех странах вообще в качестве нового элемента социальной структуры, чье появление в настоящее время вызвано необычайным динамизмом социальной жизни в условиях научно-технической революции⁴. В такой трак-

¹ Герцен А.И. Письма из Франции и Италии // Собрание сочинений: В 30 т. М., 1955. Т. 5. С. 24.

² Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 8.

³ Итальянский историк Ф. Дамиани отмечает, например, что активное участие М.А. Бакунина в революционном движении Италии и его тесные связи с радикальными слоями имели «огромное значение» в развитии и распространении здесь утопического социализма и росте революционно-демократического движения в целом. (См.: *Damiani F. Bacunin nell' Italia Postunitaria. 1864–1867. Anticlericalismo, democrazia, questione operaia e contadina negli anni del Soggiorno italiano di Bacunin. Milano, 1977*).

⁴ Эта точка зрения отчетливо прозвучала в дискуссии по проблемам современной интеллигенции на VII Всемирном социологическом конгрессе. (См.: *The Intelligentsia and the Intellectuals: Theory, Method and the Case Study* / Ed. by A. Gella. Beverly Hills, California, 1976; См. также: *Lipset S. and Dobson R. The Intellectuals, as Critic and Rebel. With special reference to the United States and the Soviet Union* // *Daedalus*. 1972. Summer. P. 149).

товке революционная интеллигенция утрачивает свою чисто русскую уникальность. Аналогичными характеристиками наделяются подобные социальные группы, возникающие при определенных условиях (когда правительства оказываются неспособными решать возникающие проблемы нации) и в других странах.

В этой связи заметной корректировке подвергается также проблема идейных влияний Запада. Она ставится в иную плоскость, а именно как проблема взаимовлияния и взаимообогащения, что позволяет решать ее не столь грубо, однолинейно, как прежде¹.

В новейшей английской и американской историографии все прочнее утверждается понимание того, что интеллектуальную историю страны невозможно осмыслить вообще, поместив ее только в национальные рамки. Выражением этих сдвигов является признание европейского характера и общечеловеческой значимости русской социальной мысли. Выдающиеся революционные деятели России (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин) рисуются в ряде работ богато одаренными людьми, глубокими оригинальными мыслителями, обладавшими высоким творческим потенциалом и внесшими большой вклад в мировую науку и культуру². Их интерес к общественно-политическим теориям Запада трактуется не как результат простой тяги ко всяким новым теориям, но как проявление стремления к глубокому самостоятельному осмыслению своих национальных проблем. Нельзя не заметить, что такой подход в большей мере согласуется с попытками буржуазных авторов свести русскую историю XIX в. к процессу «модернизации», которая все более трактуется не как простое пересаживание европейских институтов на почву России, но как их приспособление к ее традиционным формам жизни³. Так, по мнению Р. Мак-Нелли, которому принадлежит интересное исследование о П.Я. Чаадаеве (одно из наиболее глубоких в английской и американской буржуазной историографии в целом по истории русской общественной мысли), социально-политические теории западных мыслителей служили П.Я. Чаадаеву, как и его друзьям-славянофилам, лишь точкой отправления для решения своих национальных проблем⁴. Поэтому, считает Мак-Нелли, Чаадаев был наиболее критичен к взглядам тех западных мыслителей (Кант, Фихте, Шеллинг), труды которых особенно интересовали его⁵.

Талантливым оригинальным мыслителям, обладавшим тонким историческим чутьем и глубоким пониманием социальных процессов, показан в ряде работ А.И. Герцен. В частности, в книге английской исследовательницы М. Партридж он предстает как признанный авторитет в кругах прогрессивной европейской общественности⁶. При этом решительно отвергается давно и прочно укоренившаяся в буржуазной историографии традиция изображать А.И. Герцена либералом. М. Партридж характеризует его убежденным революционером, понимавшим особенности конкретно-исторической ситуации в России и внесшим существенный

¹ Следует отметить, что это определяется и в явственно обозначившемся в буржуазной историографии отходе от «евразийской» теории в оценке места России в мировой истории. (Подробнее см. раздел «Новые трактовки истоков и национального своеобразия...» в опубликованном в данном сборнике авторском монографическом исследовании «Проблемы русской революционной демократии в современной американской и английской историографии».)

² См., например: *McNally R. Chaadaev and his Friends. An Intellectual History of Peter Chaadaev and his Russian Contemporaries.* Tallahassee, Florida, 1977; *Masters A. Bakunin the Father of Anarchism.* London, 1974; *Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. The Quest for a General Science of Society. 1861–1917.* Chicago, London, 1976; *Riasanovsky N. A Parting of the Ways. Government and the Educated Public in Russia. 1801–1855.* Oxford, 1976; *Pereira N. The Thought and Teaching of N.G. Chernyshevsky.* The Hague-Paris, 1975.

³ Подробнее см.: *Зырянов П.Н., Шелохаев В.В.* Первая русская революция в американской и английской буржуазной историографии. М., 1976. С. 11, 12.

⁴ *McNally R. Chaadaev and his Friends...* P. 180–182.

⁵ *Ibid.* P. 195.

⁶ *Partridge M. Alexandr Herzen. His Last Phase // Essays in honour of E.H. Carr* Washington, 1974.

бенности конкретно-исторической ситуации в России и внесшим существенный вклад в развитие мировой социалистической теории¹.

Как мыслителя, наделенного пронизательным и критическим умом, оценивает А.И. Герцена также другой английский исследователь – Т. Самуэли. Разделяя иронию М. Малиа по поводу якобы непонятного интереса Герцена и остальных русских эмигрантов 40-х гг. XIX в. к Западу в ситуации, когда перед ними стояло множество собственных нерешенных проблем, Т. Самуэли признает, что именно глубокое наблюдение социально-политической жизни Европы и, в частности, событий 1848 г. привели А.И. Герцена к коренному пересмотру своих ранних воззрений. В результате социализм Герцена явился синтезом европейских политических концепций и славянофильских теорий².

Однако эти заметные позитивные сдвиги, проявившиеся в признании самостоятельной роли и значения русской социальной мысли, вовсе не означают радикального пересмотра английскими и американскими исследователями традиционных концепций, обусловленных методологической ограниченностью буржуазной исторической мысли в целом.

Убедительным подтверждением этого является недавно вышедшая работа английского исследователя Э. Актона о Герцене³. В ней отчетливо проявились как новые тенденции в интерпретации проблемы западного влияния, так и старые укоренившиеся схемы.

Э. Актон анализирует деятельность А.И. Герцена в самый напряженный период его жизни за границей (1847–1863 гг.). Убежденный революционер и социалист, А.И. Герцен предстает в работе большим гуманистом и творчески одаренной оригинальной личностью, чья духовная биография необычайно драматична и интересна. Страстные этические поиски русского революционера, глубокая вовлеченность в решение «проклятых вопросов» своего времени, а также его конфронтация с социальной действительностью и общественной мыслью стран Запада позволили Актону поместить Герцена в первую шеренгу мыслителей с мировыми именами.

Э. Актон в целом правильно ставит проблему места и роли А.И. Герцена в мировом революционном движении. Так, он отвергает несостоятельные попытки ряда авторов (в частности, М. Малиа) трактовать взгляды А.И. Герцена с позиций националистического мессианства⁴. Решительно возражает Актон тем исследователям, которые стремятся представить идейно-теоретические воззрения А.И. Герцена лишь как «простое отражение западной мысли»⁵. Он считает, что только «условия русской жизни» могут пролить свет на «источник» и «природу» социально-политических взглядов революционера⁶. Однако общая идейно-методологическая ограниченность концепции Актона не позволила ему верно решить все поставленные в работе вопросы. Отрицая роль идейных влияний Запада в качестве главного источника, обеспечивавшего динамизм и поступательное развитие русской социальной мысли, он оказался не в состоянии обнаружить действительные факторы, обусловившие это развитие. Предпринятые им попытки обратиться к анализу конкретно-исторической ситуации в России оказываются совершенно неудовлетворительными. Не связывая взгляды А.И. Герцена с общественными позициями и требованиями определенных классов русского общества, Актон утверждает, что социальные мечты революционера «парили» над такими «земными» вопросами, как

¹ Partridge M. Alexandr Herzen. His Last Phase // Essays in honour of E.H. Carr Washington, 1974. P. 36, 40.

² Szamuely Th. The Russian Tradition. London, 1974. P. 201.

³ Acton E. Alexandr Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary. Cambridge; London; New York; Melbourne, 1979.

⁴ Acton E. Op. cit. P. 28, 84

⁵ «Русская интеллигенция в целом, – пишет он, – заимствовала у западных мыслителей лишь те положения, которые помогали ей решить свои собственные проблемы» (Ibid. P. 9).

⁶ Ibid. P. 11.

отмена крепостного права. Неприятие же Герценом государственной власти объясняется лишь тем, что в глазах русского государства он был «незаконнорожденным»¹. В результате влияние самой «атмосферы русской жизни» проявлялось, по мнению Актона, в том, что в России единственной «ощутимой сферой» перемен были идеи. Поэтому здесь, а не в области социально-экономических институтов, русские революционные деятели искали решения волновавших их проблем².

Соответственно Э. Актон оказывается также не в состоянии правильно решить вопрос об отношении А.И. Герцена к европейской общественной мысли. Оно интерпретируется как следствие сугубо личностного, лишенного классовой ориентации и обусловленного лишь психологическим состоянием мыслителя, восприятия идейно-теоретического наследия Запада. По мнению Актона, критика А.И. Герценом общественно-политических теорий и культуры Запада (как и социальных процессов и явлений в целом) была не более чем «защитной» реакцией «вестернизованного представителя отсталой страны» при встрече с «культурным» Западом³.

Аналогично рассматривается вопрос о взаимоотношении общественной мысли России и Европы одним из наиболее наблюдательных и объективных исследователей русской истории американским ученым Н. Рязановским. Анализируя в своей недавно вышедшей книге «Разделение путей»⁴ развитие передовой русской мысли XVIII–XIX вв., он приходит к выводу, что Россия всегда была внутренне близкой западноевропейским странам и что ее духовное развитие составляло неотъемлемую часть интеллектуальной истории Запада. Однако это верное положение не избавляет автора от ошибочной трактовки проблемы западного влияния. Обращаясь к факторам, обуславливавшим движение русской общественной мысли, Рязановский находит их в самой логике ее развития⁵. Внутренним проблемам России (в том числе крепостному праву и кризису феодально-крепостнических отношений) он, как и Э. Актон, отводит весьма незначительную роль, считая их второстепенными наряду с другими причинами (реакционными мерами правительства, неудачами внешней политики и общественным мнением Европы)⁶.

Лишая общественную мысль социально-экономической почвы, Н. Рязановский логически приходит к тому, от чего пытался отмежеваться, – преувеличению роли западного влияния и выводу о производном характере передовой социально-политической мысли России. По его мнению, Запад всегда представлял «мощный вызов» образованному русскому обществу, развивал в нем стремление к самоусовершенствованию. Это вело, с одной стороны, к заимствованию универсальных европейских принципов просвещения, с другой – к созданию национальной доктрины, основанной на преемственности собственных интеллектуальных посылок⁷.

Абсолютизация общественной мысли приводит Н. Рязановского в конечном счете к традиционному в буржуазной историографии выводу об отчуждении русской революционной интеллигенции от задач и потребностей развития своей стра-

¹ Э. Актон полагает, что историко-философские и социально-политические воззрения А.И. Герцена были вообще лишены каких-либо объективных коррелятов и определялись лишь его чисто личностным, основанным на эмоциональной фантазии («огромном кипучем Я») восприятием реальности (*Acton E. Op. cit.* P. 3, 6).

² *Ibid.* P. 13, 15.

³ Резко отрицательные характеристики Герцена европейской буржуазии, содержащиеся в его знаменитых «Письмах из Франции и Италии», Актон оценивает всего лишь как следствие «аристократического восприятия» «суетного и неудобного путешествия» среди толп простого народа (*Ibid.* P. 26, 27, 28).

⁴ *Riasanovsky N. A Parting of the Ways. Government and the Educated Public in Russia. 1801–1855.* Oxford, 1976.

⁵ «Люди не меняют своих убеждений, – пишет Рязановский, – они умирают. Интеллектуальная эволюция продолжается из поколения в поколение» (*Ibid.* P. 150).

⁶ *Ibid.* P. 262, 263.

⁷ Наиболее ярким примером такого рода синтеза национального и инационального Н. Рязановский считает славянофильство (*Ibid.* P. 202).

ны, утрате интеллигенцией реальных нравственных ориентиров, обернувшихся для нее социальной трагедией¹.

Не лишен интереса еще один вариант интерпретации проблемы идейных влияний Запада. Он связан с давно укрепившимся в буржуазной историографии выводом о якобы гипертрофированной вере русских радикальных мыслителей в силу идей. Как и прежде, эта вера представляется буквально граничащей с фанатизмом, мешающей понять относительность человеческого знания и приводящей к переоценке роли и значения социальных наук в историческом процессе². Американский исследователь Н. Перейра в своем рвении обосновать этот вывод пытается привлечь аргументы, выходящие за национальные рамки. Он утверждает, что необычайная вера русских радикальных мыслителей в преобразующую социальную роль науки была обусловлена отнюдь не иррациональностью существовавшего социального порядка в России, а своеобразием положения самой интеллигенции, отчужденной от общества и государства³. В этих условиях, считает он, ставший необычайно популярным в Европе в связи с быстрым развитием наук «социальный неотоцизм» приобрел в России особенно прочные позиции. Больше, чем в какой-либо другой стране, радикально мыслящие слои России уверовали в возможность использования науки как орудия в достижении «рационального строя»⁴. Конечным же результатом было то, что радикальная интеллигенция отсталой страны, какой была Россия, становилась «пленником иностранной идеологии» и, оставляя учение за порогом жизни, полностью утрачивала связи с самой жизнью⁵. Н. Рязановский утверждает при этом, что чем более Россия в целом развивалась интеллектуально, тем сильнее она оказывалась восприимчивой к инациональным влияниям⁶.

* * *

Мы видим, таким образом, что все рассмотренные варианты новых трактовок проблемы идейных влияний Запада на Россию представляют собой лишь несколько модернизированные в соответствии с требованиями времени старые традиционные схемы. Их смысл, как и прежде, сводится в итоге к признанию неспособности русской общественной мысли к самостоятельной творческой деятельности.

Современность властно вторгается в историографическую практику буржуазных исследователей, заставляя их искать более приемлемые концептуальные схемы при изучении конкретных проблем русской истории. При этом поиски более эффективных методов интерпретации активизируются по мере возрастания влияния марксистской исторической науки. Однако частичная модификация их идейно-теоретических посылок не меняет мировоззренческой основы, проявляющейся в отрицании объективных законов общественного развития, а поэтому не может привести буржуазных исследователей к научному решению рассматриваемой проблемы.

¹ Он полностью разделяет вывод другого американского исследователя Д. Броуэра о том, что если традиционные национальные ценности уже больше не удовлетворяли русских радикальных мыслителей, то виноваты в этом были они сами. (См.: *Brower D. Fathers, Sons and Grandsons: Social Origins of Radical Intellectuals in Nineteenth century Russia // Journal of Social History. 1969. Vol. 2, № 4. P. 353–354; Riasanovsky N. Op. cit. P. 264*).

² Во всех других странах, считает Р. Мак-Нелли, проблемой развития человечества была занята лишь академическая профессура, в России же, напротив, только интеллигенция «сжигала себя» в поисках ответов на эти «великие» вопросы исторической науки (*McNally R. Op. cit. P. 221*).

³ *Pereira N. The Thought and Teaching of N.G. Chernyshevsky. Mouton, 1975. P. 15, 16.*

⁴ *Ibid. P. 15.*

⁵ *Ibid. P. 16.*

⁶ *Riasanovsky N. Op. cit. P. 153.*

**РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Ф. ПОМПЕРА
«ЛЕНИН, ТРОЦКИЙ И СТАЛИН.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ»***

Автор рецензируемой монографии профессор Веслеанского университета (Мидлтаун, штат Коннектикут, США) Филипп Помпер широко известен исследованиями по истории России. Хорошее знание русского революционного прошлого и глубокое проникновение в суть новейших психоаналитических концепций (в психоисторическом жанре им была написана ранее книга о С.Г. Нечаеве¹) позволили Помперу создать интересное исследование о трех лидерах русской революции. Можно сказать, автору удалось, говоря словами влиятельного американского психоаналитика П. Ловенберга, «достроить мост», начатый З. Фрейдом, а именно: дать сбалансированную трактовку взаимодействий рационального, осознанного и подсознательного в анализе мотивации взглядов и деятельности Ленина, Троцкого и Сталина. Историк рассматривает их не с позиций классовой парадигмы, которая, как известно, стирает своеобразие и личностные значения исторических деятелей, но с точки зрения психологических характеристик, формирующихся наряду с ментальностью в процессе жизненных обстоятельств и переживаемых ими коллизий.

Исходной позицией автора является убежденность, что в конкретной ситуации люди ведут себя отнюдь не в соответствии с требованиями общественного производства, но в зависимости от своего культурного уровня и соотносящегося с ним видения мира, психологического склада и состояния, стиля мышления и подсознательных импульсов, существенно влияющих на их реакцию и поступки. Отсюда следует его конечный вывод – личность может играть значительную роль в истории не только тогда, когда она более или менее адекватно выражает (или стремится выразить) интересы масс, но и тогда, когда руководствуется сугубо абстрактными идеями и идеалами, а иногда и вовсе только своими личностными интересами и амбициями, которые рационально могут даже не осознаваться ею самой.

Рассматривая деятельность вождей революции, Помпер ставит перед собой и более широкую задачу – показать, как и почему русская интеллигенция, отличавшаяся особой склонностью к поискам истины и социальной справедливости, в процессе борьбы с царизмом и начавшихся после февраля 1917 г. внутренних междоусобных распрей превратилась в нечто «совершенно отличное» и даже «противоположное» самой себе. Как и почему гуманные идеи и идеалы, за которые боролась и умирала интеллигенция XIX в., так легко и в столь короткий срок оказались настолько «переработанными», что даже гибель десятков миллионов не смогла предотвратить установления жесточайшего, бесчеловечного режима (с. X). Наконец, за этими вопросами стоит и еще более широкая, ставшая особо актуальной проблема – интеллигенция и власть. Представляется, что именно желание изложить собственное видение этой проблемы побудило автора обратиться к рассмотрению взглядов и деятельности названных революционных лидеров, хотя они отнюдь не были

* Ранее опубликовано: Сухотина Л.Г. Ф. Помпер. Ленин, Троцкий и Сталин. Интеллигенция и власть // Отечественная история. 1994. № 3. С. 193–197.

¹ Pomper Ph. Sergei Nechaev. New Brunswick. N.Y., 1979.

обойдены вниманием западных исследователей, в том числе и широко известных, как Б. Вольф, И. Дойчер, Р. Такер, А. Улам и др.

Использование психоаналитического инструментария, умело сочетаемого с социологическими подходами, и прежде всего с теорией маргинальности, позволило автору дать целостное видение своих героев, показать, как и в какой мере присущие им психологические черты определяли содержание и стиль их политических действий.

Помпер не стремится поместить рассматриваемых деятелей в заранее сконструированную схему. Они рисуются людьми сложными, неоднозначными, нередко противоречивыми и постоянно меняющимися в зависимости от конкретной ситуации, но меняющимися в пределах сугубо личностных психологических координат, которые в конечном счете и определяли их поведение и историческую роль.

Большое место отведено В.И. Ленину. Историк детально прослеживает формирование его характерологических особенностей, стремясь к точной фокусировке тех критических моментов и обстоятельств, которые оказывали решающее воздействие на психику революционера. Согласно авторской концепции, личность Ленина формировалась под постоянным воздействием его собственных волевых усилий. Он «выстраивал свою идентичность» в непрестанном борении с самим собой, жизненными коллизиями, людьми.

Как считает Помпер, нравственный императив семьи Ульяновых, провозгласивший жертвенное отношение к другим в качестве высшей добродетели и долга, изначально закладывал в детях чувство внутренней раздвоенности, поскольку самопожертвование вовсе не соответствовало самой природе детского характера. Особенно отчетливо эта раздвоенность проявлялась в будущем вожде революции при утрате близких и дорогих ему людей. В такой ситуации начинал действовать защитный механизм «компенсационной» реакции, проявлявшийся, с одной стороны, в ревностном подражании умершим, а с другой – в решительном отрицании некоторых из свойственных им черт (с. 66). Обычно же, утверждает исследователь, Ленин старался вытеснить боль утраты усиленным трудом. Это помогало заглушить некое подсознательное чувство вины перед покойными и приносило спасительную убежденность в своем превосходстве, а соответственно, и праве действовать, согласуясь лишь с собственными решениями. Так, трагический финал старшего брата Александра, «в тени которого рос» и которому во всем стремился подражать Ленин, привел к полной переоценке способа его действий («не таким путем надо идти»).

Помпер считает, что реакция Ленина на эту и другие утраты (а их в семье Ульяновых было немало) ярко продемонстрировала в нем «замечательную» способность, ставшую позже принципиальной чертой стиля его политической деятельности – без колебаний отвергать «сентиментальную приверженность прошлому», если она мешает осуществлению цели. В подтверждение своему выводу историк ссылается на произошедший при первой же встрече с Плехановым конфликт, когда тот решительно отверг разработанный Лениным и Потресовым план издания «Искры», обвинив их при этом в оппортунизме. Когда же ценою компромисса была достигнута договоренность, этот «травматический эпизод» помог ему обрести новый уровень сознания. Понять, что сентиментальность ведет к зависимости и поражению, и что политическое сотрудничество возможно без чувства любви и дружбы (с. 65).

Так в преодолении жизненных трудностей и конфликтов у Ленина формировался «жесткий менталитет», обусловивший выраженную авторитарную направленность его теоретической мысли и своеобразный стиль поведения в отношении к своим политическим противникам: изображать их людьми недостойными – предателями, провокаторами, лжецами (с. 67).

Возможно, не все из этих рассуждений историка покажутся достаточно обоснованными, однако его вывод о жесткой ментальности Ленина едва ли может быть оспорен. Привлекает внимание также мысль автора о том, что эта доминирующая черта личности революционного вождя несла в себе элемент политической консервативности, нашедший свое реальное воплощение в организационных принципах партии, устроенной по авторитарному образцу. Теоретическое обоснование модели своих политических действий Ленин нашел в марксизме, которому соответственно был придан статус строгой науки и который в этом своем качестве должен был заменить авторитет старых политических форм и символов (с. 68). Вместе с тем, и это следует особо отметить, Помпер вовсе не разделяет широко распространенное в западной литературе утверждение, что Ленин лишь использовал марксистскую риторику для прикрытия своих политических маневров. Напротив, считает он, Ленин искренне верил в возможность научного анализа ситуации и в своей деятельности всегда стремился опереться на науку. Соответственно, все его попытки развить марксистскую теорию были обусловлены стремлением согласовать организационные принципы с задачами практической борьбы. Однако, оговаривает историк, это происходило и тогда, когда принятые Лениным решения были продиктованы лишь его стремлением к власти (с. 233, 280). Здесь, по его выражению, в значительной мере и крылись истоки догматизации марксизма, а в конечном счете и превращения его в инструмент идеологического оправдания большевистского режима.

Итак, согласно заключению Помпера, в основе действий Ленина – теоретика и практика – лежал сугубо авторитарный подход. И хотя выраженное стремление к власти не привело его к мании величия, оно неизбежно рождало приверженность яacobинско-бланкистским методам революционной политики. Партия все больше превращалась для него в единственный инструмент прогресса, служанку «жестокой богини» диалектики истории (с. 355). Кроме того, как считает исследователь, авторитарный стиль руководства постоянно создавал внутри партии напряжение и конфликты. А это еще более усиливало ее сектантскую замкнутость, отрыв от масс и превращение их лишь в средство достижения цели.

Личностью, наделенной многими сходными чертами, показан в книге Л.Д. Троцкий. Он также твердо верит в научность и правоту марксистской теории, столь же непоколебим и еще более самоотвержен в стремлении к поставленной цели. Однако своеобразие психологического склада Льва Давидовича вносит существенные коррективы в образ его политических действий.

Сын достаточно состоятельного фермера-арендатора, девятилетним мальчиком он был отправлен учиться в Одессу. Годы, проведенные в большом городе в доме образованных либерально мыслящих родственников (М.Ф. Шпенцер, в семье которого жил Троцкий, занимался журналистикой и имел свое издательское дело, жена его была директором училища) оставили неизгладимый след. Красивый, чувствительный, развитый мальчик рано стал проявлять стремление к самоусовершенствованию: следил за речью, манерами, внешней опрятностью, много и с пользой читал. Жизненный опыт укреплял это стремление. За семь лет пребывания в реальном училище умный, привлекавший к себе внимание юноша не раз сталкивался с несправедливостью учителей, трусливым поведением и злобной завистью со стороны некоторых соучеников. В такой ситуации, как считает Помпер, в нем зрело чувство мятежа и одновременно в качестве защитной реакции зарождалась тяга к «сверхкомпенсации», выразившаяся в стремлении создать «свою позитивную идентичность». Действие этих защитных механизмов в сочетании с незаурядным интеллектом и обусловили в Троцком редкий сплав теоретических озарений, блестящего красноречия и дерзкого стиля руководства, качеств, определивших его выдающуюся роль в революции и гражданской войне. В целом же, по мнению историка, психологический облик Троцкого – это облик маргинала со свойственным этому типу

личности чувством раздвоенности и ощущением самозванства, следствием чего явилась характерная для еврея тяга к обретению «космополитической идентичности», тяга, выразившаяся на практике в служении делу интернационализма.

Привлекает внимание мысль автора о том, что философско-исторические взгляды Троцкого впитали элементы фрейдизма, сказавшегося в его представлениях о самом себе, своей исторической роли. Он начинает смотреть на себя как на харизматического лидера, способного, учитывая действие подсознания, высвобождающего инстинктивную энергию масс, увлечь их за собою. Рассчитанное поведение Троцкого, опирающегося, кроме того, на убежденность в неотвратимости мировой революции, импонировало массовым настроениям, обеспечивало ему доверие и поддержку даже в самые критические моменты. Так было, например, считает Помпер, в Брест-Литовске, когда по его вине мир с Германией был достигнут более дорогой ценой, чем это могло бы быть. И тем не менее авторитет его не пострадал. На состоявшихся вскоре выборах в состав ЦК он получил равное с Лениным число голосов (с. 334). Однако именно здесь, по мнению историка, и таилась ловушка. То, что обеспечивало ему успех и признание в начале, в итоге стало причиной его трагического конца. Самоуверенные попытки Троцкого волевыми акциями решать сложнейшие политические проблемы не всегда соразмерялись с доверием к нему со стороны других «партийных олигархов» и начали давать сбой даже в моменты его высочайшего триумфа – в период гражданской войны. В условиях же наступившего после нее осознания тяжелейших материальных и нравственных утрат, предварившего острую внутривнутрипартийную борьбу, предъявляемое им ко всем требование быть в постоянной мобилизационной готовности уже не могло больше встретить понимание и поддержку у многих. В нем боялись и не хотели увидеть «второго Ленина» (с. 406).

Убедительным аргументом в обоснование вывода о значительной роли психологических свойств в теоретической и практической деятельности революционных лидеров является в книге личность Сталина. Ему отведено немного места. Он слишком прост для автора и даже примитивен в своих психологических измерениях, чтобы акцентировать на нем внимание.

Одаренный мальчик, выросший в условиях тяжелой материальной нужды и постоянных семейных раздоров, Сталин сложился озлобленной, скрытной и лицемерной личностью. Осознание себя социальной жертвой дополнялось в нем, как подчеркивает историк, чувством природной ущемленности вследствие физических недостатков. Трудно не согласиться с Помпером, что юный Сосо «имел много причин бороться за свое достоинство» (с. 158). В этой ситуации естественным было его погружение в фантастический мир романтической литературы. Здесь он нашел то, в чем особенно нуждался – «элементы позитивной идентичности» (с. 163). Любимым героем его становится персонаж из романа Казбеги «Коба», жаждавший справедливой мести за свою обездоленную жизнь и руководствовавшийся в своих поступках кодексом абрека.

Большевизм, более чем какое-либо другое политическое течение, отвечал его психологическому складу и умонастроению. Без раздумий и колебаний он сразу же примыкает к большевикам. И отнюдь не случайно, считает Помпер, когда теоретические партийные догмы обнаружили свою явную недостаточность, чтобы стать основой нового общественного устройства, во главе партии стал именно Сталин. Его личностные качества оказались в новых условиях как нельзя более подходящими для решения поставленной большевиками задачи. В нем увидели надежду и гарантию успеха социалистической идеи. В итоге же случилось то, что должно было случиться. Осуществляемые им во имя торжества социализма преобразования служили на деле прежде всего лишь цели укрепления его личной власти. Потому-

то они проводились с особым упорством, вылившись в бесконечную оргию насилия, уничтожения, убийств.

Каждый из рассмотренных деятелей пришел в революцию своим путем, внес свой личный вклад в ее окончательный исход. Но всех троих, как убедительно показано Помпером, связывало нечто общее. Этим общим была характерная для пореформенной России вообще страстная вера в науку. Вера, рождавшая убежденность в эффективности волевых действий человека, в то, что вооруженная научным знанием личность способна определить направление общественного развития независимо от объективных и естественно-исторического хода. Отсюда установка на непогрешимость марксистской теории, уверенность в правильности избранного пути. Это, в свою очередь, обусловило не только появление теоретически сконструированного общественного идеала, но и отсутствие каких-либо побудительных мотивов подвергать сомнению его жизнеспособность, а также убежденность в оправданности решительных, жестких мер в целях его воплощения. Не менее обоснованным является и другой вывод автора, а именно: видеть объяснение насильственным методам социальных действий и в присущей революционным вождям жесткой авторитарной направленности.

В книге Помпера, по сути, ставится проблема механизма становления и развития тоталитарной системы; остается нерешенным лишь то, каким образом и почему тоталитарные убеждения зарождаются не только в воззрениях лидеров революции, но и в обществе в целом. Почему оно с готовностью устремляется навстречу установкам и действиям своих вождей? Хотя, как представляется, и на этот вопрос автор пунктирно обозначает ответы, показывая, что восхождение Сталина к вершинам власти сопровождалось разрушением нравственных устоев в обществе, деградацией личности, утратой ею элементарных норм человеческого поведения.

Выводы, содержащиеся в книге Ф. Помпера, не останутся незамеченными читателем. И хотя не все из них будут безоговорочно приняты, с уверенностью можно сказать одно – всякий прочтет ее не только с интересом, но и с несомненной пользой для себя.

**РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. НАГИРНОГО
«THE RUSSIAN INTELLIGENTSIA.
FROM TORMENT TO SILENCE»***

Наметившаяся еще в начале века склонность многих буржуазных авторов видеть историю в идеале как методологически и концептуально строгую научную дисциплину в условиях научно-технической революции проявляется в ее «сциентизации», вылившейся в использование методов других наук. Появляется «новая научная история», ориентированная на междисциплинарный подход¹. При этом ведущей тенденцией «новой научной истории» становится обращение прежде всего к социологии, ее теориям и методам, выводам и обобщениям.

Книга профессора Нью-Йоркского университета Владимира Нагирного об истоках русского революционного демократизма принадлежит к числу работ, в которых воплотились характерные для «новой научной истории» черты, и представляет собой результат более чем 20-летних изысканий автора², демонстрирующего знание источников (трудов В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова) и исследований советских историков по проблеме. Специализирующийся в области этносоциологии, В. Нагирный рассматривает революционно-демократическое движение, своеобразие мировоззрения и психологические качества его представителей с точки зрения присущих данной социальной группе ментальных структур (французское «*mentalité*» означает стиль мышления – совокупное выражение социальных, экономических взглядов, эстетических представлений и верований)³. Автор ищет решение проблемы генезиса русского революционного демократизма прежде всего в понимании причин складывания «идеологизированного менталитета» радикальной интеллигенции, ее «фанатизма» и «нетерпения» в проведении своих социальных программ (с. 88).

Анализ существа революционно-демократических теорий В. Нагирный принципиально отвергает, считая его малоэффективным и даже бесполезным. По его мнению, чувства враждебности революционеров к существовавшему строю были настолько всеобъемлющи и, соответственно, обвинения в его адрес до такой степени «генерализованы», что невозможно отыскать даже какую-либо условную ценность или традицию, которую бы они не отвергали (с. 107–108).

В качестве нового элемента в методологическом аппарате, с помощью которого западные авторы пытаются подойти к изучению исторической реальности «изнутри», с позиций «интеллектуальных характеристик» данной эпохи⁴, анализ «мента-

* Ранее опубликовано: Сухотина Л.Г. Рецензия на: Nahirny V. The Russian Intelligentsia. From Torment to Silence. New Brunswick – Lnd. Transaction Books. 1983. 2000 p. // Вопросы истории. 1987. № 11. С. 152–154.

¹ Подробнее см.: Могильницкий Б.Г. Тенденции развития современной буржуазной исторической мысли // Вопросы истории. 1987. № 2.

² В. Нагирный выступал со статьями еще в начале 60-х годов (см.: Nahirny V. The Russian Intelligentsia: From Men of Ideas to Men of Convictions // Comparative Studies in Society and History. 1962. Vol. 4, № 4).

³ См. напр.: Russian Customary Law and the Study of Peasant Mentalité // The Russian Review. 1985. Vol. 44, № 1. P. 36.

⁴ Burguire A. The Fate of the History of Mentalités in the Annales // Comparative Studies in Society and History. 1982. Vol. 24, № 3. P. 430, 431.

литета» отдельных социальных групп, как и общества в целом, получает в буржуазной науке все более широкое признание¹. Являясь следствием и выражением процесса ее «сциентизации», такой подход отразил в себе не только влияние социологии, вылившееся в стремление с ее помощью понять внутреннюю динамику отдельных социальных групп, но и этнографии, воздействие которой проявилось в обращении к изучению внешне малозаметных, подспудных явлений духовного мира человека².

Вместе с тем признание В. Нагирным историчности индивидуального мировосприятия, обусловленности его эпохой должно бы вести к рассмотрению исторической обстановки, в которой личности формируются и действуют. В таком случае можно было ожидать от автора анализа ситуации в России в период зарождения и развития революционно-демократической идеологии, рассмотрения того, что подвергалось критике и не принималось ее носителями, объясняло их «фанатичную» приверженность к своим радикальным идеям. Более широкий взгляд был тем более необходим, что вопреки распространенным до сего времени в буржуазной историографии трактовкам В. Нагирный отнюдь не считает русских революционных демократов мыслителями, рассматривающими свою теоретическую деятельность как самоцель (с. 6). Напротив, он видит в них деятелей, стремящихся создать такой род идей, который дал бы им «твердое основание» для осмысления собственной жизни (с. 71).

Более того, автор заявляет о своей неудовлетворенности распространенными в буржуазной литературе определениями русской революционной интеллигенции как изолированной от общества и государства группы, взгляды которой были обусловлены психологией социальной отчужденности. Он объясняет появление подобного рода определений отсутствием строго очерченного объекта исследования и требует более точного осмысления понятия «феодализм», «буржуазия», «крестьянство», «дворянство» (с. 18). Но эти декларации автора остаются нереализованными в книге. В противоречие с ними вступает представление, будто мировосприятие революционной интеллигенции, ее мышление и чувства, а следовательно, политические настроения и взгляды определялись исключительно личной неустroенностью многих дворян, из среды которых, как утверждает он, вышла в своем подавляющем большинстве радикальная интеллигенция.

В. Нагирный признает, что протест «новых людей» 1860-х гг. не был просто символическим актом мятежа против давления родительского авторитета и традиционных норм этики и морали, но представлял собою «обобщенное отрицание» существовавших социальных институтов, форм и норм общественной жизни. Однако причины «конфликта поколений» он усматривает отнюдь не в осознании представителями передовой интеллигенции факта разложения изживавшего себя самодержавно-помещичьего строя, а в чувстве отчужденности их от своего класса, утрате ими наследственного места в системе социальной иерархии (с. 157, 158).

Согласно утверждению В. Нагирного, подрыв реформой 1861 г. поместной системы, традиционных для нее методов хозяйствования, всего стиля жизни и духовного мира дворян коренным образом изменил статус поколения 60-х гг. XIX в. Представители многочисленного мелкопоместного дворянства, лишившись прочной семейной и материальной опоры, оказались вне своего класса (с. 157, 169). Результатом явилась коренная переориентация их поведения, «новые образцы» которого, совершенно не укладывавшиеся в существовавшую систему ценностей, явили собою Белинский, Чернышевский, Добролюбов – предшественники и кумиры этого поколения. Поэтому они, как полагает В. Нагирный, представляют собой «ключе-

¹ Подробнее см.: Гуревич А.Я. «Новая историческая наука» во Франции // История и историки. М., 1985; Могильницкий Б.Г. Указ. соч.

² См.: Lévi-Strauss C. Histoire et ethnologie // Annales. 1983. а. 38. № 6.

вые» фигуры для понимания происхождения революционной демократии с ее уникальным стилем мышления и чувствованиями. Обладая большими творческими способностями и талантами, но являясь людьми простого происхождения, они осознавали себя «аутсайдерами» в аристократических салонах «свободных литераторов» с их гордой независимостью от официального духа.

Достичь положения последних, войти в этот мир, манивший своей самостоятельностью, – такова, по мнению автора, заветная мечта первых радикальных мыслителей, определившая смысл их идейно-теоретических исканий и действий. Невозможность попасть в привлекавшую их среду была тем главным фактором, который якобы обусловил не только присущее радикальной интеллигенции предубеждение против существовавшего социального порядка, но и особую привязанность к своим идеям, ставшим для нее смыслом всей жизни (с. 118, 119). Конечным же результатом явились будто бы «тотальность» идеологической ориентации революционных деятелей и «авторитарный синдром», полностью освободившие их от какой-либо личной ответственности (с. 77, 80–81, 163–168).

В этих утверждениях явственно проглядывает идеологический контекст работы. Особенно отчетливо ее политическая заданность проявляется в выводах автора, что будто бы свойственный революционным демократам «доктринерский радикализм» стал затем господствующим стилем жизни России более чем на столетие (с. 115).

Таков результат демонстрируемого В. Нагирным подхода к социальному анализу революционной демократии, замкнутого упрощенно-социологическими рамками, ограничивающегося исследованием изменений лишь внутри одной социальной группы – дворянства. Вне поля зрения автора остаются общая панорама социально-экономической и политической жизни России, наличие такой общественной революционной силы, как крестьянство. Соответственно остается непонятой социальная ориентация революционных демократов, позитивный смысл их исканий, заключающийся в настойчивом желании теоретически обосновать ведущую общественно-историческую роль крестьянства, понять основу и содержание его революционных устремлений.

Отнюдь не личная неустроенность поколения разночинцев и не порожденная ею психология отчужденности, но чувство несправедливости существовавшего порядка, особенно обострившееся в обстановке переходной эпохи, а также неосознаваемый до конца реальный смысл происходившей ломки и действительных позиций крестьянства побуждали революционных демократов к напряженным исканиям. Самоотвержение, готовность пожертвовать собой ради высоких идеалов, гуманизм и строгая нравственность революционно-демократической интеллигенции, ее ревностное служение своим идеям – все эти качества американский историк трактует как «идеологизированный менталитет», обусловленный нарушением «культурной преемственности» и якобы порождающий примитивную мораль, восприятие мира лишь в черно-белых тонах (с. 16).

Попытка В. Нагирного рассмотреть проблему генезиса русской революционной демократии сквозь призму «ментальности» не привела к успеху. Чтобы понять представления людей о самих себе, об окружающем мире и своих отношениях с ними, важно осмыслить не только состояние и движение того общественного слоя, которому они обязаны своим происхождением, но общую картину общественных противоречий. Упрощенная же трактовка развития страны, сведение его к изменениям лишь внутри дворянства порождают ложные представления о характере и своеобразии общественно-политической борьбы.

На словах решительно отказываясь от распространенного в буржуазной литературе мнения об обусловленности взглядов русской революционной интеллигенции ее социальной отчужденностью, которое автор называет бездоказательным и «далеким от истины» (с. 146), он все же не отходит от этой догмы. Его позиция

отличается лишь иным пониманием границ этой отчужденности. В освещении В. Нагирного стиль мышления и взгляды революционной демократии порождены не тем, что она оказывается вообще вне социальной структуры России (в этом состоит смысл утвердившихся в буржуазной историографии трактовок), но утратой ею своего наследственного места в этой структуре.

Книга В. Нагирного еще раз свидетельствует о тщетности попыток буржуазной историографии, лишенной надежных научных ориентиров, сойти с накатанной колеи, отыскать дорогу к действительно объективному познанию прошлого.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Социализм: теория и практика.....	3
Нацизм и большевизм в исследовании современников.....	7
Русская радикальная интеллигенция XIX века: истоки и политическая культура	13
Немецкий романтизм и русская общественная мысль во второй четверти XIX – начале XX в.	16
Достоевский в общественной мысли России второй половины XIX – начала XX века.....	21
Проблемы русской революционной демократии в американской и английской историографии	37
Введение.....	37
Глава I. Идеино-теоретические и методологические основы освещения английской и американской буржуазной историографией узловых проблем истории русского революционно-демократического движения	48
1. «Евразийская» теория.....	48
2. Проблема соотношения общества и государства в русском историческом процессе. Концепция «преемственности» и модель «тоталитаризма»	59
Глава II. Русская революционно-демократическая интеллигенция и мысль в современной английской и американской буржуазной историографии	69
1. Проблема социальной природы и национального своеобразия русской революционно-демократической интеллигенции	69
2. Истоки и своеобразие русской революционно-демократической мысли	78
Глава III. Новые тенденции в интерпретации английскими и американскими буржуазными исследователями русской революционно-демократической интеллигенции и общественной мысли	94
1. Психоаналитические концепции причин революционно-демократического движения	95
2. Новые трактовки истоков и национального своеобразия революционно-демократической мысли.....	105
3. Проблема идейных влияний Запада	117
Заключение. Место и роль русского революционного демократизма в оценке современных английских и американских буржуазных историков	129
Проблема влияния Запада на русскую общественную мысль в современной английской и американской буржуазной историографии	145
Рецензия на книгу Ф. Помпера «Ленин, Троцкий и Сталин. Интеллигенция и власть»	156
Рецензия на книгу В. Нагирного «The Russian intelligentsia. From torment to silence».....	161

Научное издание

Людмила Григорьевна Сухотина

РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ

Редактор *А.И. Корчуганова*

Подготовка оригинал-макета *Ю.А. Сидоренко*

Подписано в печать 14.11.2008 г. Формат 70×108¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Печ. л. 10,38; усл. печ. л. 14,53; уч.-изд. л. 14,03.
Тираж 100. Заказ 1340

ОАО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
ООО «Издательство “Иван Фёдоров”», 634003, г. Томск, Октябрьский взвоз, 1